

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК



Российский
литературный
журнал

Издается с октября 1933 года

2015 июль **4** август



Учредитель

Союз писателей
Российской Федерации

Главный редактор

Александра НИКОЛАШИНА

Редакционная коллегия:

Ю. Н. Кабанков (Владивосток),
В. Н. Катеринич (Хабаровск),
Ю. И. Ковалёв (Хабаровск),
Л. И. Миланич (Хабаровск),
А. В. Николашина (Хабаровск),
Н. В. Семченко (Хабаровск),
А. А. Смышляев (Петропавловск-Камчатский),
В. В. Сукачёв (Сочи),
Н. А. Тарасов (Южно-Сахалинск),
Г. П. Якунина (Владивосток).

Издатель

КГБУК «Редакция
«Дальний Восток»

ХАБАРОВСК
2015

Содержание

ПРОЗА

- Владимир НЕЧАЕВ.** Две грозди винограда, *рассказ* 3
Павел ТОКАРЕВ. Крылья, *рассказ, дебют* 21
Валентин ЗВЕРОВЩИКОВ. Корова Стеллера, или Проверка
правописания по-французски, *роман, окончание* 54
Максим ЧИН ШУЛАН. Утро приходит вовремя, *рассказ* 151

ПОЭЗИЯ

Лауреаты конкурса им. И. Царёва

- Майя ШВАРЦМАН.** «И был день первый» 7
Лариса ПОДИСТОВА. «Негромкие стихи» 39
Олег СЕШКО. «Продолжаю тянуться ввысь» 45
Геннадий МИРОНОВ. «Солнце любит всех» 134
Евгения БАРАНОВА. «Внутри себя» 142
Клавдия СМИРЯГИНА. «Нежность этих междустрочий» 165

ЮБИЛЕЙ

Вячеславу Сукачёву — 70 лет!

- Вячеслав СУКАЧЁВ.** О себе 174
Александр УРВАНЦЕВ. Никакого спуска нет и не будет, *слово о друге* 176
Александр ЛОБЫЧЕВ. Возвращенная пристань детства, *из предисловия*
к «Избранным рассказам» В. Сукачёва 180

ОКНО В ПРИРОДУ

- Владимир ГРЫШУК.** Морской олень, *очерк* 185

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Генрих ИРВИНГ.** Саламандры умываются огнем 189

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

- Александр ЛОБЫЧЕВ.** На русских берегах Японского моря,
художественные метаморфозы Лидии Козьминой 202

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

- Владимир БАХМУТОВ.** Так кто же он такой — Ерофей Хабаров? 207
Григорий ЛЁВКИН. За кулисами воссоздания памятника
Н. Н. Муравьёву-Амурскому 216

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ

- Михаил АРОШЕНКО.** Прогресс — это сновидение. У каждого
времени свои сны... 229

- АВТОРЫ НОМЕРА 237



Владимир НЕЧАЕВ

ДВЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА

Рассказ

ИННА

Нужен был дождь за окном, чтобы он вспомнил. Мелкий, осенний. И серое начало дня, и субботнее безделье. Так же он смотрел тогда через запотевшее оконное стекло вокзала, а Инна шла через площадь. Широко шагала крепкая загорелая Инна. «Вот идет женщина», — подумал он. Грива волос цвета меди падала ей на плечи и в такт шагам колыхалась за спиной.

Он сразу увидел, какая она загорелая в легком коротком платье. Инна-южанка. И город был южный. Житомир-город. И на правой ноге у Инны был бинт. Эластичный бинт стягивал ей колено. Белое на загорелом резко выделялось, и что-то интимное было в этой повязке.

Он сначала бинт вспомнил, а потом и все остальное... И как искал в записной книжке номер забытого телефона, выуживал гнутую двушку из горсти медяков. «Оставайся там. Я приеду», — озабоченно звучало в телефонной трубке.

Инна бинта не стеснялась. Она деловито спросила, откуда он и куда. И сказала: «Эта морось в сентябре... так нехарактерно».

Она чуть картавила. И все взглядывала на его черную крымскую майку с голубым трафаретом «Wild life» и обожженные солнцем жилистые руки. Загар к нему не прилипал. Он тогда возвращался из Рыбачьего. Заехал, чтобы навестить, провести.

Несколько лет назад они познакомились на пляже в Крыму, все в том же Рыбачьем. Их лежаки оказались рядом. Аркадий Семенович, высокий седой мужчина, представился отцом Инны.

— Папа работает врачом-кардиологом, а сюда мы на две недели и домой в свой Житомир. Здесь не пыльно, и чистое море, и дешево. Мы всегда здесь отдыхаем да, — без умолку говорила Инна. Аркадий Семенович больше молчал.

Когда они первый раз уплыли в море, она поведала: «Ты папе понравился». Его ни к чему это не обязывало.

Беспечные, легкие дни. И отношения их с Инной были похожи на игру молодых зверей. Они и не поцеловались-то ни разу.

По утрам, часам к девяти, сходились под пляжным тентом у своих лежаков, выкладывали из сумок полотенца, фрукты, что-то от солнечных ожогов. Белокожий Аркадий Семенович на солнце не выходил, почти не купался и читал газеты. «Папа так устал в своем кардиоцентре!» — жаловалась Инна.

С колодой карт в руках они подсаживались к скучающим на пляже, раскидывали в дурачка, а потом шли туда, где стояли желтые бочки с газированным белым вином, брали две большие кружки, медленно цедили холодное вино и лениво говорили ни о чем.

Они могли и просто молчать, ничуть не тяготясь этим. Иногда он что-то напевал из репертуара Булата Окуджавы. Тогда все от Булата сходило с ума. Инна отбрасывала рукой свою львиную гриву волос со лба и поощрительно улыбалась.

Ей только-только исполнилось девятнадцать лет. Она была порывистая и широкая в жестах. Чуть грубоватая, как бывают грубоваты молодые хохлушки.

И теперь это в ней осталось. Появилось и новое за два прошедших года после того беспечного лета в Крыму: что-то навязчиво заставляло собирать кожу на лбу в легкую морщинку и старило ее лицо.

Деловитая Инна повезла к себе, словно выполняла какую-то обязанность. Он понимал, что жизнь ее переменялась. Вышла замуж? Нет, покачала она головой. И он больше не поднимал тему перемен. По дороге он купил гроздь винограда и бутылку шампанского.

Инна жила в частном секторе. «Икарус» скрипел на поворотах. И опять вспомнилась желтая, под цвет венгерского автобуса, винная бочка и крымское шипучее вино. И последний вечер перед отъездом Инны и Аркадия Семеновича. Какие-то заезжие московские артисты давали концерт в поселковом клубе Рыбачьего. Вечер русского романса.

На пляже они втроем договорились о встрече. И Аркадий Семенович смотрел на него с ожиданием. Словно бы наметилось у них конкретное что-то в отношении с Инной. Стало понятно, что прелюдия подошла к концу. И другого времени для разговора не будет. И ведь он готов был к решительному шагу. Взять лицо Инны в свои ладони, приблизить к своему лицу...

Переживая полдневную жару перед концертом, он уснул и проспал и время встречи, и все русские романсы. Он никуда не пошел. И с легким сердцем спал всю ночь.

Утром, на вокзале, он видел упрек в глазах Аркадия Семеновича. Дескать, что ж ты, ухажер?.. И за пять минут до отхода поезда оправдания его были легки, как и все, что было у них в том июле.

Когда он занес чемоданы в купе, Инна шутливо и весело чмокнула его в щеку...

«Разве так не бывает? — спросил он себя, глядя в мутное от дождя стекло окна. — Что-то упущенное... Дело ведь не только в сожалении».

Ему всегда не хватало отца. Отец умер рано. Не было с отцом разговоров по душам, когда говорят на равных. А с Аркадием Семеновичем у них внутреннее согласие и понимание сложилось. Что-то знал кардиохирург, чего не знал он, студент третьего курса института, и что искал в понимающем человеке. «Папа» — говорила Инна. А внутри у него отзывалось — «отец»...

Они сидели на диване, смотрели семейный фотоальбом Инны. Это он потом пересел к ней. Неловко ему было разговаривать, когда Инна, улыбаясь, забросила ногу на ногу широким движением.

Ноги у Инны ладные, загорелые, словно свежий хлеб из печки. И короткое платье их совсем не прикрывало. Они были вызывающе обнажены. «Горячие ноги...» — подумал он тогда.

Ему захотелось притронуться к ним руками. И он отвернулся, увидел виноград в хрустальной вазе на столе. Несколько ягод были чуть подгнившими. И вся гроздь показалась ему увядшей...

«Папа умер год назад. Вот здесь он красивый, правда?» — «Да... Что же с отцом случилось?» — «Инфаркт, — Инна говорит ровно и чуть морщит лоб. — Я привыкла».

Осенний пейзаж. Черно-белая глянцевая фотокарточка. Высокий, в длинном черном пальто, Аркадий Семенович стоит среди облетевших деревьев.

Они склоняются над альбомом, тесно касаясь плечами. Разглядывая это фото, он, кажется, произнес тогда слово «джентльмен». «Да, у папы была порода», — согласилась Инна.

Этим разговором в пасмурном дне все и закончилось. Он вдруг заторопился: «У меня поезд через два часа».

Инна смотрела на него, и морщинка посреди лба становилась глубже.

ИВАН

Он соврал: поезд на Москву шел только через сутки.

А в деревне под Житомиром жила бабушка Пинчинская.

Бабушка уехала от берегов северной реки Тымлат на Украину очень давно. Ему было лет семь. Он хорошо помнит, потому что умер дед Тимофей, и бабушка осталась одна. И осталось фото, где он, трехлетка, держит деда за руку.

Он воспитывался под присмотром бабушки с грудного возраста. Пинчинские привязались к нему и звали своим внуком. А родители его привыкли к Пинчинским и называли их дедом и бабой. У Пинчинских своих детей не было.

На Украине Пинчинская сошлась с Иваном. И стала Толочкиной.

Иван тоже был с Дальнего Востока. Во время войны Иван оказался в плену и попал в концентрационный лагерь Бухенвальд. Ивану повезло: до самой Победы и освобождения он работал в Бухенвальде поваром. Не повезло ему в России. После немецкого плена Толочкина осудили как врага и отправили на вольное поселение валить лес в Уссурийский край.

Отбыв срок, Иван завел хозяйство и остался на Амуре. И жить стало действительно легче и, может быть, веселее. Что бы там ни шептали по углам. Но в шестидесятых китайцы наладились нелегально переходить границу и селиться за Амуром. Они притесняли русских. Ивану пришлось вновь менять место жительства.

Об этих человеческих изгибах у них в семье узнавали из длинных и нечастых писем, которые приходили с Украины.

Он вспомнил название деревни: Дубовцы.

Тогда в Житомире ему оставалось лишь взять билет на автобус. Не мог он вот так уехать!

В магазине, словно соблюдая некий ритуал, он купил большую гроздь винограда «дамские пальчики» и бутылку водки.

Деревня была в сорока минутах езды.

Заходящее солнце скудно освещало убранные поля. И деревня оказалась маленькой. Дом Толочкиных — чистенький, беленый известью — стоял с краю, на отшибе.

Во дворе дома росли две яблони. Отсутствие забора и хозяйственных построек делали дом беззащитным. На всем лежала печать временности. И деревья казались здесь случайными, словно бы забрели и остались, а завтра тронутся дальше.

Толочкин встретил его молча. Медленно обтерев ладонь краем рабочего фартука, надетого на голый рыхлый торс, так же молча пожал руку. «Тася в больнице, — сказал медлительный Иван, — в Ровно. — Глаза его заблестели. — А я вот баню делаю, — добавил Толочкин, помолчав. — Тут ни у кого нет бани».

И он в ответ Ивану удивился: как же дом в деревне и без бани? «Здесь все так живут, а я не могу», — говорил Иван и покрывал стену влажной рыжей глиной.

Он закончил работу и пригласил пройти в дом. И лампочку под низким беленым потолком зажигать не стал, может быть, экономил по давней лагерной привычке.

Последний свет вечера еще заглядывал в маленькие окна. Но в комнате казалось пусто и сумрачно.

Надо было достать из сумки гостинцы, принаравливаясь к грузному Ивану, помыть виноград, разлить по рюмкам водку. «У меня желудок больной, — сказал Иван. — Маленький после лагеря. — Он не уточнил, после какого. — А водку можно. Только не слишком». И терпеливо, почти безучастно ждал, наблюдая приготовления, как привык не помнить о времени в местах заключений. А гость думал, что зря он сюда приехал и что Толочкину все едино.

И он решил, что в Ровно не поедет. Крюк большой, и билет на поезд пропадет. «Потом, — сказал он себе, — в другой раз...» Поезд проходил ранним утром, и до станции нужно было еще идти пешком.

В глубоких сумерках они пили водку и молчали. Хозяину, наверное, вспоминался Бухенвальд, а может быть, Иван думал о строящейся бане, и как это будет хорошо, когда работа закончится. Что же лезть в душу старого человека?

Он вышел во двор. Угольно-черные силуэты яблонь выделялись на розовом закате, звали к себе.

Подойдя к дереву, он тронул шершавый ствол. И спелое яблоко сорвалось с ветки и задело его плечо.

Он засмеялся. Упало еще яблоко и еще. Это было как неожиданное приветствие от бабушки, которую он называл в детстве Пинчинской. И которая теперь Толочкина и где-то в Ровно.

Выросший на Севере, он не разбирался в сортах яблонь, как не знал и южных птиц, что обитали в ветвях, и названий трав, растущих у подножия дерева. До сих пор это не касалось его, как чужая жизнь, проходящая мимо.

Он поднял яблоко. Оно было маленькое и ладное. И тихо, и тонко пахло материнским, от которого только что оторвалось. Может быть антоновка? Зайти и спросить Ивана?

Но через минуту он забыл об этом. Стоял и слушал близкую ночь. И тьма обступала и казалось бархатной.

За окном было все так же темно, когда Иван разбудил его.

Он легко проснулся и быстро собрался. «Я провожу», — сказал Иван.

На востоке светлело. Свежий ветер по-осеннему гнал рваные облака. И облака косо пересекали светлую полосу неба.

Они вышли за околицу. Иван махнул рукой в сторону огня, горевшего далеко над самой землей: «Станция там! Как раз выйдешь. Поезд стоит две минуты». И без лишних слов они обменялись рукопожатием.

Тропинка под ногами лишь угадывалась. Билет лежал у него в кармане и определял близкое будущее. Билет был как последнее оправдание...

Все-таки он оглянулся назад. Казалось, Толочкин сутулится и смотрит вслед. Но ему только показалось. Иван уже уходил и почти терялся в синих тенях.

Лучше не ворошить старые записные книжки. Время прошло — и тот город отдалился. И страна Украина, и память о ней стали сами по себе. И от девушки-женщины с гривой медных волос теперь осталось лишь имя.

А Тася Толочкина из Ровно не вернулась, не переборола свою болезнь. Это он позже узнал, получив короткое письмо. Буквы в словах у Ивана разбрелись, и держал их лишь общий смысл сообщаемого.

На конверте было изображение Мазепы — нового героя Великой и Незалежной.





Лауреат конкурса
им. И. Царёва

Майя ШВАРЦМАН

«И был день первый»

Цветной слух

Сойдя с велосипеда, он решил
передохнуть и, обогнув подмости,
свернул на луг. Шуршанье крепких шин
он слышал сизым. Воротник матроски
промок в траве, когда он навзничь лег,
до синевы черничного напитка.
Он сунул в рот горячий стебелек
И, опершись на локти, стал следить, как
медлительный и важный махаон
описывает сложную орбиту
вокруг вьюнков, как будто посвящен
в гроссмейстерские тонкости гамбита.
Наперерез его ходам вилась
капустница и билась, невзирая
на правила, за белых, горячась
и собственную партию играя.
С цветка перелетая на цветок,
две бабочки в полуденной нирване
собой являли цветовой подлог,
не совпадая с собственным названьем.
Ни розово-фланелевого «м»
не виделось в окраске махаона,
ни золота от солнечных фонем
в капустнице, ни жестяного тона
от «ц»...
Как странно выглядят слова
в недостоверно выкрашенном мире!
Все это обнаружилось, едва
он азбуку узнал. Лишь в кашемире
на материнской шали был узор,
похожий приблизительно по цвету
на краски букв: оранжевый повтор
ворсинок «е», чернильные пометы
густого «а» сквозь палевое «и»...

А как цвели в гостиной разговоры,
пока он, лежа на полу, бои
солдатииков устраивал и фору
давал любимцам! Помнилось ему
название «Цусима», с баритонным
и влажным блеском, спуском в полутьму
и шоколадно-темным обертоном...

Пора домой. Там ждут к обеду двух
гостей, а после чая будет теннис.
И по площадке карий сладкий дух
от земляники, что, кипя и пенясь,
в варенье превращается, пойдет,
и девочка с соседней белой дачи
мяча увидит упоенный взлет
от крепкой каучуковой подачи...
Так грезит он в траве, хмельной от пут
звнящих слов, кружась в их хороводе.
И слышно издалека, как зовут
из-за ольховой рощицы: «Воло-одя!..»

XX

Казавшийся бескрайним, непочатым,
почти что вечным, срок-тяжеловес —
двадцатый век — закончился. И весь
уже он набран, сверстан, отпечатан.
Дотошно, от триумфов до невзгод,
он вдоль и поперек прочтен цензурой
и выпущен в открытый оборот
эпохи неразменной купюрой.

В значительность округлого числа,
в банкноты вес, в ее гербы и злаки,
и ты, словесность русская, внесла
свои штрихи и водяные знаки.
Серебряным с утра считался век,
купался в стилях, в речевой забаве, —
но дым его былых библиотек,
отныне к номиналу не прибавить.

Сперва стремились ввысь, за блоком блок,
столбцы стихов о доблести и славе,
пока зарей, еще не столь кровавой,
как разошлась, румянился восток,
и разбегались в стансах и ручьях
теченья несмыкаемых поэзий,
выплескивая звуковой размах
от черубин до щебета «Зангези».

Вкруг главных буквиц вился мелкий шрифт.
В любом числе тем ярче единица
читается на фоне правд и кривд,
чем больше позади нулей толпится.
Там голос пел — один среди других —
щеглом из запрокинутого горла,
он заглушал и зычный тетраптих,
и лай футуристического горна.

Щегла перекричал вороний грай.
В прозрачную петропольскую влагу
скользнула жизнь его и, сквозь бумагу
нырнув пунктиром, пролилась за край
листа, и там окрасилась струя
в цвет площади, что спит посередине
земли — круглей не сыщешь...
в те края,
куда ни ласточке, ни прозерпине...

А там — а там — из бедствий отлита,
в высоких ослеплений мезонине
жила психея, ева, чьи цвета
мешались в себялюбье невзаимном.
Она, задрав высокомерный лоб,
не признавала меньшего мерила,
чем бог, и, затянув на горле строп,
ушла к нему — в небес аквамарины.

И от глагольных повернул громад
в побочную струю деепричастий
ее заглазной и заглавной страсти
один в живых оставшийся собрат.
Во времена воззрений на заказ
и цен на жизнь по основному курсу
узнать: какое, милые, у нас, —
он распахнул окно — и задохнулся.

Уйти. Уйти в растительный покой
библейского подвижничества дачи,
стихи навзрыд, как огород киркой,
перелопатить, перепастерначить,
любить, писать роман, садить кусты
миров расцветших, липы и сирени,
не принимая общей правоты,
а с нею и всеобщих заблуждений.

Поодаль от него, в саду ночном,
таинственном, стоял лицом на север
садовник, близорукий астроном,
созвездья отделяющий от плевел.
Над ним качался сонный зодиак
под иволги божественное пенье.

Как звезды люди падали в овраг
с тетрадами своих стихотворений.

В извилистом двуличии свобод
и в обнуленьи лирики и слова
уже не глаз, но ухо ищет брод
и свет в волне средь моря городского.
Он, рыж и блед, ведет через Неву
за океан и огибает мели,
и успевает в век вписать главу,
пока не ставит точку в Сан-Микеле.

Век отпечатан. Он раскрепостил
бумаг освободившиеся тонны,
где отчитались спутники светил,
друзья, враги, сокамерники, жены.
Он распорол изнанки дневников,
листы из переписки грубо скомкал,
испод архивов, внутренности строф
с черновиками нанизал на шомпол.

Но верхние остались голоса
недосягаемы — по праву дара.
(Подделка не карается, но за
версту слышна, что хуже всякой кары.)
Банкноту век сгибает пополам,
не глядя на значенье номинала,
и лодочкой пускает по каналу
вдогонку к прежде спущенным судам.

Куда ж нам плыть?
Менять ли серебро,
мотаясь с перепевами по свету?
Проматывать ли старое добро
или чеканить новую монету?
Скользит кораблик по морю чернил.
В бумажных складках ручеек петита
бир сум бир сом, впадая в дыр бул щыл,
скрывается в глубинах алфавита.



В Венеции, что, золотой подвеской
с цепочки соскользнув, в залив легла,
теперь венецианского стекла
(заправского, чтоб не из Поднебесной,

по сувенирным лавкам) больше нет,
пожалуй, кроме ярких глаз кошачьих,
что смотрят с холодком туристам вслед,
не соблазняясь мелочью подачек.

Как бусы, украшающие ворот,
коты на входе в гавань, у снастей.
Подмокшей репутацией своей
гордятся, как и весь промозглый город.

По развороту площади Сан Марко,
исшарканному сотнями подошв,
проходит кот, надменнее, чем дож,
готичнее дворца в ажурных арках.

Коты везде: вдоль улиц и канав,
на низких подоконниках и сизых
от влаги парапетах, на карнизах —
сидят, брезгливо лапы подобрав.

Им подражают местные мосты
и спины гнут, поджав худые брюха,
и лапами опор туда, где сухо,
встают, блюдя каноны чистоты.

Когда коты снисходят до еды,
то покидают мраморные глыбы
палаццо и в порту, на все лады
мяукая, выпрашивают рыбу.

На изваянья львов, на их зады,
присевшие в собачьем послушанье,
кошачья ассамблея у воды
глядит с презреньем, поводя ушами.

Уж не от их ли глаз, светлей прибоя,
не от грудного ль *мур* произошло
лучистое, зелено-золотое,
янтарное муранское стекло?



Дыра в полотнище шитья
рождает спешную попытку
стянуть ползущие края
разрыва на живую нитку.
Игла старается, снуя
в остервененье запоздалом,

исправить то, что по лекалам
искусства кройки и житья
тачалось да разорвалось.
Как ни залечивай прорехи,
она все раздается врозь.
Хотя казалось, что не к спеху
латать дыру, что так легко
прожить без штопки, без заплаты.
...О том, что чудилось когда-то,
шепни иголке на ушко.

И был день первый

Никогда не представить.
Какие там чипы и кэш,
«наше все» или нановакцины, поскольку на свете
только свет, только тьма;
и когда еще в их тет-а-тете
кто-то третий случайно возникнет и властно промеж
просочится;
какой протоплазмой, в какой мезозой;
и когда еще встанет, грозя земляному осколку,
первобытная слякоть, что в лужах сперва втихомолку
заведется под ряской, во сне обрастая душой.

Примета

Мимо пройдя, прошамкала: «Быть зиме
снежной — без ветра дым по земле клубится,
звезды мигали ночью...» — и вдруг, с ехидцей
глядя, проговорила: «Не заимев

зоркости — не увидишь ни в чем указки».
И повернула за угол. Ей вослед
хмыкнув, идешь, задумавшись, что примет
вправду совсем не знаешь... За то и вязкий

путь тебе выпал в жизни, и поделом, —
так начинаешь грызть себя и казнишься:
даром, что начитался Руссо да Ницше,
слов понабрался тонких, а в остальном —

слеп и растерян. Скрытое знать куда там,
если и откровенные неясны
знаки: в пятне морозном вокруг луны,
в засухе, ливне, в диком кусте кудлатом...

Но, улыбнувшись, вскоре «пора и честь
знать» говоришь, очнувшись, прощаясь с блажью.
Бережно продолжаешь нести поклажу
спутанную домой, ибо знаешь — есть

что-то верней, чем чеховская двустволка
и для тебя, и нежно лелеешь всем
сердцем одну приметку декабрьскую: чем
меньше ребенок в доме,

тем выше елка.



В тот день кормушка за окном
качалась от возни синичек,
через стекло смотревших в дом,
как через лупу — увеличить
событие в комнате твоей
и уяснить его причину:
хотя еще среди людей
ты был, но всех уже покинул.

Они смотрели со двора,
чирикать громко не осмелясь,
на то, как хмуро доктора
тебе подвязывали челюсть,
попутно объясняя, как
все подписать, в какой конторе
собрать пакет каких бумаг,
чтобы пробиться в крематорий.

...Твой мир остался только на
поблекшем черно-белом фото,
где ты у зимнего окна
запечатлен вполоборота,
в неяркий день, в обычный миг —
вблизи стола, где вечно набок
кренилась стопка толстых книг,
газетных вырезок и папок.

Тогда из груды книжных тел
твое издание было взято,
как будто некто захотел
прочесть тебя, забрав куда-то
за кромку звездного ковша,
за бездну черного парсека.
Александрейская душа,
сгоревшая библиотека.



Сдвинув тучи, как чуб, набекрень,
 краявые насупивши брови,
 над заливом нахмурился день,
 то ли дождь, то ли бурю готовя.
 Из-за дымчатых рваных зубцов
 духота накатила с востока,
 и над морем возникло лицо
 патриарха — колосса — пророка.
 Словно махом сорвался с орбит
 и повис на воздушных оглоблях,
 упираясь затылком в зенит,
 необъятного облака облик.
 Испареньем восстал из пучин,
 отразился в подсоленном йоде,
 и на меди небесных пластин
 проявил его мокрый коллодий.
 На секунду к туману прилип
 и исчез, растворившись от зноя,
 гипнотический дагеротип —
 допотопная карточка Ноя.



Ворошить ни к чему, пересказано тысячу раз.
 Фотовспышки, вопросы, сенсации — все в протоколах.
 Да еще в фельетонах: всегда перевернуть на заказ
 находилось с избытком писак рефлекторно-веселых.
 Дело прошлое, смолоду время текло разбитней
 и бездумней, и мы, нападая, хитря, партизаны,
 в самом деле считали, что жизненность наших идей
 перевесит случайные смерти. С былыми друзьями
 отработали честно, тогда еще «в стане врага»,
 говорилось в газетах. В программе: победа, трофеи,
 милость к падшим для вида, банкет, вот и вся недолга.
 В закулисье столбили участки, делили портфели.
 Опротивело все: торжества, надувание щек,
 незаметный раскрой вертикалей по новым отвесам
 да примерки величья, которое каждый берег
 для себя... Я сказал: покурить, и ушел себе лесом.
 Маргиналом, бомжом, нелегалом, где я только ни
 побывал, в казино и притонах, борделях, пещерах,
 не сгорел, не подох, ускользал из любой западни,
 от ножей собутыльников и соглядатаев серых.
 Клофелин меня в поиле не брал у влиятельных баб,
 выплывал из штормов и тайфунов на щепочке склизкой.
 Десять лет я себе отхватил, заменивших этап
 с пораженьем в правах, понимай, на отчизне с пропиской.

Пусть объявленный в розыск, вот так бы и жил налегке,
да попался какой-то девчонке, гуляющей с бонной.
Опознали, пока я в отключке лежал на песке.
Приложили слегка батоном по башке просветленной
и доставили быстро на родину. Между рябин
и берез, будь неладны они, по шоссе колеистым
провезли — насмотрелся: деревни спились, до руин
обветшали дворцы, но бодрятся — приманкой туристам.
Диссидент, перебежчик, бунтарь, нарушитель границ —
всю обойму задвинули разом, наставив дреколя.
Обломали и зубы и когти допросами блиц
и врястяжку, но так и не поняли, что приобрел я.
Нефть, валюту, недвижимость, редкоземельный металл,
что успел схоронить, побросал в тайники или в волны,
что за выгоду скрыл, — разве им объяснишь? Я устал
отвечать: *возвратился, пространством и временем полный.*



Aan Filip Vleeshouwers

Клейкой лимфой, пигментом, белком загущается смесь
из воды и чернил. Легкой кистью, нежней колонковой,
добавляется капля в пейзаж — весь сияющий, весь
словно звонкий целковый:

с ослепительным солнцем, с тропой между рощ и болот,
с мягкой дымчатой далью, плывущей до кромки сюжета.
Нанесенное мутное пятнышко влажно живет
предвкушением цвета.

Прорастая в волокна холста, обретает черты,
наживает дыханье и тонкий сквозной эпителий,
уязвимей моллюска в бессилье своей наготы,
в сотни раз мягкотелей.

Но не дольше мгновенья. Картины безмолвный статист
растворяется в новом мазке, в пестроте наслоений,
что наносит на зыбь полотна неустанная кисть
в мастерской сновидений.

Фландрия

Во внутреннем дворике наледь никак не сойдет
с шершавых решеток в тени боковой галереи.
Но воздух светлеет, и близится солнцеворот,
и зелень сквозит в прошлогодних соцветьях пырея.

Теплеют и пашни и вечно бесцветный пустырь,
и виды в долину из пасмурных окон аббатства.
Март дышит на стекла, пейзаж расправляется вширь,
и тянет от света сощуриться и улыбаться.

К концу февраля на поверхность выходит земля
неспешной медведицей, власть належавшись под снегом.
Подснежников мелкие крестики метят поля,
сияя, как вышивка шелком, на фартуке пегом.
Неяркой фламандской весны принимая парад,
деревню и пруд озирает с холма колокольня.
Осевшие в тающий наст вереницы оград
дают сосчитать поредевшие за зиму колья.

На крыше сарая бахвалится зобом петух,
цепляясь за скат уцелевшей единственной шпорой.
В овине ягнята к коленям своих повитух
доверчиво жмутся, не ведая участи скорой.
Собака лениво следит за ватагою коз,
лежит, разомлев, у раскрытых ворот сыроварни,
откуда носилками горы янтарных колес
таскают к телегам вспотевшие крепкие парни.

За кузницей бродят в колючем оттаявшем рву
заросшие, грязные овцы, — давно их не стригли,
и с теплой земли выбирают губами траву,
шарахаясь вбок от порывов гудения в тигле.
Спешат подмастерья: горячее время пришло
мотыги прямить, затупившийся выправить лемех.
И птицы снуют по двору, теребят помело
и прутья воруют в заботах о будущих семьях.

В просторном гнезде на пятнистой от сажи трубе
над старой пекарней белеет торжественный аист.
Как божий избранник, как столпник стоит на столбе
навершием местного мира, лощен и осанист.
На хлопоты ржанок и славок, синиц и стрижей
от рощи окрестной до дальних изогнутых плавней
он важным владыкой взирает с вершины своей
и в птичьей сумятице высится буквой заглавной.

Слово

Это где-то да есть,
в тишине,
в фонетических спазмах,
в разбуханье гортани,
цедащей воздушную дрожь,

в водоеме шумов,
в заиканье невнятных согласных —
где-то бродит, блуждая,
то слово, которого ждешь.

Меж эфирных помех
изгибаясь, ныряя плотицей,
измеряя чутьем
разрешенный к познанию вольтер,
вырастает оно
от усилия в явь воплотиться.
Прибываясь к другим,
подбирает на вырост размер.

Примеряет на слух
чет и нечет двудольного ямба,
амфибрахия жабры,
анapestа лепет и плеск,
неприметно скользя
вдоль безмолвьем измученной дамбы,
устремляется в море открытое,
за волнорез.

В облаках расставляя силки
и в течениях невод,
не добыть его влет —
не помогут ни крест, ни хоругвь, —
не поймать на манок,
можно только спугнуть и разгневать,
загоняя его
в западни заготовленных букв.

Запирали его
школяры меднокожих шумеров,
пряча клинопись в глину;
то гунны фалангами рун
берегли,
то брались его инки,
народ сукноделов,
узелковым письмом повязать,
как треножат табун.

Стерegli его углем
и сепией,
кровью и тушью,
то резцом, то чернилами
знания множа печаль.
Иероглифов ставили сети,
ловили в картуши,
сторожил его литер арабских
рассыпанный чай.

В колыханье слогов,
 в вавилонях фонем,
 океаном
 неразгаданных звуков плывя,
 глухоту распоров,
 где-то реет оно,
 раздувается левиафаном,
 улыбаясь уколам гарпунов,
 бессилью ловцов.

Все попытки долой.
 В мглистом куполе,
 в звездчатом ворсе,
 устилающем небо,
 вздымается логоса вал.
 Это все, что дано.
 Предисловия не было вовсе.
 Было слово.
 Космический выдох,
 начало начал.



Приятно туристом бродить наугад,
 как палец блуждает страницами книжными,
 идти, попирая имбирь и мускат
 опавшей листвы на холодном булыжнике.

Держа на уме, как просфору во рту,
 возлюбленных строк стихотворные святцы,
 на Гиссельбергштрассе свернуть в темноту,
 но все еще медлить и не приближаться.

Согреться отсрочкой свечи за столом
 и чашкой «Высоцкого». Выйти из чайной
 и дрожью инстинкта найти этот дом —
 обитель тоски его мемориальной.

«Здесь жил...», разгораясь поэзией впрок,
 снимавший мансарду ли, комнаты угол,
 сожженный смятением и сам как ожог
 скуластый философ с губами как уголь.

Кто б знал этот адрес, кто чтит бы теперь
 невидного дома карнизы и плинтусы,
 когда бы отсюда, расплавивши дверь,
 не вырвался русский грохочущий синтаксис.

Не все ли равно нам, столетье спустя,
была, не была ли у чаеоторговца
на выданье дочка, — причины пустяк
ушел в примечанья и лег как придется.

Сто лет миновало, как здесь пронеслась
чума разоренья любви невзаимной,
триумфом несчастья насытилась власть
и вдребезги все разнесла в мезонине.

Под крышей вскипев, как под крышкой котла,
сглотнула ступенек суставы артрозные
и вынеслась вон, раскалясь добела,
любовная, первая страсть студиозуса.

Любовь разрасталась и, расколыхав
рыданьем гортань, поперхнулась приличьями
и хлынула в город горячкой стиха,
бруски мостовой превращая в горчичники.

Добротным декором его окружал
квартал, досажая своими услугами,
тарачился оком совиным вокзал,
ворочались лавки со снедью упругою.

Под теплой корицей коричневых крыш
качался кондитерской вывески бретцель,
процентные банки сулили барыш
и высился корпус университетский.

От зноя бульвары свернулись в кольцо,
а кирхи и кухни до ороговенья
застыли под облачным душным чепцом
в апатии средневековой мигрени.

На свет фонарей как на зов ночника
бросались секунд бестолковых капустницы
и падали вниз. Их глотала река
толчками течения в гранитном напультнике.

Он шлялся до ночи. Как псы, допоздна
калитки лениво засовами клацали
на звук его бега. Болталась луна
латунной медалью у неба на лацкане.

Все рухнуло топливом в глотку костра.
Летела в огонь сантиментов безвкусица,
лузга восклицаний, частиц кожура,
пылали, треща, устаревшие суффиксы.

Все было им смято и уценено.
Минувшее было захвачено смерчем, и
скручено в узел, и умерщвлено,
и душу хлестало жгутом гуттаперчевым.

К утру миновал наваждения вихрь.
В испарине звуков, очнувшись от приступа,
он вынырнул из помрачений своих,
собрал на пожарище угли — и выстоял.

Он взял этот город, затерянный средь
других, словно крестик на вышивке фартука,
и запер его в стихотворную клеть
бесценным трофеем под именем «Марбурга».

Митинг

Вдруг на бульваре тимпаны, кимвалы и рог зазвучали,
пенье, и гомон, и шум: люди в туниках идут,
громко скандируют песнь; счастьем лучась, простирают
руки к прохожим, крича: «Братья, Овидий за нас!»

Ряженных крестный ли ход? снимают кино? непохоже.
Вместо хоругви несут цезаря гладкий портрет.
Смотрит с него на толпу оком отеческим август,
брежит за царским плечом вечнозеленый минхерц.

Жезлами ритм отбивая, старшины поют в мегафоны,
гулким набатом звучит медных гекзаметров гонг.
Слившись в едином порыве, слаженным сладостным хором
громоподобно толпа звонкому вторит стиху:

*«Ты, что зовешься отцом и правителем нашей отчизны,
С богом поступками будь, так же как именем, схож.
Ты ведь и делаешь так, и нет никого, кто умеет
Власти поводья держать так же свободно, как ты».*

Боги, быстрее домой... О tempora, шепчешь, о mores!
Дома раскроешь скорей академический том.
Видишь — цитата верна, времена неизменны вовеки.
Как прозорлив оказался Публий Овидий Назон!





Павел ТОКАРЕВ

КРЫЛЬЯ

Рассказ

*Русской ржи от меня поклон.
М. Цветаева*

1

Им будет плохо без него. Старики отлично знают Михаила Ульянова. Они бы никогда его не списали. А что возьмешь с молодых? В их голове пусто, как в море после шторма. «На протяжении сорока пяти лет Михаил Ульянов работал в нашей службе и был образцом для всех нас...»

Когда тот пошел работать на «Масляный», его родители еще не познакомились.

«Для нас...» Сорок пять лет он работал на маяке. Шестнадцать с половиной тысяч раз зажигал огонь. Поднимался по лестнице в несколько раз больше. Все знали: если возле Миши судно потерпит крушение, он прыгнет в море и всех спасет. Без лодки, потому что лодка плавает хуже Миши.

Он мог по крику альбатроса определить, когда и какой силы будет шторм. Черная Лапка прилетал и рассказывал. Если он был в доме или спал, тот залетал через окно или открывал дверь и орал в ухо. Чернолапый не подводил — а Миша открывал консервы со шпротами и ставил их перед вечно удивленными глазами птицы. Миша не любил шпроты, а на складе они были.

Кстати, за все это время на складе не было недостачи. Рассказывали про одного начальника маяка, который менял продукты на водку, а потерю списывал на медведей. А в Мишиних краях тоже были медведи.

Из окна дома не видно моря, кажется, что жизнь вычеркнута и новой не будет. Он видит одинаковые дома спального района, разукрашенную детскую площадку, бродячих собак, людей с прокисшими лицами утром и раздавленных вечером. Можно долго перечислять, что видно из окна. Но там нет моря.

Шестьдесят четыре. У него артроз нижних конечностей, и он не может столько ходить по лестнице. Лекарств не принимает, потому что ноги ему больше не нужны — ступеньки в доме не оканчиваются кварцево-галогенной лампой.

Дочь его покойного брата убирает квартиру, иногда готовит. Котлеты есть невозможно, это не котлеты. Он хочет подсмотреть, из чего их делают. К сожалению, приносят уже готовые. Ночью они летят в окно.

Он не привык смотреть телевизор — хватало радио. Но здесь так скучно, что он включал его. Первый в списке — канал «Ностальгия». Подумал, что хорошее

название и выключил. В сорок седьмом году в общежитии Мурманского морского училища он сказал, что ностальгия — свойство трупа. Вот и нашлись доказательства.

Квартира намного выше маяка, но кажется, что лифт едет девять этажей вниз. Сотни этажей вниз. Это подземный бункер, а вместо окон — телевизоры, которые очень любят котлеты. У телевизоров плохой вкус.

Он читает книги, иногда пьет. Раз в два в месяц покупает водку. Он вынимает из морозильника бутылку и садится в горячую ванну. Можно взять черный хлеб с чесноком.

Ставит на воду игрушечные детские кораблики из супермаркета: танкеры, газозовы, траулеры. Вырезал из пенопласта скалу и покрасил ее в темно-коричневый. И, когда напивается, привязывает к корабликам нитку и тянет. Они ударяются о скалу. Вот как им плохо без него.

Если маяк ломался, Миша Ульянов до утра курил на берегу — ни один капитан не поймет, что это была сигарета, а не маяк.

«...работал в нашей службе и был образцом...». Он жил этим, а не работал. Пусть молодые работают, а в его венах текла соленая вода, и в шторм он становился стальным прутом.

Есть фотографии одного места. Вы не догадаетесь, что на одной Миша, а на другой — стальной прут. Все считают, что это одна фотография.

Маяки уходят как керосиновые лампы, как мужчины, целующие руку дамы, и как слово «дама».

GPS, радиомаяки, точные карты — все это изживает его профессию. В Европе или США они становятся объектом культурного и исторического значения. Из них делают музеи, гостиницы, рестораны. Кто-то покупает маяки как память о своей семье, трудившейся на них несколько поколений.

У нас же многие из этих сокровищ бросаются на растерзания стихии, хотя представляют уникальные сооружения.

Прерываются маячные династии, когда внук помогал деду чистить стекла и мыть керосином чугунную лестницу, а затем становился начальником маяка.

Он представить не может, что «Масляный» останется бесхозным.

Однажды он напился и разломал шкаф. Хотел сделать костер — такой была его профессия когда-то. Жечь большой костер. Но он напился так, что обнял доски и заснул.

В городе он не нужен. Люди знают, куда идти, а машинами управляет светофор.

Балкона в квартире нет, поэтому иногда в плохую погоду он высовывает голову из форточки. Убрался, когда перед лицом пролетела ветка тополя.

У него были женщины, но их не помнит. «Не совсем помнит» — как «почти жив».

В местной бане сидят пенсионеры в старой тонкой коже. «Раньше было хорошо». «Раньше было плохо».

Он «стал образцом». «Лучше бы я никем не стал, — думал он, — а был там, где на меня не жаловались и я не выступал. А сейчас есть, что сказать...»

Может быть, поэтому пенсионеры всегда что-то говорят. Друзья! Товарищи! Нас выбросили на обочину жизни! Нас не хотят видеть в кабинетах, коридорах, приемных! Они, товарищи, хотят сказать, что нас нет! Но мы можем догнать их и перегнать. Ведь мы знаем это, товарищи!

Знаем, знаем!

Нет, он до такого не дойдет. Одиночка, ушедший в небытие.

Еще здесь много ворон. Кто-то ругается. Потому что ничего не знает о птицах. Птицы лучше многих людей. Весна — осень. А про человека неясно, когда придет и уйдет.

Скамейка во дворе не покрашена — дворник не любит свою работу. Или кто их красит.

Он хочет купить шланг, прикрутить его к ванной и открыть зимой холодную воду. Ребята обрадуются такой горке.

Если у тебя отнимают жизнь, обычно умираешь. Но иногда слишком медленно.

Он сказал племяннице, что не любит котлеты. Но не ее котлеты, а что вообще их не любит. Телевизоры на стенах остались без еды и смотрят зло и голодно.

Ночью, когда идет в туалет, представляет всяких чудищ, которые залезают в квартиру чтобы съесть неиспользованный мясной фарш.

Он смотрел фильм про динозавров. Больше ничего не смотрел. Не хватало, чтоб запомнил, как выглядят пещерные львы.

Все плохое, что увидишь днем — приснится ночью. Хоть спи днем, а все делай ночью. Или днем завязывай глаза.

В четверг он ходил в магазин, и ребенок с лестничной клетки удивленно смотрел на него. Отец сказал, что это дядя Миша, и он работал на маяке. Его выгнали за пьянство, и он живет у родственников.

«Мальчик, бедный мальчик! Они делают из тебя робота! Ты еще не понимаешь, но не становись дворником, который плохо красит скамейку, потому что не любит красить. Они будут уничтожать тебя, пока ты не закончишь учебу, а потом добьют окончательно, когда вызовут на смену в Новый год!»

За сорок пять лет жизни на маяке Миша не научился безошибочно предсказывать погоду, как его друг альбатрос. Хотя он показал, как определять ветер на вкус. Северо-западный горчит, а юго-восточный отдает корицей.

Последние годы Чернолапка был один, без жены. Но Миша с ней не общался. Михаил Ульянов здесь уже два года.

Он боится за друга альбатроса, потому что, когда тот летит вниз, кажется, что пикирует бомбардировщик. Его ведь может сбить ракета. Ты помнишь его, Чернолапка? Купайся в теплых ветрах, ныряй в облако вслед за молнией, лови клювом капли дождя.

Чернолапка, помнишь, он кричал тебе: «Если спросят, кто ты, отвечай — звезда. Тебя не поймут, тебе и не надо».

Помнишь?

А он напивается и представляет, что стал чайкой. Вытягивает руки перед старым вентилятором, кренясь в разные стороны. Оттачивает полет. У Миши много времени, чтобы вспомнить или придумать. Ему бы хотелось рассказать о маяках. О том, как нужно понимать маяки.

Но некому.

2

Малый траулер «Касатка» ударился носом о волну. Капитан левой рукой держал штурвал.

Я стоял, опершись о борт, и смотрел на пену. Давно не был в море и подумал, как хорошо, что природа показывает себя вначале — в этом нет лицемерия, а искренность к лицу всему живому.

Низко бежали ленточки-облака.

Капитан смотрел вперед. Взгляд его легок, но, как положено моряку, собран и устремлен вдаль. Черная, переходящая в седину щетина, маленькие глаза и торчащие обезьяньи уши делали его для многих неприятным.

Никитич был всегда недоволен, подходил с вопросом к человеку с таким выражением лица, что было ясно: никто ему толком не ответит, а ляпнет глупость,

поэтому и подходить нечего. Но все же говорить любил, и много, и все с тем же недовольным лицом. В конце разговора часто махал рукой в сторону собеседника и тут же отворачивался: «что с тебя возьмешь, ребенок еще», «чего у тебя спрашиваю, ты и как зовут не помнишь».

Моряк с утра думал о том, что даже у воды характера больше, чем у нее. И бросить — не бросает, и визжит целый день. Ему-то обидно: работает, пьет мало, а та все визжит. Надо было на Галеевой жениться — с той меньше думать, сама все решит. Соглашайся и не пропадешь.

Еще старый рыбак тихо проговаривал матом, почему он забыл бросить в каюту «что нужно», и о том, как бы с этим было бы хорошо, а без — весьма плохо, потому что голова скоро загудит, а одному делать нечего.

— Москвич?

— Нет, путешествую.

— Живешь, говорю, в Москве? Москвич? — слова приходилось повторять — глушил ветер и мотор.

— А чего москвич?

— Тесно. Последние двое, что возил на остров, москвичи, им нальешь — как начнут рассказывать.

— И что рассказывают?

— Говорят, что люди везде, а душа одинока. Вот странно — там им поговорить не с кем, и они едут туда, где вообще никого.

— А вы с утра пьете, потому что много друзей? Так что, вы тоже москвич?

Капитан откинулся назад, повернул штурвал.

Мягкотельный. Такие жалеют, что ничего решить не могут, и слушают других, а потом думают, вот бы я тогда... Ясно, чего пьет. Лучше пусть пьет, чем бьет.

Минут через двадцать я спросил, сколько еще до места, услышал, что около четырех часов и опять глядел: то — вдаль, то — в себя. Оставшийся путь молчали.

Резкий густой йод от ковра водорослей, устилающих доски, перебивал слабый запах морской пены. Деревянный причал был еще крепок, и с некоторой осторожностью на него можно ступить.

Рюкзак в сто литров положили на доски и тянули. Когда вещи перенесли, я сжал кулак и потряс им. Никитич в ответ махнул рукой. Рябели волны, спотыкаясь о берег.

— Пять дней! — крикнул капитан и стал заводить мотор.

Высадили меня за несколько километров от высокой части. Причал стоял за низиной, на той половине, где поднимается скала. Идти нужно было километров пять-семь. Пройду за полтора часа? Хотя, какая разница? У меня пять дней.

Трава еще сухая. Казалось, ее специально сушат, не то намокнет и что-то случится. А помощи здесь можно ждать долго.

«Лебяжий» — небольшой, километров пятнадцать в длину, сверху напоминает знак бесконечности. Это символично, так как жизнь здесь однообразна. Различны мысли, сны, время заката и восхода, но в целом дни, проведенные здесь, похожи настолько, что год делится на четверо суток: осень, зима, весна, лето.

Часть, что обращена на север, выше остальной. Мощные волны разбиваются о скалы. И напоминают о том, что гармония в природе — вымысел поэтов, а в реальности все бурлит, разламывает, побеждает. Высочайшая точка острова — небольшое каменное плато, размером с вертолетную площадку, высотой одиннадцать метров. Вокруг него были природные выступы, так что залезть наверх в хорошую погоду не составляло труда. Но это занятие еще больше упростили, выдолбив ступени. Три с половиной витка ступеней опоясывали скалу. С моря пытались сделать ограждение из деревянных поручней, но океан возвращал все в первоначальный вид.

В шторм здесь страшно: брызги становились густым туманом. Травы, лишайник, придавали камню оттенки коричневого.

Маленькая в чешуе сосна хотела узнать, какая она, эта синяя вода под черными скалами.

Остров становился ниже. Из-под камней выглядывала еще голая карликовая береза. Две его части разделила впадина, низина, в которой скапливалась вода от дождей, оттаявшего снега. Здесь можно по пояс уйти в воду — незнакомому с севером человеку опасность не разглядеть. Края топи — в бусинах морошки, кислой, ярко-оранжевой. Но пока это лишь сухая трава. Ближе к воде — густой ивняк. Болото, окруженное частоколом высоких небритых елей и кустарником. Через него бросили два высохших исполина — замшелых ствола. По ним можно пройти как по широченным рельсам. Или обойти, но это дольше. Растительность здесь богаче: ель, сосны, береза, ольха, рябина. Скоро будет полно грибов, черники, голубики, брусники.

В лужайках проступают раздетый кустарник и сухие травы. Остров почти гол и потому видно далеко. Находясь здесь в это время года, было одиноко, потому что раньше догадывался, что здесь никого, а теперь понимал: да и впрямь — никого.

В середине леса — озеро с чистой прозрачной водой, закрытое со всех сторон вековыми елями. Оттого вода его ровная, как зеркало. Сюда приходят на водопой — куница, заяц. Животные непуганные, подпускают близко. Весной много птиц — чайки, гуси, утки, лебеди, крачки, может встретиться и полярная сова.

Лес этот — до самого конца. Волны в шторм заливают стволы и хвою. Летом в хорошую погоду можно спуститься поплавать, но на отесанных водой камнях много водорослей — скользко. Камни крупные, некоторые по метру-полтора. Так что запомнить их расположение в одном месте несложно. Но вода даже в июле или августе не располагает к плаванию, зато всегда прозрачна, так что можно смотреть, особенно в отлив, что происходит на дне.

Остров стал обитаем в 1856 году, когда торговое судоходство потребовало новых путей. Тогда установили военный пост — дощатую хибарку смотрителя и столб, на котором в сумерки вывешивали фонарь. Через три года приняли решение — нужен маяк. Еще два года ушло на постройку.

В «Докладе по Департаменту Гидрографическому», подписанном генерал-майором Степовым, сказано: «Маяк на острове Лебяжьем существенно необходим, так как северный путь по морю является самым быстрым морским ходом с запада на восток России; маяк должен иметь наиболее яркое освещение, что только возможно на сей день, даже с проблесками. Департамент полагает, что на острове Лебяжьем действительно нужно иметь огонь лучший, чтобы маяк был виден еще дальше; установка маяка на острове Лебяжьем сыграет весомую роль в развитии судоходства...»

Остров имеет наибольшую высоту с моря, а не континента: так природа показала, где строить.

Высота сооружения от основания тридцать целых четыре десятых метра. Двести шестьдесят три ступени витой каменной лестницы. Маяк представлял собой конус — восемьдесят пять рядов гранитной кладки. Сужение кверху необходимо для отклонения силы волн. Облицовочный камень отесан так аккуратно, что проведя рукой по стене — ни пореза, ни потертостей. Комната для светового механизма выполнена из стекла, чугуна с медными и латунными вставками и закрыта сеткой. Окна комнаты сделаны из сорока трех стекол толщиной пять целых тридцать пять сотых миллиметра. Стекла вдоль лестницы еще толще. Диаметр сооружения внизу — восемь целых пять десятых метра, диаметр комнаты светового аппарата три целых две десятых метра.

При постройке фундамента выдолбили и сбросили в воду десятки тонн камня. Стены покрасили в красные и белые полосы. Полосы широки, по пять метров. Снизу доверху всего три окна.

Фонарь и осветительный прибор были изготовлены в Париже на фирме «F.Barbier&Cle» — самая дорогая и современная система на то время. Даже сейчас дальность света маяка остается той же — восемнадцать морских миль. Но это стоило немалого труда — еженедельно огромный шар-линзу Френеля из горного хрусталя протирали спиртом. Свет — красный, три вспышки по одной, пяти секундам с такими же интервалами темноты, дальше — темная фаза три секунды.

В первую же зимовку 1861–1862 годов из пяти человек команды смотрителей от цинги погибло четверо. На следующий год было принято решение для «борьбы с упадком духа», которым объяснялась эта страшная болезнь, отпускать смотрителей в деревню на материк, оставляя одного человека, вахта которого длилась месяц. Зимой, когда судоходство прекращалось, маяк не включали и в обязанность смотрителя входило только поддержание чистоты и мелкий ремонт, однако, заведя на горизонте судно, огонь нужно было зажигать.

В 1887 году установили дом для смотрителей, метров пятьдесят от маяка вниз. Во флигеле порой сырость была невыносимой. Поставили склад, за лето и весну в нем накапливалось много: сухие ягоды, варенья, рыба, травяные чаи, солонина.

Последние смотрители — Китовы — похоронены здесь же. Холмики давно разровнял северо-северо-восточный. Кресты покосились, но крепки — их надежно держали камни. Железные таблички поржавели, но надписи хорошо видны. Захар Китов (14.04.1958— 26.05.1989), Анастасия Китова (17.11.1964 — 26.05.1989).

Здесь характер нужен особый. Но для человека, предпочитающего одиночество, такая жизнь не скучна: работы хватает. И в холод есть что делать, к тому же — чай, книги и печь. Просыпаться нужно рано, чтобы прогреть дом.

В общем, неплохо, если не жалуешься.

Остров находится далеко от материка, и припасы завозят раз в один-два месяца. Консервы, макароны, крупы, овощи, картофель, мясо (дизельный генератор работал и на холодильник), иногда подсохший сыр. Зимой и вовсе маячник был представлен судьбе. Но морозы такие, что осенью запасай что угодно — не пропадет.

Холодное время нужно было пережить одному, а в случае болезни, кроме себя, полагаться не на кого. Хотя, если по радио запросить о помощи, может быть, спасут. Если успеют и поднимут вертолет. Утром — радиосвязь. Начальник маяка говорил о погоде, все ли в порядке, что нужно, здоров ли, исправна ли система, что видел и т. д. Могли дать поручения. Обязательно фиксировал время заката и рассвета, проверял радиомаяк, поддерживал состояние вверенного имущества, сверял координаты, вел вахтенный журнал, должен был сообщить по радиосвязи, если увидит, что у проходящего судна неполадки.

Зарплату платили с задолженностью, продукты стали возить реже — топлива мало, да нет денег, чтобы купить еще. Приходилось отправляться на промыслы и держаться за счет продаж, а чаще — обмена ягод, шкурок животных, сухой рыбы.

Из-за удаленности от людей, проблем с оплатой, необходимости тяжелого труда и местного климата желающих идти на маяк было немного, а те, что соглашались, не выдерживали больше сезона — романтика в таких условиях проходит быстро. Один проработал год, а когда открылась вакансия на югах, немедля уехал. На нем и точка.

Но главное, что сам маяк потерял смысл: системы навигации точны, а подводные скалы начинаются недалеко от берега, куда в шторм не подойдет ни один моряк в здравом уме.

Природа брала верх над усилиями рук человеческих, мародеры не заставили ждать.

О «Масляном» перестали вспоминать, как и о десятках других. Изредка навевались туристы, выкладывая приличную сумму за транспорт — старое рыболовное суденышко. Местные были рады: поймал рыбу — не поймал, а тут рассчитаются.

Многоцветие еще не наступило, но появляющиеся кое-где зеленые точки говорили о том, что скоро это место поразит красками сильнее палитры художника.

Воздух чистый, такой воздух я уже забыл, а некоторые о нем и не знают. Вдыхая его, понимаешь, как дорога для каждого человека, способного чувствовать, нетронутая природа. Скоро воздух наполнится ароматом тысяч цветов, а остров — красотой, завершенностью.

Но я думал не об этом. Перестанешь следить за тем, что говоришь, перестанешь следить за тем, что делаешь. Да и с мыслями это связано. Вернее, это, как и все другое, от них. За мыслями следить перестал... У каждого человека есть нечто, с чем можно их сверить и понять, что дурно, а что замечательно, что можно сказать, а что обидно, неприлично и хамство. Но ценности меняются, и тогда контролировать мысли невозможно. Они неподвластны, пока не устоятся новые убеждения. И может захотеться того, чего никогда не хотелось, а на вопрос «откуда ты», ответить собеседнику, что он алкоголик.

Ступая вверх под неощутимым, но видимым углом, я не мог понять, как такое могло прийти в голову, и еще больше, как то, что пришло в голову, сорвалось. Не стыдно, но не хотелось повторения.

Время послеобеденное, часа два, так что скоро похолодает. Я подходил к скалисту берегу. Чем меньше шагов до маяка, тем медленнее. И не от усталости. А от тревоги и неуверенности в том, что это выбор разумный. Тетива толкала, хотя лучник не решил, следует ли стрелять. Но это мне нужно. Да и сворачивать некуда: палатку я не взял, оставшийся вес заняли продукты.

У сторожки смотрителей я приставил рюкзак к каменной стене. Дощатая крыша с каменным дымоходом начала прогнивать, но была прочна. Хвоя — живучая. Подошел к двери деревянной, немного трухлявой, покосившейся. Взял за железную, в ржавчине, ручку и сразу отпустил.

На меня смотрели два окна, серые от грязи и паутины. Дом стоял в центре, остров здесь узок, метров восемьдесят-сто. Еще здесь накренившийся туалет. Рядом с домом стояло высокое кресло из бревен, досок, сколоченное рыжими толстыми гвоздями.

У самого обрыва виднелись два покосившихся креста. За ними открывался вид на бескрайность воды. Ближе к маяку — склад и помещение с дизелем.

Присев на теплую траву, я смотрел то на кресты, то на воду.

С детства я был задумчив. В восемь лет главный вопрос касался существования Бога. И проблема эта была столь важна, что мнения родителей и родственников тщательно записывались. Спрашивал еще раз, что помогло не особо. Книги в доме были исследованы, но не полностью. Многие были с неизвестными словами. Вопрос решился в пользу существования, но такого, что влияет на мир слабо, либо не влияет. Бог и мир существуют, но больше порознь.

Затем, будучи старшеклассником, свою позицию я описал как «договор о непадении».

Читал много, естественная склонность замечать и анализировать этому способствовала. В отношениях был сдержан, о чем жалел. Зато в мыслях границ не существовало.

Другое качество — необыкновенный художественный вкус. Глядя на красивую обнаженную женщину, я прежде замечал изгиб талии и подъем линии бедра, чем

то, на что принято смотреть. И даже, глядя куда следует, обрисовывал ее темными карандашными штрихами, придавая картинке определенно художественную ценность.

Одно время увлекался фотографией, но на каждой мягким шестым кохинором что-то подчеркивал, обводил, надписывал. Колесо машины, возле которого — свернувшийся броненосец, два парня обнимают девушку, один зачеркнут, над домом в спальном районе — готические башни с мозаичными стеклами, дракон и вырывающееся пламя. Таких фотографий-зарисовок были сотни, они и сейчас лежат в моем столе, завернутые в бумагу.

Часто хотелось мне обнять человека, но получалось лишь пожать руку и с серьезным выражением лица поздороваться. Влюблялся быстро. В женщин, мужчин, с тем отличием, что мужчины не вызывали полового чувства.

Вот и сейчас я смотрел на океан и думал, чего не хватает этой картинке. Из воды начали выпрыгивать небоскребы, вылетать, подобно ракетам, обнаженные женщины, мужчины с красивыми телами, крутиться в воздухе дети, полетели журавли, ракеты взрывались, и осколки становились ананасами, падающими на воду. Затем вода поднялась этажами. В каждом: крабы, медузы, киты.

И все пропало. Остались волны, горизонт и ржавое железо.

Мать, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории не умела и не могла жить плохо. Зарплату не платили по несколько месяцев, а частная практика сузилась. Отец, начинающий программист, получал мало. Она хотела еще детей, но не могла. Ссоры. Затем, выровнялось, жить стали лучше, но прежней сплоченной семье не было. Ссоры стали реже и один раз прекратились вовсе. Но было это не оттого, что вернулся теплый очаг, а потому что последняя закончилась словами «если б ты могла иметь детей». Выющиеся темные волосы, тонкие правильные черты лица, осиная фигура, карие глаза с кукольными ресницами, пьянящие духи...

Улыбалась редко. И то при виде меня. Носившая чаще обтягивающие платья, сапоги, пальто, нежели спортивные костюмы. Ее никто не видел с полотенцем на голове, в засаленном халате, грязном переднике и растрепанными волосами.

Время от времени происходил такой разговор.

— Чем ты занимаешься целыми днями? — говорил мой отец.

— Помогаю людям комфортно существовать. По крайней мере, без вещей, которые мешают человеку и окружающим.

— Ты не сделаешь их счастливыми.

— Я помогаю не быть несчастными.

— Не верю в эту профессию.

— Она есть. Можно не верить в приемлемый результат.

— Ты знаешь, о чем я.

— Знаю... А в меня? — он бросал чашку в мойку и уходил.

Что свойственно людям этой работы — помочь себе не могла. Когда дома стало тяжело, она, нежная, чувствительная, не могла спокойно жить с посторонними людьми. Но не просто посторонними, а бывшими некогда самыми близкими.

Часто курила, пила кофе и думала о том, что все не так, что сама виновата, что теперь тяжело, и не будет как раньше. Именно потому не просила развода. Что здесь, что у черта на куличках. Тяжелые успокоительные не тянули — их заменили наркотики.

Лечить пытались не раз. Денег не жалели, помогали влюбленные друзья. Месяц-полтора — и срыв.

В 1999 году, сев за руль после дозы, запитой алкоголем, врезалась в дерево. Смерть наступила мгновенно. На надгробии была не уставший врач-психиатр, наркоман, а роскошная звезда Голливуда тридцатых-сороковых. Ее обожали, съедали

взглядом, о ней мечтали. Она была рождена для того, чтобы украсить мир, но не для того, чтобы быть счастливой. Казалось, она сама это знала, и жила так, чтобы просто фраза больше походила на правду.

Я хоть и держал их вместе, но иначе, чем в здоровых семьях. Каждый был отдельно со мной и отдельно любил меня, так что треугольника, где могли взяться за руки и не оказалось бы лишнего, не возникало. Лишь прямая с точками, где две крайние старались держаться дальше друг от друга.

Некоторое расстояние присутствовало всегда — казалось, отец не доверял мне или не считал нужным быть со мной честным.

Я сидел в комнате. Окно выходило на жужжащую как муравейник площадь, так что представлять было что, и рисовать было где. Сложно сказать, стало ли мое воображение таким развитым от недостатка реальных переживаний, или реальные переживания были не нужны, потому что воображение могло сделать все.

Больше всего меня тянуло к деду, папиному отцу, сумевшему приватизировать завод по металлопрокату, где был директором еще при Союзе. К усатому седому старику с морщинами как доска для нарезки. Никогда не улыбающемся, который много курил и выпивал сто грамм перед ужином, бывало, и триста — после. Но тот пропадал на заводе, и общались мы редко. Когда я стал студентом, дедушка уже не так был занят, и говорили мы часто, помногу. С рюмками, стаканами или стопками.

Информационный дизайн подходил мне как ничто другое. Учеба давалась легко. Когда-то меня поразило, что искрографик (кривая линия в строчке, обозначающая колебания чего угодно) был не всегда, и у него есть создатель. Глядя на карту метро, таблицу Менделеева и другое, я понял, как эти вещи просты и емки, и что мне нужно придумать такое. В 2007-м я получил студенческую премию в области дизайна «PostItAwards» за карты пробок в Питере.

Именно тогда я впервые подумал о том, чтоб нарисовать схему всех знаний. Структуру мира, информации о нем. Я читал Ветхий Завет и пытался изобразить семь дней Творения. Но в них не было того, как всему жить дальше. Что олень думает о человеке? Как мать связана с ребенком, и почему ребенок меньше взрослого? Показать этапы его взросления и как вещества, находящиеся в нем, становятся телами других — после его смерти. Десять заповедей были посвящены лишь человеку.

Я видел, как сталкиваются самолеты. Я видел, как давят собак. Все это можно если не предугадать, то связать. Чтоб мать поняла причину смерти сына. Схема дала бы точный ответ. К его смерти бы стекались линии, объединяясь в одну.

Не нужны таблицы Брадиса, Менделеева, результаты голосований: линии идут от всего ко всему, собираясь во все. Это шар, внутри которого был вопрос. Схема, по которой мы получим ответы.

Есть ли в море Нептун? И стрелки сводятся к водяному Богу. Воображение, культура, страх, псевдонаука: нет такого Бога — понятия не обозначают реальной вещи.

Несколько лет назад, основав с приятелем фирму инфодизайна «Infoviewstd.», вдруг заметил, что строг к подчиненным, порой жесток. А представлял, какая там будет легкая атмосфера с забытыми пепельницами на столе, автоматом с колой, как будет гудеть кофемашинка.

Как я крикну: «Да, это оно! Я это сделал!», и все сразу побегут к столу, а в обед мы вместе будем есть острую пиццу с красным перцем, запивая холодным пивом, обсуждая секс, музыку, архитектуру. Но вместо этого все говорили «доброе утро», «прошу прощения», «не мог бы ты», а я не кричал, ходил по залу, смотрел на чертежи, рисунки, мониторы. Кофемашинка работала только в обед, чтобы не отвлекать от дела.

Дни расходовал, планировал, тратил, не замечал, и это ужасало. Казалось — все одинаково и впустую, а жизнь похожа на бизнес-план. Я — типичная жертва большого города. Возникающая с открытием глаз скоростью была тонкими плетьюми. Я — вроде свидетеля, который глянул в окно поезда и закричал.

Где та грань, когда ты становишься наблюдателем? Где переход между тобой и миром? На кончиках пальцев, языка?

Хорошо, я проживу семьдесят четыре года. Это немало. За это время придумаю кучу вещей, которых до меня не было и с которыми станет лучше. Я помогу людям, дам им все, что смогу, благо, эта работа для меня. Но я это буду делать до семидесяти четырех лет... стану мэтром дизайна, получу много раз желтый или даже черный карандаш. Возможно, мне поставят памятник, я буду почетным профессором лучших университетов. Но что взамен? То, что мне нужно, никто не сможет подарить, и этим не награждают, с этим рождаются. С желанием жить, с радостью, что ты есть и что есть другие, и что все это будет еще много-много времени и будет еще прекраснее именно с тобой.

Я наблюдаю жизнь и просто делаю, что умею. Почему так быстро и так невозвратно вокруг? Все умещается в картинки, пусть и хорошие, и за их рамки не выходит.

— Да, присаживайся, Миша, что у тебя? — однажды Миша спрашивал третью глупость за день.

— Заказ из московского отделения Федеральной миграционной службы. Календарь с описанием главных русских праздников. Я не знаю, какие главные...

— Московского? Ну, пиши. Четвертое ноября — День Народного Единства. В этот день в 1612 году тысячи жителей города Москвы под лозунгом «Москва для москвичей» изгнали польских интервентов из столицы России.

— И все?

— Да. Индивидуальный подход.

Ненавижу людей типа «эй, подсолнухи, вот и солнце» — есть такой тип. Но все же иногда вспоминаю что-то из детства и становится тепло и легко, как тогда, когда все было хорошо и всем было хорошо. А теперь пусто, скучно, страшно и не так.

Дедушка умер, когда я оканчивал третий курс. Я приходил домой, садился в кресло и по несколько часов смотрел в огромные, на всю высоту комнаты, окна.

На транспортное кольцо, подземные переходы, безвкусный торговый центр — жуткий мастодонт. Плохие картины висят дома у кого-то, плохие книжки можно тоже не читать, спрашивая у людей со вкусом, что читать и что смотреть, а вот эту мерзость люди видят каждый день и многие уже не замечают, как он плох, и думают, что это и есть архитектура. И что может быть и в жизни так, забывая в течение многих лет о том, как хорошо нам было когда-то, мы считаем, что сейчас все нормально, хотя, если б можно было вернуть тебя в какие-то светлые годы, разница бы ужаснула.

А я вижу разницу. И скорость ужаса — время.

Так просиживал часами, глядя на машины, огни, выходящих и заходящих в переход.

Это полуопустошенное состояние было не только от утраты единственно близкого человека. В последние месяцы своей жизни, когда дед стал совсем плох, старик часто убирал глаза, и возникала недосказанность.

Но старый человек недолго утаивал, почему. Он сказал, что на самом деле меня усыновили, и что мои родители — не мои родители, и мать была несчастна не потому, что после меня не могла рожать, а потому, что была такой всегда, и что, если бы он этого не сказал, не смог бы спокойно умереть.

Дедова «листорубка» досталась мне в наследство. В благотворительность я не верю. Лучше построить спортивную площадку, чем отдать деньги больным и нищим, которых прорва. Я обратился в детективное агентство. И через три месяца мне сказали, кто родители. Маячные смотрители Захар и Анастасия Китовы. Не знаю, зачем это сделал.

...и вот я у могилы родителей, которых не знаю, не помню и не люблю.

Становилось ветрено и прохладно. Застегнул наглухо балахон, медленно встал. Глаза метались как падающий бубен.

Открыл рюкзак, вынул черный фонарь, бутылку воды, отпил жадными глотками, вытер губы. Дверь в дом смотрителей не поддавалась, скрипела, ходила то вперед, то назад, и пыль вздыбилась вверх.

Аккуратней надо.

У входа небольшой деревянный стол. На нем — лампадка синего цвета, стекло запылилось, открыл — скипидар. Еще много, фитиль мокрый. Стол — слева, справа — шкафы. Пустые. Газовая плита, стальной красный баллон, четыре табуретки. Включил одну из конфорок — не пахнет. Между шкафами где-то на середине комнаты чернела каменная печь. Деревянный пол скрипел. В конце — большая кровать, шкаф. Матраса нет, только стальная сетка.

Маяк казался выше из-за формы конуса. Я встал на первую ступеньку и рукой вел по стене, как будто там было, за что удержаться. Оборот, оборот. Тут ветер уже сильный, задувал в рукава, толкал в спину. Будто просил не останавливаться.

Дверь была исписана фломастерами, баллончиками. Имена, даты. Без мордочек и ругательств.

Взялся за ручку стальной толстой двери, потянув на себя. В полумраке были видны ступени.

Мысли кружили по лестнице, выбивали окна, скакали, мешали идти. Скользкие, острые, тупые, мысли сливались в поток, хватали за что-то в груди и тащили выше.

В небольшой круглой комнатке со столиком, лампой, стулом было темно, и я включил фонарик.

Больше всего тетрадка синего цвета с монологом про Таню. В целом текст уважительный. Мне даже понравилась Таня. Шкафчик с книгами по навигации. Толстый кабель тянется вверх. Каменная лестница заканчивалась, дальше — вертикальная железная. Я повернул ручку люка.

Застеклено. Метр в высоту — камень, переходящий в стекло. Чуть выше — линза в виде большого, около метра в диаметре, шара с гранями и уступами, как будто в снег лили кипятки. Ее опоясывал стеклянный цилиндр. Линза стояла на четырехугольнике темно-желтого цвета, но краска почти облезла, в отличие от той, которой был покрашен маяк. Высота потолка метра два с половиной. С одной стороны — железная дверь и можно выйти.

Дверь поддалась тяжелее, чем нижняя. Ветер шумел так, что пришлось бы кричать при разговоре. Мягкий капюшон балахона уперся в щеку. Полметра пространства ограничивала решетка. Бескрайняя гладь — пустыня. Широколобые облака закрыли солнце, но редкие лучи пробивались.

Все исчезло. Есть лишь чувство, что я высоко, выше всего плохого и хорошего, прошлого и будущего. Что все это — мое. Как никому не принадлежит любовь, преданность и верность. И я поднимался, поднимался.

Кровь в венах забурлила, как реки, что вливаются в открывшийся непричесанный простор. Оборот, оборот. Я продолжал подниматься. Казалось, каменная лестница никогда не оканчивается, что я иду по ней дальше — где не ступали души многих.

Начал улыбаться, широко, всеми складками и бороздами, пока не стал смеяться, кричать, отгалкиваться от поручня, раскачиваться.

Ветер сливался с голосом, соленой водой, солнцем и шумел, улетал, возвращался, захватывая крик и пропадая вновь.

Я увидел альбатроса. Белая птица, обитающая в прозрачной холодной синеве, ныряет вниз, в гибкие руки ветра. Невесомый, не ощущает времени и пространства, лишь парит. Острый клюв разрезает сухой воздух, перья прижаты к телу свистящими потоками. Птица, которая знает о свободе больше старого панка, всех художников, композиторов.

Альбатросы: одинокие князья, утратившие дружину. Ее они высматривают.

Лег, поджав ноги под себя, закрыл глаза. Лежал долго. Пока не стал замерзать. Тогда поднялся, глядя на то, что дало мне прежде не испытанное, и казалось, несуществующее. Но это был не океан и не высота, даже не маяк. А ощущение поступка, нужного и совершенного, выходящего за рамки здравого смысла и оттого еще более значимого.

К двери пошел с другой стороны, чтобы посмотреть на остров. Все знакомо: домики, кустарник, трава, деревья, озеро.

Последнее время я часто говорил, что нет причин для счастья, потому что они не нужны, а если и нужны, то только такие, что будут всегда и везде. Вот, засомневался. Это хорошо.

Рукой задел карман и вспомнил, что взял банку пива. А как долго я представлял, что выпью здесь пиво...

Вытащил из рюкзака складную пилу, топор, веревку. Спустился вниз. Нарубил кустарника, елового сушняка, плотно обвязал веревкой в двух местах, накидал продольно на две толстые ветви, закругленные на концах, связал. С одной стороны к двум ползьям привязал палку и перебросил ее через грудь. Теперь я похож на запряженную лошадь.

Руки болели, шея и спина совсем мокрые, но дров хватит надолго — можно часами просиживать у огня — языка красной ящерицы.

Слонялся по острову, думая о том, как хорошо, что сейчас здесь, а не в Питере или Одессе. Событие не может свершиться без подходящего места. Я думал, эти пять дней должны изменить что-то: так же, как день, когда погибли мать и отец. Но в этот раз я сам этого пожелал, а тогда меня не спрашивали. Значит, я личность — человек, способный на поступки. А это важнее, чем черный карандаш и почетная профессура. И остров. Теперь эта скала стала более чем реальной и значимой.

Завтра нужно пойти к озеру, набрать воды. Засыпал в казанок гречки, из него вынул второй, для чая. Вокруг места для костра вбил две ветки с развилками на конце, повесил меж ними казанок. Дрова расположил так, что в центре они напоминали соломенную шляпу. Я был очень голоден, но ел медленно.

Иногда картинку не хочется менять не потому, что она совершенна, а потому, что уместна. Как сейчас.

На кровати постелил туристический коврик. Здесь спали мои родители. Мириады звезд, столько я еще не видел. Ночное небо и шум воды, воды, воды.

Разжег заново костер — пламя с треском колело сухой чешуйчатый ельник. Я осветил вверх фонариком: звезде лампочка не подруга.

Хотелось понять, как жил когда-то, как жила моя семья. С которой, возможно, был бы другим. И почувствовал себя зрителем древнего маяка, когда путь показывали большие костры.

Но этот огонь был другим, чем те, что я видел раньше — свободным.

Время от времени ветер поднимал искры полыхающего дерева, и они гасли в воздухе, пролетев красным туманом.

Проснулся от холода — костер затух. Залез в спальник и спал на спине. Давно так не спал. На спине.

3

Холодно. Солнце невысоко.

Я смотрел на рассвет. Возможно, он прекрасен от механичности. И отсутствие самоанализа — признак божества? Возможно, рассвет перестанет быть совершенным в тот же миг, когда над морем, солнцем и воздухом кто-то установит зеркало. Когда он увидит свое отражение и задумается над правильностью его черт, миг потеряет красоту?

Вот смотришь на «Гернику» и понимаешь, как ужасна война, при этом не думая о тысячах опустевших сел России, Украины, о живущих в них алкашах, бабках, раннем Пушкине, правах человека в Нигерии. Но какой смысл у природы? В том, что она существует?

Я выпил воды. В доме под столом нашел пластиковую канистру литров на десять, на ее рукояти цилиндр из резины — удобно. Отвинтил крышку — не пахнет. Выгрузил содержимое рюкзака, отстегнул змейкой половину, крепежные лямки — тот стал меньше в два раза. В него бросил пустую баклажку.

Впечатления от вчерашних событий еще ярки и отчетливы, но слишком много мыслей промелькнуло.

Здесь, на острове, в одиночестве все воспринималось иначе — нетронутая природа преображает.

Чем ниже я спускался, тем слабее становился ветер. Остров я изучал по фотографиям со спутника — считал, что изучил. Но, когда перешел болото, прежде чем выйти к озеру, искал его больше часа.

Я подумал, что, кроме знака бесконечности, эта затерявшаяся в синеве, избитая ветрами земля напоминает налитую женскую грудь.

Капризничает.

Озеро было таким, как и представлял. Не слишком большим, прозрачным, видно рыб. Умылся.

Вода напомнила о рыбаке Никитиче. Жаль, что обидел. Мужик, видно, хороший. Много хороших пьют... от совести. Капитан действительно был невиновен, кроме того, что рассказал историю, которую местные обязательно вещают «заезжим».

Последние зрители «Свечки» жили на острове уже шесть лет. Очень хотели ребенка, но не получалось. Перепробовали все, что могли, а в нужную больницу добраться сложно — кому-то работу оставить, но то желающих подменить нет, то не хотели чужому маяк и дом доверять.

Однажды Захар пил с рыбаками, и те сказали, что делать. Мужики нашли охотника, купили шкуру медведя, привезли. И те должны были на этой шкуре много времени проводить. Чем дольше — тем больше шансов, что «косматый» поможет. Помог. Хотели отблагодарить, да кто подкинул идею, выяснить не смогли — крепко тогда накатили.

Мальчика не крестили: далеко до церкви. Батюшка разъезжал каждый день во все стороны, а Китовы жили дальше всех, так что решили повременить. Осенью тут шторма, в море иногда неделю не выйдешь. И маячный огонь помогал. Некоторые, хорошо прошедшие место, благодарили, передавали кто фрукты, кто сувениры через рыбаков, а кто просто добрые слова по радиотелефону. Моряки знают, что на острове нелегко.

Однажды маяк погас — случай редкий, но возможный: электрика, провода, шторм. Близ острова проходил старый рудовоз, свет должны были обеспечить, а погода сделала это невозможным.

Ливень, волны и штормовой ветер разрывали остров, как рыбы сладкого моллюска.

Утром на маяке не ответили. В домике зрителей сидел мальчик. Играл с корабликом на детской кровати. Посмотрел на вошедших и продолжил. Зрителей не нашли. И шторм замыл все следы.

Рыбаки заговорили, что видели, как по воде в желтых дождевиках ходят мужчина и женщина. Они руками показывают, куда плыть и предупреждают, если судно подошло близко к скалам. Эти двое знают, сколько жизней должна была спасти «Свечка», и, пока не спасут, не перейдут в иной мир.

Внутри у меня разрывалось, падало в горле. Капитан был хорошим рассказчиком — качество, присущее старым морякам, оказалось нектати. И после этого Никитич спросил, откуда я родом...

Но все равно это не повод хамить.

Метров за тридцать между кустами ивняка стоял лось. И по взглядам было неясно, кто кому удивлен больше, и кто кого видел реже. Во всяком случае, лось растерян. Так продолжалось около минуты, дальше животное степенно развернулось и, как прима балета, побежало в лес.

...жил бы я в сказке, эти высокие ели могли быть вбиты великанами, обозначая границы. Но это деревья.

Солнце в зените. Балахон снял еще в пути, пока не взмок — не хотелось здесь простудиться. Пришел голодным и сразу пообедал. Затем отправился туда, где в первый день провел столько времени — к покосившимся крестам.

Я заметил, что таблички развернуты внутрь острова. А за ними бурлит вода. Может быть, те, кто поставил их, хотели, чтоб люди смотрели больше на океан, чем на сбитые гвоздем палки?

Над водой, метрах в трехстах от берега, собирались чайки: садились на волны, опуская в воду клювы. Минут десять, и их уже не меньше сотни. Мне хотелось туда, к беззаботным птицам, тоже кружить и качаться на воде, там бы я оказался не один, там можно закричать, и все сразу ответят. А выше парили альбатросы.

Величавые белые птицы не взмахивали крыльями — это бы нарушило их степенный полет. Они молчали, глядели вниз, на маяк и воду из темно-синей змеиной кожи. Но для альбатросов это не маяк, а то, откуда можно упасть на гладкие сухие языки.

Эти, похоже, одинокие.

Если поменять местами сушу и море, жизнь птиц останется прежней. Не это ли подлинная независимость?

Чувствовалось, что душевные процессы в этом месте ускоряются. Но то, что меня перерывало как схваченную корнями пашню, что этот остров был огромным плугом, не знающим усталости и пощады, не давало ни ответа, ни выхода.

Только природа делала свое дело мощными лапами сухой травы, гнильем низины, шумом ветра, криками птиц.

...и захотелось спрятаться от всего, побыть одному, захотелось столь привычных потолка и стен. И в самом маленьком пространстве.

Сел на пол в углу. Я представил, что эта комната — стальной куб, не выпускающий и не выпускающий мысли, строчки текста, картинки, запахи, звуки... Выключил фонарик.

Еще отыграюсь. Отсижусь как белка в дупле, натяну тонкие струнки как надо и выйду.

Пожилая женщина с трясущейся головой, крашенными хной волосами, руками в пигментных пятнах, Наталья Степановна Углова, преподаватель по истории искусств, говорила, что нельзя бояться предстать пред великим художественным произведением без защиты — настоящее искусство не причинит зла, если вы готовы быть хоть на капельку, но лучше. Слова, которые буду помнить всю жизнь.

Когда спустился, увидел, что вниз большими прыжками помчался серый заяц. Меньше чем за минуту, животное скрылось.

...клином летели серые тундровые лебеди.

Пошел к низине, затем — неторопливо по левой стороне вверх, глядя на скалы, воду, птиц. Останавливался или садился на землю, вырывал травинку, наматывал тонкую на пальцы.

Пиво из рюкзака было прохладным. Я открыл банку и сел в деревянное кресло. Было так хорошо, что жаль допивать остатки. Тело обмякло, и я закрыл глаза. Щекотал кожу порхающий ветерок. На ручку кресла села чайка. Она добивалась моего внимания.

Где, как не здесь, прозвучит эта фраза? Она добивалась моего внимания...

— Ты, наверное, хочешь поговорить с кем-то, кто умнее чаек? Да, они не отличаются разнообразием. Но есть альбатросы, если ты сможешь взлететь так... Хотя, откуда мне знать чаек? Они могут быть очень разными. Видела китайцев? Да, тебе надоело тут. Летают, плавают. А чайки умеют нырять?

— Аррр.

— А нырять и плавать?

— Арр.

— Значит, не все так плохо. Умение нырять и плавать — это уже что-то. Страус не умеет.

— Аррр — ар.

Я открыл глаза и увидел зеленого попугая. Он мог быть чьим-то из экипажа. Нет, он здесь родился и взлетел среди елей. Одна чайка изменила другой чайке. Где-то в Африке.

— Аррр.

— Попугаи не пьют пиво?

— Аррр.

— Не понимаю. Махни крылом, если «да». Попугаи пьют пиво? —

Птица не двигалась.

— Трезвые, значит.

Я взял флягу с коньяком и поводил горлышком у своего носа, затем у клюва попугая.

— Ясно. У меня есть орехи.

— Аррр. Арррр.

— Закрой клюв.

Попугай замолчал и стал крутить головой.

— Ты счастливая птица. Это неприлично.

Я отхлебнул.

— Да... Любишь охоту? Зайцы всякие, олени...

Птица чесала крылья.

— Не холодно зимой?

— Аррр. Аррр.

— Да, да... вот небо, трава, море. А мы где? Где мы с тобой? Мы — нигде. Если назвать так город, это слово потеряет обаяние. Где ты живешь?

— В Нигде.

— О, так мы почти соседи.

Попугай замахал крыльями и стал кричать. Затем сложил свои ручки и устался на коньяк.

— Это лучшая фляга коньяка. Лучшая. Жаль, ты не пьешь. Иногда говорят, что пить не нужно и спрашивают у кого-то: зачем он пьет. Слышишь, Зеленый? Единственный хороший смысл — его отсутствие. Прими это как данность и станет легче. Но... не так легко, чтоб не пить.

— Аррр.

— Как тут оказался, Аррр?

Я смотрел на попугая. Он понял жизнь и улетел от всех. Наверняка он самая зеленая птица и мог бы стать известным и богатым.

— Так, откуда ты?

— Я эндемик*.

— Да. Со мной тоже не все в порядке.

С художественной стороны, маяки мне нравились всегда — как нечто завершенное, правильное. А некоторые приводили меня в восторг, ибо все они разные. Больше всего нравились те, что поднимаются просто из воды, посреди моря. Это большие дома, цилиндры, конусы с комнатами, спальнями, кладовыми. В них может жить семья. Поднявшись с удочкой наверх, ловят рыбу, а ловить рыбу из окна — частая мечта рыбаков-мальчишек.

Я почувствовал прохладу, когда открыл глаза. Ветер слабел, а перья волн темнели. Качалась голая ветвь сосны.

Свобода здесь, может быть, обманчива: что-то вынудило меня приехать и остаться. То есть несвобода скрывается везде, достаточно потерять бдительность. Равно как и свободу легко не заметить.

...и что это пустые мысли. Потому что ветер, море и птицы. Потому что легко и по-настоящему. Потому что, если резко вдохнуть, горло полоснет теплая струйка... Значит я стал целым. А целостное — не может быть одиноким.

Волны становились меньше. Цвета их все реже менялись, а чайки, предвкушая сон, нехотя горланили.

Альбатросы так высоко, что почти не двигались. Но, если присмотреться, можно заметить поворот крыла. Я собирал костер. Медленно волны били одна другую, медленно летали чайки. Те развернулись против ветра и почти не двигались. Иглы сосны лениво кивали в стороны, а костер жадно отдавал пепел.

Вокруг становилось плотнее, как если добавить невидимую закваску.

Замирали чайки, как бумеранги в мертвой точке. Усталость, нахлынувшая внезапно, держала меня, не давая пойти к обрыву.

Волны все меньше — нет, такие, как были. Как будто им навстречу дует скала, оставляя прежними, но мешая нахлынуть.

Трава каменела. Ветер не прекратился: как бы став плоскостью, которая потеряла силу, а не скорость, продолжал давить. Маятник, которым ходила ветка, останавливался, но также широк.

Я подумал, что хочу спать и нужно в дом. Пошел к двери. Но, когда должен был зайти, оказалось, что только повернул голову.

Тогда птицы стали дневными звездами, а море — синим песком.

Все происходило не этапами, а цепочкой, гибкой музыкой. И мысль, достигнув картинки, стала замедляться, точно показывая аварию гонщика или удар боксера в повторе.

Хотел поднять руку и увидел, как повело плечо, локоть и так далее... Моргнув, глаза надолго закрылись. Надолго — весьма неопределенная характеристика.

(Раньше время я мог измерить явлением: закат — рассвет.)

* Эндемики — виды животных и растений, представители которых обитают на ограниченном ареале.

Калейдоскоп запахов морского ветра, трухлявого дома, обугленного дерева перестал бить под разными углами: все смешалось так, что запахов не стало.

Звуки протяжнее, четче. Как шаблоны, а не истинные голоса. Возможно, от длительности каждого участка. Если плеск волны был одним «швввашш», то сейчас множество оттенков проявилось в нем. Так музыканты разучивают произведения.

И все теперь сложнее: то же небо, трава, птицы, но иные, какими не были.

Ладонь поднялась к губам и опустилась вниз. Ее сопровождал удар волны и крик чайки. Можно из двух волн и трех криков составить концерт...

Другое дело — чувства. Так как эти явления сложные, их нельзя проследить в столь коротких измерениях.

Но было что-то мутное, необратимое.

Я захотел ощутить боль: физическую боль. Какой она сейчас будет? Как ноги, что гудят вечером, или как воспоминание?

Должна была виднеться дымка, множиться в глазах. Или рябь воды перейти в голову. Но воздух прозрачный, а сквозь землю не видно.

Пространство стало ртом, в который заливали воск. Может быть, в нем что-то вроде зуба, стоящего вкривь, или неправильного прикуса? Тогда можно изготовить коронки, и будет как должно.

Казалось, сейчас упаду в сон, и трава смягчит удар. В голове было густо, как в сметане, а слова на резинках привязаны где-то в темечке.

Звуки же, казалось, исчезли. Но это не так: органы и сознание привыкли. Так что крики чаек и запахи моря, сухой травы стали прозрачным фоном, процентами воздуха. Или сознание не воспринимало такие медленные импульсы.

Все шло к остановке, как расстояние, каждый раз деленное на два.

А маяк стоял. Замурованные в неподвижном, предсказуемом мире, статуи морских птиц напоминали сородичей в музее естествознания. Иглами торчали хрупкие травинки... Наверняка их можно ломать.

...и мысль за-ме-рла.

Повторив человеческие жизни, мир превратился в памятник себе.

Наступила пауза. То есть почти пауза. Как после взрыва гранаты возле тебя. Все стало черным. Или черное стало всем.

Так продолжалось неопределенно долго.

Пространство возвращало утраченное быстрее, чем отдавало: трава неспешно колыхалась, а чайки как планеры двигались вверх-вниз. Вдоль прозрачных рельсов скользили облака... Птицы кричали резкими звонкими голосами, напоминая ряд сигнальных машин или белую пену морских волн.

Я держал в руке шершавые ветви. Всю жизнь меня страшила скорость. Наверное, я боюсь смерти: что годы пройдут быстро, и ничего не пойму, не почувствую. И, когда время замедлилось, я оставался тем же. Значит, дело не во времени, а в отношении к нему. Казалось, что после семнадцати лет время ускоряется. Самое главное, что со мной было — до семнадцати лет. Что же потом? А потом я перестал замечать детали. Да, я перестал видеть детали... Привык. Это и называется рутиной: когда во дворе — голые каштаны, а завтра — в белых свечах. Я же лет десять не видел почек на деревьях! И когда время замедлилось, я увидел детали: крыло, травинку, иголку, ладонь...

Оставшиеся дни ходил по острову, записывал в блокнот всякое. Ясно: это чувство скорости было внутри, а снаружи время неизменно. Подобное несколько раз испытывал во сне. Но размыто и больше страшно, чем странно.

В Японии есть праздник Ханами. Начинается он с цветения слив. Люди выходят и наблюдают цветы. В парках разбиваются палатки, заняты все скамейки. Кто-то

ложится на простыни и смотрит вверх... Чтобы не упустить ни одного мгновения, деревья освещают ночью.

Я думал о том, что расставило бы все на места, ответило на все вопросы. Мечта придумать такую схему не покидала и здесь: от долгой ходьбы в одиночку обязательно что-то придумаешь. Мне было страшно от простоты и грубости ответа. То, что все расставляет на места...

Когда оглядываешься и смотришь: да, она все сделала, а я лишь смотрел.

4

Гудок рявкнул скорее для обряда. Пристань была усыпана чайками. И когда я прошел по доскам, птицы горланили, крутя шеями.

Волны лизали поросшие водорослями камни, извиняясь за то, что с наплывами уносят невидимые кусочки, превращая великанов в гальку.

Я встал на колени и опустил лицо в воду. Так плавно и медленно колыхалось прозрачное все: размывая конец и начало. Вода и время родственны.

Одна из чаек поднялась в небо. Потоки отбрасывали ее в середину острова. Взмахнув крыльями, она вырывалась вперед, соскабливая клювом с невидимой стены звуки пернатого отчаяния. Атакуя преграду под разными углами, она вернулась на пристань и тупо смотрела в воду. Я хотел забрать эту птицу и держать на кухне. Мы бы смотрели друг на друга и кричали в рот вентилятору.

Она взлетает к потолку, глядя на стену. А я бы думал о графиках, таблицах, картах...

Если рисовать альбатроса, нужно показать лишь очертания, чтоб между крыльями и телом был отрезок пустого пространства, отчего птица кажется большой. Так можно нарисовать и чайку. Но альбатроса нужно рисовать одного.

В крайнем случае, рядом с облаком.





Лауреат конкурса
им. И. Царёва

Лариса ПОДИСТОВА

«Негромкие стихи»



Небо апрельское дышит. Дорога длится.
Только вот будто бы снова окликнул кто-то:
В окна забросило ветром сухие листья —
Прошлое не оставляет меня заботой.
Солнечно в воздухе, в мире, и все в порядке.
Шарики вербы задорно щекочут щеку.
Я научаюсь жить проще и без оглядки.
Я научаюсь другому совсем отсчету.
Пестрые гимны слышны в воробьином гаме.
Ветер вдохнешь — как нырнешь головою в омут.
Я забываю о шорохе под ногами:
Мертвое — мертвому, новый апрель — живому.
Старая почта к пославшим ее вернется.
Адрес не тот... Адресат, извините, выбыл...
Яркие звезды трепещут на дне колодца.
О межсезонье, мой вечный бродяжий выбор!
Я хорошо этот зов потаенный знаю:
Кровь обновляется, видимо... Или, может,
Небо, и правда, другое? Земля — иная?..
Прошлое тихо сползает отжившей кожей.



В наших просторах такие долгие зимы...
Ели в убранстве белом неотразимы.
Море смирилось, встало, молчит и дремлет,
И до апреля не бьется волной о землю.
Все, что терзало, ломало, рвало, бесило, —
Вдруг улеглось: экономим тепло и силы,
Лишь на ресницах блестят ледяные стразы.
Время холодное всех укротило разом.
Так мы устроены: если нас греть и нежить,
В душах расслабленных селится густо нежить.

Только холодными вихрями дунет север —
Распри забудем и делимся всем со всеми,
Как испокон заповедано нам по роду...
Что же, зима, приходи очищать породу!
Пусть в нас недавней горячности нынче нету —
Снежные души чисты и открыты свету.



Осень жизни — разноцветный терем.
В нем тепло и все давно всерьез.
Чуть щемящи детские потери,
Жаль забытых юношеских грез.
Не боимся ни дождя, ни зноя,
Не страшно паденье из гнезда.
По ночам над маковкой резною
Дремлет в небе яркая звезда.
Часовых мы у ворот не ставим —
Мир внутри уже не так раним.
Но с закатом запираем ставни
И амбары полными храним.



В спальню мою сквозь портьеры прокрался лучик,
Высветил книги на столике у кровати.
Встану, закрою окошко на всякий случай:
Слишком прохладно, зябко. Пожалуй, хватит.
Утренний ветер снаружи мотает ветки.
Пасмурно в небе. Откуда лучу бы взяться?
Кажется осенью мир несказанно ветхим,
Будто канва в подстекольных музейных пальцах.
Даже знакомой реки парапет гранитный
В мокром тумане, как воск, оплывая, тает.
А заблудившийся луч серебристой ниткой
Жизни прорехи назло ноябрю латает.



Нить за нитью вытягивать смыслы
Для стихов, как для новых рубаш.
Привкус крови и привкус кумыса
На запекшихся помнить губах.
И на нижней поверхности века
Перед тем, как впустить в себя свет,
Различать силуэт человека
И крыла белоснежного след...



Прочность — такая роскошь...
Хрупок земной редут.
Капли свечного воска
Времени счет ведут.
Горькой сочится тайной
Душный, тревожный сон.
Тихо, но неустанно
В колбе течет песок.
Ночь никого не спрячет.
Чахлый рассвет далек.
Бьется о свод горячий
Раненый мотылек.
Дремлет в горах лавина
Грудой камней и льда,
И неостановимо
Точит ей путь вода.
Все, что тепло и мило,
Завтра затянет муть.
Песням бывшего мира
В реве стихий тонуть.
Где ж нам потом припомнить,
Кто заиграл не в такт...
Каплет в безмолвье комнат
Мерно: тик-так, тик-так...
Вечное свечкой белой
Плавится на глазах.
И ничего не сделать,
Не повернуть назад.



Я смотрела на звезды.
Меня поднимало с земли
Восхищенное чувство
Огромной сверкающей тайны,
И далеких галактик
Цветные веселые стаи
Волновали сильнее,
Чем в ближнем порту корабли.

Я смотрела на звезды,
И мир стал мне тесен тогда.
Шелухой осыпались
Обиды, невзгоды мельчали,
И душа тосковала,
Как пес, на вечернем причале,

От которого в космос
Пока не уходят суда.

Я смотрела на звезды
В холодной мерцающей мгле,
Где сверхновые взрывом
Сметают миры в одночасье, —
И теперь невозможно
Простым человеческим счастьем
Утолить мои голод и жажду
На теплой Земле.

Я смотрела на звезды...
Как прежде они далеки.
Я — травинка, песчинка,
Частица материи брэнной.
Неподкупный закон
В бесконечной, бездонной Вселенной
Кружит Солнце мое
И Галактику Млечной реки.

Я смотрела и знала,
Что он непреложен и прост,
Всемогущ, и един,
И превыше рассудка огромен.
На Земле, посреди
Беззакония, алчности, крови,
Я сошла бы с ума,
Если б в небе не видела звезд.

Я смотрела на звезды.
И не было в жизни ни дня,
Чтоб, забыв о земном,
Я себя укоряла за это.
Да, мой век рядом с ними —
Мгновенье, шальная комета,
Но сквозь всю мою жизнь
Маяки их горят для меня.



Берег молочный,
Шорох полночный,
Серпик луны.
Лиственный ропот,
Узкие тропы,
Смутные сны.
Хмурые клены,
Блеск отдаленный

Липких тенет.
Шелест ковыльный,
Мягкие крылья,
Хищный полет.
Сломанный колос,
Гаснущий голос,
Стынущий след.
В омуте лета
Два силуэта,
Были — и нет.



Это лето течет куда-то,
Как сквозь пальцы песок. Июль.
Пахнет хвоей, грибами, мятой,
Пьяной ягодой на краю...
Это море и небо это,
Пряди ветра в густой листве
Замирают чеканкой света
На чувствительной пленке век.
И в груди ощутимо ноет:
Словно в зале, где шло кино, —
В сером ливне и ярком зное
Задержаться нам не дано...
Жизнь, которую лето дарит,
Проходя, оставляет след:
Новый гриф на твоей гитаре,
Жар вишневый в стеклянной таре,
Фотоснимки, где нас не старит
Роковое течение лет.



Страна из легенд, где тройне драгоценен уют,
Где рыжее солнце по лапам кедровника скачет!
В каких бы краях мы потом ни искали удачи,
Все гулкие вьюги в душе монотонно поют.
Когда притихает с закатом дневная страда —
Гуденье станков и пилы разгулявшейся дискант, —
Под пристальным взглядом луны узкоглазого диска
Неоновым заревом пестро горят города.
Кучумова вотчина, варварка, знаешь ли ты,
Что чувствуют люди, когда, обнажаясь недобро,
Твоих мастодонтов гигантские желтые ребра
Выходят на свет из седой вековой мерзлоты?

Сверкая, начертит зима зачарованный круг,
Изгибом лыжни поманит из домашнего тыла,
А в хрусткой тайге одеяние ели застылой
С ветвей от внезапного звука обрушится вдруг...
За что этот край так бесстрашно и крепко любим?
Недолгое лето по речке скользит водомеркой,
И гладит, и жалит, и в небе сиреневом меркнет,
И пахнет душицей и мятой до звездных глубин...
Казачья, раскольничья, терпкая греза Руси!
Лукавое сердце одно лишь с тобой не сроднится.
Здесь ветхозаветного гнева в июле зарницы
И новозаветная скорбь в октябре моросит;
Но радость такая весной в пробужденье полей,
В пасхальном сиянье, которым лучится природа,
Что слово скупое «Сибирь» слаще яблок и меда
И бойкого щебета южных наречий — теплой.





Лауреат конкурса
им. И. Царёва

Олег СЕШКО

«Продолжаю тянуться ввысь»

Чуть-чуть

Чуть-чуть и затрезвонят голоса.
Сесть рядом, с краешку, поправить одеяло.
Хотите, час поставлю на начало,
Чтоб вы еще поспали полчаса?
Спасете заколдованных принцесс,
Закончите волшебные прогулки,
А я вам чай подам со свежей булкой
И спрошу о качестве чудес.
Как там сейчас? Вы знаете пути,
Мне очень нужно, я давно там не был.
Под одеялом раньше, помню — небо,
В которое свободно мог войти.
Потом летел, летел, летел... летал.
Несла над морем ласковая дрема,
Мир пряником катился невесомым,
Раскачивался времени кристалл,
Взрывался музыкой, сплетением огней,
Луна и звезды падали на плечи,
Сгорали радуги под небом, словно свечи,
Душа звучала ярче и сильнее,
Земля дрожала, трескалась, но вдруг
Стихало все, как будто по указке,
Сверкала в темноте дорога в сказку,
Искрился колокольчиковый луг...

Остался только привкус торжества!
Жаль, небо опрокинуто годами.

Подъем, друзья, пора вернуться к маме,
И никакого больше волшебства.

Воробышек

Не был я в этом городе, кто бы меня позвал,
Мне не вручал на холоде звездочки генерал.

И самогон из горлышка, верите, я не пил,
 Прыгал тогда воробышком, не напрягая сил.
 Клювом царапал зернышки — бурые угольки,
 Черными были перышки, красными ручейки.
 Падали с неба отруби, липкий соленый снег,
 Мертвыми были голуби, ломаным — человек.
 Раны не кровоточили, а источали боль,
 Страх накануне ночи и... ночь, переправа, бой.
 В небе стонали ангелы, нимбы летели в ад,
 Если бы память набело, слезы бы или мат.
 Слезы метели выпили... «Маленький, расскажи,
 Плаха, веревка, дыба ли, что она, наша жизнь? —
 Бросил мне хлеба корочку. — Хочешь, не отвечай...»
 Молча достал махорочку, сел, раскурил печаль.
 Вкусная корка, твердая... думал все время так:
 Голуби — только мертвые, пепел и полумрак,
 Зернышки — только жженные, красные ручейки,
 Люди, себя лишенные, холмики у реки!

Нет же, я не был... не был я, знаю, что это сон,
 В памяти корка хлебная, курит и смотрит он,
 Глаз голубые стеклышки с горюшком без любви...
 Бьются в окно воробышки, глупые воробы...

Семья

Осень, она — постоянный дождь,
 Слякоть, ангина и даже грипп.
 Лето и зиму, бывает, ждешь,
 В осень влипаешь, вот я и влип!

Вышел из мороси и — в леса,
 Под ноги листья, а в них — грибы,
 Белки с грибами под небеса,
 Лисы за белками — на дубы.

Птица синица — пискля писклей,
 Лис увидала, и ну звонить!
 Ветер, не целясь, метнул землей,
 Лопнула с треском паучья нить.

Бах! На душе моей до минор,
 В маленькой речке кусочки льда.
 Вылезли зайцы из темных нор,
 Водят носами туда-сюда.

Пахнет зимою — пора белеть.
 Скоро под лапами хрустнет снег.
 Ельником робким ржавеет медь,
 Сонная утка берет разбег.
 Нет, не лечу я сегодня с ней,

В мокнувший город иду опять.
 Скоро неделя погожих дней,
 Можно отлипнуть и не влипать.

Зайцы давно победили дрожь.
 Лисам за белок бы дать ремня...
 Свет не гасила на кухне. Ждешь?
 Значит, мы снова с тобой — семья.

Стерпится — слюбится

Терпится, терпится, терпится, любится.
 Вслед за метелицей катится улица,
 Лепятся крепости, рушатся здания,
 Пляшут нелепости в свежих преданиях.
 Много их, много, веселых, заплаканных,
 Строгих, убогих, в камзолах заляпанных,
 От подвенечного млечного, мужнего,
 До бесконечного вечно ненужного!
 Кто же впустил их, когда в них поверил я —
 В добрые силы, в святые намеренья?
 Жизнь — это мера чего-то хорошего
 Или химера? Холодное крошево?
 Треплется, давится, любится, терпится...
 Не разгибается гордости деревце.

Ты мне навстречу из пыли сознания,
 Дымом на плечи — пустые признания.
 Страшно? Ужели? А как же, конечно же,
 После метели мы теплые, нежные.
 Что за безделица эта распутица!
 Слюбится — стерпится, стерпится — слюбится.



Венчиком тучи — до массы сметановой...
 Память горюча, бензинооктанова
 В точке касания горя и гордости...
 Вспомни создание, полное кротости.
 Помнишь: отрывки дорог, расстояния,
 Письма, открытки, попытки признания,
 Сцена спектакля — паром на Заречное.
 Помнишь, не так ли: кольцо подвенечное,
 Город общажный, в себе обособленный,
 Пес подгаражный породы озлобленной,
 Правда и кривда — подруги зеркальные,
 Сцилла с Харибдою, надпись на скальной.
 Имя любимое — песня нескучная,

Необъяснимое счастье разлучное,
Детские шалости, радости редкие.

Годы усталости скрыты таблетками.
Температуру, иду по течению.
Празднуют бури мое возвращение,
Небо над гаванью вспенено клотиком...
Ждите из плаванья. Велено — с тортиком.



Поизносились кирпичные линии,
Улицы вынули город из вечности,
В них откровение бесчеловечности
Рвется навстречу немому унынию.
Детские страхи сгорают в эмоциях,
Пламя вливается в воду монетами,
Ангел во тьме промышляет билетами,
Глупо ведется обманутый социум.
Очередь выгнулась, скорчилась очередь,
Хватит, не хватит, остались мгновения,
Стоимость выше к моменту старения,
Платно для сына, бесплатно для дочери.
Демоны шоу возводят в религии,
Переплавливая в таланты бездарности.
Шумно глотая коктейль элитарности
Парятся в саунах солнечноликие.
Что им сознание девочки-школьницы,
Если затворы уже передернуты.
Есть у мечты потаенные комнаты,
В коих содержатся мысли-невольницы.
Всем незаметны. Без рода, без имени.

Освобождаясь на волю из плесени,
Мысли взрываются строчкой поэзии,
Уничтожая собою уныние!



Все, что живое, только для меня,
В моей душе рождает океаны,
Себя я узнавать не перестану,
Цвет мысли примеряя к фону дня.
Мне нравится искать себя в чужом,
А находя, ловить зерно восторга,
Печь новый хлеб и грызть сухую корку,
Я есть во всем, чем нынче окружен.
Мне мало мира, мне нужны миры,
Вселенной завитые повороты,
Ее морей неведомые гроты,
Далеких звезд забытые костры.

Мне нужно все, я в это облачен,
Я должен знать карманы и застёжки,
Хотя пиджак еще велик немножко,
Когда-нибудь мне в пору станет он.
Рвану тогда сквозь черную дыру,
Роняя на пол пуговицы-звезды...
Здесь доктор в белом тихо скажет: «Поздно»,
Когда для всех я будто бы умру!
Но все не так... нет, все — наоборот,
Не плачьте по ушедшему кумиру,
Я просто улечу к другому миру,
Где ближе цели будущих высот.



В сонных каштанах бессонные аисты
Дни отмеряют по сердцебиению,
Будни из памяти вычистив начисто,
Если не начисто, более-менее!
Молами скалятся лица портовые.
Пенятся волны, шумят, ерепенятся.
Ждут на причалах печали пудовые,
Скоро придут их новые пленницы.
Засуетятся салатные перчики,
Ветром соленным с утра отутюжены.
В дикой охоте за ниточкой жемчуга
Кто-то найдет дорогую жемчужину.

Хлебные мякиши, черные корочки,
Полные чарочки, солнышко, ракушки,
Отполированы нежные створочки,
Ищем жемчужинку? Нетушки! Датушки.
Перебираем. Ура им — находочкам,
Нервы срываются, пик возбуждения.
Море. У моря дырявая лодочка.
Чей-то, возможно, второй день рождения.



Бегают солнышки, прыгают солнышки,
Солнышки скачут по краю стола,
Пьют золотистое счастье из горлышка,
Вертятся солнышки, будто юла.
Солнышки хлопают рыжими лапами!
Все, не могу, рассмешили до слез.
Дети, нельзя издеваться над папами,
Кто этих солнышек папе принес?
Кто их забросил в открытую форточку?
Что вы забыли в моей голове?!

Не залезайте на мамину кофточку!
Гляньте, качаются на рукаве.
Не хулиганьте, не лазьте по ящикам,
Боже, бумаги! Не тронь чертежи!
Дети, скажите мне имя заказчика,
Кто этих солнышек вам предложил?
Вот еще, доченька, пара оранжевых,
Всех отловили? Последний пошел.
Ох! Неужели все будет какраньшево,
Будет какраньшево, вот хорошо!
Пообещайте (вы дети послушные)
Больше оранжевых к нам не таскать!
Что это, сыночка? Жаба воздушная!
С тучи свалилась? Куда под кровать!



Из детства в далеко — и только належке,
Троллейбусом. Час пик — сегодня восемнадцать!
Ты выйди в «молоко», со сказками обняться,
И заглянуть на миг к чудеснице Яге.
Обнимет первым кот: «Она тебя ждала,
Картошечку вчера пожарила на сальце,
Садилась вышивать и в кровь колола пальцы,
Переживает мать, все думает — мала!
Да ты и есть — дитя. Какие города?
В них люди что вода! Намедни колдовала,
Выходит ерунда — мала да горя мало.
А коли что не так, то горе — не беда.
Ты в небо не смотри, окрестность примечай,
Последние часы остались до обряда.
Нам солнышко твое в сердечко спрятать надо,
Беги скорее в дом, там остывает чай».

Залает шавкой дождь, уляжется у ног,
Почувяв шоколад, огонь забьется звонко,
Ты за судьбой войдешь, совсем еще ребенком.
И свалишься во взгляд, переступив порог.
Огромный синий мир — и вдруг с тобой на «ты»!
Вчера на виражах отвалится от завтра.
Сама себе кумир и свой любимый автор,
Теперь твоя душа не терпит пустоты!
Жар-птица воспарит, о детстве запоет,
Кикимора всплакнет, завоют водяные,
Царевичи, цари, волшебницы лесные —
Все сказки на земле затеют хоровод!
Польется пир горой, день ото дня вкусней.
Что на десерт? Любовь! Забыли о десерте!
Ты будешь долго жить, но с новым солнцем в сердце,
А прошлое взойдет для тех, кому нужней.



Черная линия колдовская
С белой, небесной, в одно слились!
По уши в истину опускаясь,
Я продолжаю тянуться ввысь!
В этом движении горя мало,
В этом движении много строк,
От бесшабашности стынут скалы,
Ангелы божие сбились с ног.
Что-то потеряно, нет возврата,
Найдено что-то, стучится в грудь,
Желтою линией листопада
Мне к откровению выстлан путь.
До беспредельности безоглядно,
До безоглядности через край,
Белый, пушистый, войду, нарядный.
«Кто безусловный? Меня встречай!»
Тот, кто обнимет, я знаю, будет.
Кто-то кивнет, поглощая лед.
«Я по рекламе, на выход в люди,
Просьба, верните меня в народ».
Все вам — не то и не так, как нужно,
Плохо вам, если могу вот так,
Не пролинеено, не окружно,
А между линий — да в буерак.
Мне темнота, по шестому чувству,
Определила везде почет,
Я темноту приобщил к искусству,
Солнце по венам моим течет.
Солнце ночами грустит по небу,
Хочется солнцу стрелою ввысь...
А на закате, там, где я не был,
Розовой линией чья-то жизнь.

Харитон

Выла собака на улице Дальней,
Падала с неба ночная роса.
Васька Арефьев, бухой и скандальный,
Кажется, вовсе спустил тормоза.
Тени мелькали в окне за гардиной,
Форточка вырвала крик-полустон.
«Что она мается с этой скотиной», —
Руки на стол положил Харитон.
«Дай помогу, зашибет же бедняжку...»
«Будя тебе, Харитоша, окстись,
Баба Маланья проверила бражку,
Нас не касается ихняя жизнь».

Хлопнули двери, заплакали дети,
«Стерва, — протопал Василий в сенцы, —
Ты мне... за все... ты за все мне... ответишь...
Цыц! Разорались... а ну, сорванцы!»
Он возвратился, мякнула кошка,
Вскрикнула женщина и... — тишина...
«Угомонились, а шо, Харитошка,
Светка давно ужо мужня жана».
Сердце щемило за дочу... А внуки?!
Разве им счастье в таком-то отце?
Поднял старик огрубевшие руки:
«Я посижу, покурю на крыльце».
Бабка поохала да засопела,
Дед Харитон подошел к образам...

Утром, когда приезжали за телом,
Светка махнула: «Повесился, там».



Лето спелое, жаркое, как песок,
Словно камни морские, гладкое.
Днями-каплями падал из лета сок,
Сладко было мне, сладко, сладко мне.
По словам, молчанию, взгляд на взгляд,
Поцелуй к поцелую — стопочка.
Лето белое сварено в мармелад,
Впрок разложено по коробочкам!
Будет праздник, наверное, Новый год,
Одиночество грянет снежное,
Откушу я сладкого, будто мед,
Откушу я воздушно-нежного.
Полетят видения — тени сна,
Станут цифрами телефонными:
«Ты из лета? Знаешь, у нас весна,
Не сошлись мы с тобой сезонами».
Шевельнется времени колесо,
Шевельнется, вперед покатится
Лето смелое, зыбкое, как песок,
Как любовь моя в легком платьице.



Какого-то лешего снова не спится.
Секунды, минуты, на час поворот,
Я знаю, сейчас заскрипят половицы,
Откроются двери и кто-то войдет,
Да где же вы — темы и новые мысли?
Хотя бы прислали своих протезе.

Вы где-то пируете, в ком-то зависли,
Заканчивай, братцы, заждался уже.
На службе не пьют и не нужно на службе,
Я завтра вам всем объявлю выходной.
Вы только сварганьте, ребята, что нужно,
Полчасика, братцы, побудьте со мной.
Поможете? Знаю! Конечно, не спору,
Пятнадцать минут, а потом по домам.
А ныне мне к морю, положено к морю,
Там где-то у моря остался я сам.
Где в небо уходят огрызки причала,
Врастаю коленями в мокрый песок,
Меня мне верните, друзья, для начала,
Меня мне верните, я там одинок.
Я там остываю, там рифмы-ледышки,
Там ветер из строчек плетет холода.
Мне нужно сюда, задержался я слишком,
Вы только найдите, мне нужно сюда!

Ну что, притащили? Сложился телесно.
На пять отработали, братцы, аврал.
Один посижу. Пообщаемся тесно.
Я целую вечность себя не видал.



Мне время подчиняется с трудом,
Рычит и пыжится, заходится от злости,
То лезет вверх, выламывая кости,
То виснет, наполняя болью дом,
И я иду на ощупь до стола...
Пустые письма, от кого, не помню.
Тупым ножом соленый воздух комнат
Меня перерезает пополам.
Смеется время, торжествует, бьет,
В лицо бросает белые перчатки,
Но я-то знаю — все у нас в порядке,
Не повторяй мне, что наоборот.
Ты не сбежала двести лет назад,
Я не уехал, я остался дома...
Ты где-то рядом, вещи говорят,
Иду по ним... Из комы снова в кому.
Я не был здесь? Неправильный ответ.
Стена, кровать, стена, кровать, обратно...
Мне время неуютно, неприятно,
Когда ты есть, а вроде бы и нет...
Когда стекает век по волосам,
И памяти становится все меньше,
Я в прошлой жизни знал одну из женщин,
Но я не помню, жив ли был я сам...





Валентин ЗВЕРОВЩИКОВ

КОРОВА СТЕЛЛЕРА, ИЛИ ПРОВЕРКА ПРАВОПИСАНИЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

*Роман**

Наутро перед репетицией Ки Фу-Дин принес Рашель новое платье и маленькую шляпку. Она тут же примерила.

— Как кнопка, — заметила с улыбкой Ляля Петровна.

— Меня так прозвали в детстве — кнопкой. Бутон по-французски — кнопка.

— Да что вы говорите?! — умилилась вице-губернаторша.

— Когда я выступала на улице, один зритель сказал: «Какая миленькая кнопка!» Вот и прижилось.

— Вы выступали на улице? — заинтересовалась Ляля Петровна.

— Я начинала уличной певицей, — просто ответила Лулу Морено, — моя семья работала на улице. А песни дяди пел весь Париж.

— Как это поэтично, должно быть — улица, маленькая хрупкая девочка поет под аккордеон, льет дождь...

— Нет, спешу вас разочаровать, ваше высокопревосходительство, под дождем мы не играли. Во-первых, портился инструмент, а потом мы и сами могли простудиться.

— Ну да, ну да. Конечно, как же я не подумала? — закивала головой Ляля Петровна, — но вы же пели и в Мулен-Руж?

— Да, конечно, но это много позже.

— И знали самого Макса Дирди? — продолжала настойчиво допрашивать певицу Ляля Петровна.

— Сказать, что знала, будет слишком самонадеянно с моей стороны. Первое время он на меня вообще не обращал внимания. Поздоровается хозяин, значит, хорошо. Если скажет: «Здравствуй, лапонька, ты очень мила!» — то значит, что он обратил на тебя внимание, что ты чуть красивей собаки.

— Какая интересная жизнь! — не удержалась Ляля Петровна от комментария. — Вам очень идет это платье.

— Да, спасибо, Ки Фу-Дин постарался. Надо его как-то потом отблагодарить.

— Не беспокойтесь, милая Рашель, он в накладе не останется. А это платье ему придется повторить уж, по крайней мере, раз десять, не менее. И уже за хорошие деньги. Он умеет торговать, наш китаец. А это, — Ляля Петровна сделала загадочное лицо и сунула руку в ридикюль из панцирной серебряной сеточки, — ландышевая эссенция, она ваша.

— Ой, какая прелесть!

Ляля Петровна протянула Рашель маленький пузырек, заключенный в деревянный футляр. К притертой пробке был прикреплен стеклянный пестик, с которого капали одну-две капли на волосы или платье. Ландышевый аромат сохранялся в течение дня.

Стоили они прилично — десять рублей за флакончик.

— Надеюсь, дня через три придут пароходом мои вещи, и я перестану быть предметом ваших неустанных забот, за которые, впрочем, очень благодарна.

Платье, которое сшил китаец, очень шло Рашель. А в сочетании с ридикюлем и перчатками из фильдекоса она смотрелась дамой с обложки дорогого журнала.

— Да, это вам не балет «Шехерезада», — сказала с завистью Софья Михайловна, увидев ее после примерки. — Только француженки могут чувствовать вещи так тонко.

Но, как ни странно, ни красивые вещи, ни родные французские духи, ни все камчатские чудеса и даже удачные репетиции не могли вернуть Рашель то острое чувство радости, которое она испытала в то утро на шхуне Караева.

Клочков не показывался. В окружении губернатора он появлялся разве что для доклада. На ужин к Чурину его не приглашали.

На вчерашней вечерней репетиции Лулу так разволновалась, что у нее пропал голос.

К Софье Михайловне она по этому вопросу не могла обратиться, и как-то так само собой получилось именно в это утро, что пришла Ляля Петровна со своей ландышевой эссенцией, и Рашель задала общий вопрос:

— А что Клочков? Как он?

Вопрос насторожил бывшую любовь ротмистра.

— Камчатский медведь, — коротко ответила она, — грубиян и женоненавистник.

— Что-то я этого не заметила, — не согласилась Рашель.

— А что? — на всякий случай поинтересовалась ее высокопревосходительство, наивно хлопая пушистыми ресничками.

— Я бы хотела с ним поговорить, — как можно равнодушнее выговорила Лулу Морено, но вице-губернаторша вдруг покрылась пятнами, лицо ее приобрело злое выражение, она не нашла, что ответить, и, повернувшись к актрисе спиной, вышла из комнаты, хлопнув дверь.

Лулу, как опытной женщине, не надо было ничего объяснять. Она все поняла по реакции женщины и, не откладывая дело в долгий ящик, решительным шагом, насколько, впрочем, позволяло узкое в коленях платье, отправилась напрямик в канцелярию, где один раз видела в окне Клочкова, чтобы выяснить наконец все до конца и поставить точку в этих правилах правописания.

В это же самое время Павел Михайлович допытывался у китайского банщика:

— Ты что же меня не предупредил, старый лис, что твой брат притон держит?

— Аптека дерзит, — стоял на своем китаец, не переставая кланяться.

— А если бы меня в той аптеке задержала облава какая-нибудь шальная, что бы со мной приключилось? Ты отдаешь себе отчет, Шура?

В просторечии Шу Де-Бао называли просто Шура.

— Аптека холосо. Китайская селовека умеи лецить.

— Сделай-ка мне массаж, китайская селовека, у меня от твоих поклонов уже голова заболела.

Клочков всегда в самые напряженные дни ходил на массаж к Шу Де-Бао, ни разу не усомнился в его возможностях и не разочаровался в результатах. Одного только он не переносил — иглоок.

Однажды у Клочкова на нервной почве отнялась рука, и, после того как наши эскулапы развели в беспомощности руками, ротмистр сдался Шуре, который совершенно бесстрастно и безжалостно колот чиновника по особым поручениям, после каждого укола заглядывал в глаза с садистской улыбкой и спрашивал:

— Павла Михайловися, не больно?

И следующую иголку загонял еще глубже.

— Не больно, Павла Михайловися?!

Клочков мучился, проклинал его всеми ненормативными выражениями, но через десять дней недовольно признал, что рука начала слушаться, а еще через пару сеансов и вообще забыл, что у него когда-то что-то болело. Однако, вылечившись, он тут же поклялся, что даже если будет помирать, то к Шу Де-Бао на иголки попросится только за минуту до смерти. Как к последней надежде.

Массажистом у Шуры работал толстый китаец Минь, говоривший тоненьким голосом. Глазки, заплывшие от жира, едва видели белый свет, руки толщиной, как ноги Клочкова, были длинной по колену. Минь уложил ротмистра на массажный стол и быстро-быстро зашлепал голыми ладошками по спине клиента.

— Больно, а-а! Больно-о! — надсаживался от крика Клочков, но Минь не слушал. Развернул его на столе как кусок теста и стал наносить равномерные удары по животу и груди.

И тут в массажную комнату ворвалась гневная Рашель Бутон. Клочков в растерянности привстал на ложе, прикрывшись простыней. Певица одним движением, как маленького мальчика, отстранила китайца, так что он послушно отступил в сторону, и закричала, не останавливаясь и не ожидая ответа, одним длинным нескончаемым монологом, но так быстро, что Клочков не понял бы ни единого слова, даже если бы Лулу говорила на русском, хотя догадывался о смысле по глазам женщины.

В гневе она была прекрасна, глаза блистали, гордый подбородок высоко поднят, руками она махала перед его лицом как крыльями. И выглядела в новом костюме ожившей статуэткой.

Минь порешил за благо исчезнуть за ширмой. И тогда Клочков порывно схватил Лулу, прижал к своей татуированной голой груди и крепко поцеловал в губы. Лулу обмякла, слезы брызнули из ее каштановых глаз, она развернулась, от всей души влепила русскому «селовеку» затрещину и, не говоря ни слова, вышла из массажного кабинета.

— Массаза продолзима? — спросил Минь голосом евнуха.

В дверях стоял встревоженный Шу Де-Бао.

— Ты что же, драконирло китайское, ввел меня в заблуждение относительно Миядзаки? — зорал на него Клочков и увидел, как Шу испугался. — Ты же знаешь, что это сделал не он?

— Ницаво не знай, — затряс головой банщик.

— Кто тебя ко мне подослал? Отвечай, а то я тебя наизнанку выверну!

Ротмистр даже дернулся, чтобы найти у себя пистолет, но вовремя осознал, что находится в массажной абсолютно голый.

— Китайская селовека плехо понимаю, — сказал хитрый Шу Де-Бао, но одновременно показал глазами наверх, что, вероятно, означало, мол, навести Клочкова на японца распорядились влиятельные люди, назвать которых он опасается.

Таких персон могло быть несколько: губернатор, ну это вряд ли... Чурин? Да, он помогает китайцу доставлять товары на своих кораблях... Кто еще?... Родунген! Он, конечно, связан со всеми, старая пройда. И Николай Владимирович его опасается не зря, конечно. И с аукционами дело нечисто. Но как к ним подступиться?

— А я думал, Шура, ты мне товарищ, — огорченный ротмистр встал с массажного стола, оделся и вышел, отстранив задумавшегося банщика.

Однако то, что тот показал глазами наверх, показало, что китаец играет в двойную, а то и тройную игру, и его не следует скидывать со счетов как информатора, а может быть, даже и товарища, кто знает? Хотя какие товарищи могут быть в разведке?... Во всяком случае, Павел Михайлович продолжал чувствовать к Шу Де-Бао симпатию и душевное расположение.

Вышел из бани тем не менее злой и раздраженный. Навстречу неспешно шел начальник почты Королевич.

— Клим Сергеевич, вы случайно Багирова не видели?

Королевич презрительно поджал губки и ответил, не останавливаясь:

— Случайно не видел. Но думаю, что в рюмочной за углом, где ему и положено быть.

В рюмочной за столиком в углу стояли Клепая и Фернандо.

— А ты чего здесь делаешь, чума французская? — изумился Клочков.

— Я шел на репетицию и встретил старого друга, — сказал Фернандо Жозе и отставил на всякий случай кружку пива, потому что уже понял нрав чиновника по особым поручениям.

— Понятно, что у тебя за репетиция, маленький пьяница. А ты, Клепая, не подумал, что ему еще пятнадцать лет? — выверился на моряка ротмистр.

— Я в пятнадцать уже с батей наравне пил, ваше благородие, извините, если что не так, не хотел худого, — на всякий случай Клепая прижал руку к сердцу, что должно было продемонстрировать чистосердечное раскаяние.

— Кстати, как там Баул? Все еще в трюме?

— Никак нет, ваше благородие, капитан выпустил, потому работы много.

— Ну и черт с ним!

Клочков повернулся к пожилому буфетчику.

— Демьян Федосыч, Багирова не видели случайно?

— Так точно, видел, — сказал старый солдат, — полчаса назад шел в собор.

Клочков кивнул Томатито.

— Пойдем, это по дороге. Покажу тебе что-то.

Багирова нашли в соборе на хорах. Отец Трифон, сокрушенно покачав головой, молча указал наверх. Клочков поднялся на второй этаж. Олег Александрович сидел на полу сильно выпивши, уткнувшись лицом в стену. Изо рта его свисала нитка слюны. Он был весьма пьян.

— А теперь слушай, — сказал ротмистр Фернандо, оставшемуся внизу, и запел:

*Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их села и нивы за буйный набег
Обрѣк он мечам и пожарам...
Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
Так за Царя, за Родину, за Веру
Мы грянем громкое: «Ура! Ура! Ура!»*

Песню Клочков пел, как молитвенный гимн, растягивая слова почти на одной ноте. А внизу Томатито показалось, что поют три человека, не меньше. Любая нота, взятая неумелым певцом, зависала в волшебной акустике храма, пока ее не настигала другая, а поверх них наслаивалась и третья, и возникал канонический аккорд.

— Это эффект флажолет, дядя Паша!

— Вот такой у нас тут собор! Чудо! — сказал сверху Клочков. — Ну, ты походи пока, полюбуйся.

Багиров, проснувшись, вытер рот и недовольно посмотрел на коллегу.

— Господин Багиров, объясните хотя бы свое поведение, если оно поддается какому-то объяснению, — раздраженно сказал Клочков. — Я очень надеялся на вашу помощь. У вас имелись подозрения, которые я сейчас с вами разделяю отчасти, но мне нужна информация, чтобы сложилась устойчивая картина, схема. Я хотел бы...

— Неужели непонятно, капитан, что нас с вами водят по кругу, как привязанных ишаков? Есть такое животное в Средней Азии, милой моему сердцу... Что я делаю здесь, на этой Камчатке, ума не приложу?..

— Не отвлекайтесь, штабс-капитан.

— Да, да, да... — Багиров поднял палец и провел им по воздуху замысловатую линию. — И не думайте, что эти наши... ваши изыскания кому-то нужны. Вам лишний раз укажут, что вы верблюд, а черное это... нет, не белое, а, допустим, розовое... Скажут, что у вас абберрация зрения, дальтонизм, наконец.

— Помогите мне, Багиров, — взволнованно зашептал Клочков, наклоняясь над ним. — Я еще не знаю, как и каким способом, но мне кажется, что Свенсона убили. Они вместе сидели в одном кабинете — Чурин, Кальянов и Свенсон. А потом что-то произошло, они ушли, а американца вынесли в залу, якобы он был там один.

— Я и говорю. Только с ними находился еще один человек, — Багиров закокетничал и глупо заулыбался. — Да, да, да, именно тот, кого вы считаете исчадием ада на камчатской земле.

Клочков распрямился как от удара и прошептал:

— Он здесь?

Багиров кивнул.

— Хотя, если честно, дело совсем не в нем... А в нас... Нас самих... Между прочим, у него имя есть — Такеши Миядзаки, Такешка, в общем...

— Вы его видели? — спросил взволнованный Клочков. Так охотники собираются, когда готовятся встретить зверя.

— Даже поздоровались. И притом весьма приветливо. Он ведь тоже офицер, белая кость... Он всегда останавливается в одном месте... Он там всегда... — пробормотал Багиров и, клюнув головой, захрапел.

— Черт, черт, черт! — Клочкову понадобилось все его самообладание, чтобы не схватить Багирова за грудки и вытрясти из него всю информацию.

— Я уж и не знаю, что с ним делать, — сокрушенно сказал отец Трифон, когда выходили из собора.

— Что с ним сделаешь? Пусть отлежится. Да, кстати, — вдруг вспомнил ротмистр, — от отца Дорофея что-нибудь слышно?

— Вы о прошении в Сиам спрашиваете? Нет, не отпустили, — кротко ответил священник. — Скоро здесь будет. Ждем.

Губернаторский театр был гордостью семьи Мономаховых, и, соответственно, доглядывали за помещением строго. Ежегодно отпускались деньги на содержание и ремонт здания. Навощенный и натертый паркет в зале блеснул, как зеркало. Кресла с бархатным натяжением, привезенные из Приморья, приятно обволакивали нижнюю часть туловища. Губернаторский вензель на занавесе, вышитый тутошными рукодельницами, переливался золотыми нитями.

Спектакли играли каждую вторую субботу. Кроме спектаклей, Софья Михайловна устраивала балы, а также тематические вечера на самые разные темы.

В воскресенье показывали кино, фильмы привозили okazji из Владивостока. Известные по тем временам ленты — «Стенька Разин» с Петровым-Краевским в главной роли, «Любовь апаша», «В лапах смерти» и т. д.

«Стенька Разин» имел у неискушенной, но искренней камчатской публики бешеный успех. Когда грубо загримированный Петров-Краевский, одетый в шелковую косоворотку, напивался из бутафорского кубка так, что его ноги не держали, зрители одобрительно аплодировали.

Когда друзья-разбойнички, пьяные в стельку, раскачивались и пели, широко раскрывая рты, «Вниз по матушке, по Волге», зрители дружно подхватывали песню, сотрясая деревянные стены театра.

Клочков не мог забыть горе Разина в сцене, когда тот получил от коварного друга письмо якобы княжны прежнему возлюбленному. Она в это время весьма неумело исполняла восточный танец. Петров-Краевский, прочитавши письмо, широко разевал от горя рот, хватал изменницу и с яростью и содроганием бросал в воду. Зрители и вместе с ними чиновник по особым поручениям плакали навзрыд.

Кроме всего прочего, в театре устраивали различные собрания, встречи, отмечали именины и банкеты, что Софью Михайловну не радовало, потому что любые празднества наносили зданию ущерб, иногда невосполнимый. То занавес сожгут, то окно разобьют.

Например, член «Общества спорта и разумных развлечений» Е. Ф. Одынец во время банкета зашел на сцену и преступно отрезал кусок бархатной кулисы. Поймали злодея, когда его жена, пошившая из бархата костюм, отправилась в нем на прогулку на катере по Раковой бухте вместе с губернаторшей. Скандал был неимоверный.

Клочков составлял протокол изъятия костюма в пользу театра и помнил, как Одынец плакал и каялся на коленях, что больше подобное не повторится.

Особую гордость Софьи Михайловны составлял театральный круг, достижение тогдашней театральной мысли. Круг приводился в движение силами четырех не до конца трезвых мужиков. Как репинские бурлаки, они, матерясь во все горло, вытягивали на себе скрипучий круг вместе с декорацией и людьми, за что губернатор поставил их на дополнительное довольствие.

Мат из-под сцены доносился явственно, но материальный эффект от меняющейся на наших глазах декорации подавлял этические рефлексии камчатских зрителей.

На репетицию Клочков с Фернандо пришли с опозданием. На сцене ходила взвинченная Рашель и что-то объясняла на французском Кодылеву, тыкая пальцем

в его мандолину. Корней Константинович языков не знал, но певицу понимал и отвечал на русском.

— Да не нужно в этом месте никакой модуляции, милая вы моя, потому что в другой тональности мы ее осилим только через недели две. Это же медведи, уважаемая Рашель Морисовна, — говорил он, тыча в товарищей-музыкантов корявым пальцем. — Оно, конечно, и медведей можно научить, но на это нужно время! А его-то как раз, Рашель Морисовна, у нас и нету.

Сделав выговор Фернандо Жозе, Рашель сделала вид, что не увидела в зале ротмистра. Устроившись в последнем ряду, Павел Михайлович не сразу разглядел в полумраке сидящих в центре зала Лялю Петровну с Гантимуровым. Они непрерывно шептались и хихикали, отвлекая музыкантов. Репетиция началась. Рашель слушала музыкантов и время от времени останавливала их и делала замечания через Фернандо, который объяснял то же самое Кодылеву на каком-то странном языке, понятном, видимо, только им двоим.

Заметив Клочкова позади себя, Ляля Петровна еще громче засмеялась, так что Рашель остановила репетицию, а через несколько секунд возобновила работу как ни в чем ни бывало. Ляле Петровне показалось это очень смешным, и она засмеялась еще громче и настойчивее, так что даже Гантимуров на нее шикнул.

Клочков почувствовал, что в зрительном зале завихрилось какое-то черное грозное облако и, если ничего не предпринять тотчас же, может бабахнуть по-сильнее тунгуски, потрясшей весь мир в 1908 году.

К счастью народов, населяющих Камчатку и Дальний Восток, положение спасла Софья Михайловна, пришедшая на репетицию.

— Что это за смех в зале? — спросила она весьма нелюбезным тоном — Господин Гантимуров, вы почему не на службе?

Виталий Гантимуров переменялся в лице, тотчас засуетился и, склонившись в три погибели, чтобы не заслонять губернаторше музыкантов на сцене, как австралийский тушкан, проскакал вон из зала. А еще через пару минут следом за ним ушла и Ляля Петровна, громко хлопнув дверью.

Клочкова губернаторша не заметила и, пройдя к сцене, села в первый ряд сбоку.

В это время Рашель пробовала голос, что-то выговаривала Томатито, он спорил, не соглашаясь. Затем вполголоса спела всю программу, все песни по очереди, пытаясь найти что-то новое в словах или жестах, которые ей всегда давались большим трудом. Когда подошла очередь песни «Я дурею от тебя», она запела в полный голос, так что Софья Михайловна выпрямилась в кресле и потянулась к сцене всем телом, но Рашель вдруг остановилась, словно споткнувшись, и прыснула.

— В чем дело? — губернаторша оглянулась, увидела Клочкова и строго спросила: — А вы что здесь делаете, Павел Михайлович?

— Ничего, ваше превосходительство, шел мимо, сейчас ухожу, — Клочков, точно пойманный на базаре воришка, быстро удалился из зала под пристальным взглядом губернаторши.

А Лулу словно смешинка в рот попала, хохотала и не могла остановиться, и смеялась до тех пор, пока к ней не присоединились смешливый Томатито, а за ним и остальные музыканты.

Софья Михайловна недовольно хмурила брови, не понимая, что, в действительности, происходит.

— Я бы и сама не прочь посмеяться, если бы кто-нибудь удосужился мне объяснить причины смеха, — объявила она, но это вызвало новую бурю со стороны Рашель. Не переставая смеяться, она спустилась в зал и, расцеловав губернаторшу, выбежала из зрительного зала.

На этом репетиция и закончилась.

Выйдя из театра, Клочков увидел мирно покачивающиеся на рейде японские шхуны «Михо-мару» и военный транспорт «Нозима».

Если Багиров не ошибся и Миядзаки сейчас здесь, на Камчатке, то он может легко выходить на свет и ничего не бояться под их прикрытием. Даже если бы совершил пять преступлений. Значит, сегодня или завтра он сам выползет на свет божий. А живет скорее всего у Чурина, у которого только в одном Петропавловске было домов десять, поди все проверь!

Навстречу шел городской Матвеев.

— Матвеев, ко мне!

— Я, ваше благородие! — Матвеев неспешно подбежал к ротмистру.

— Когда подошел японский транспорт?

— Ды-к, — Матвеев зачесал в затылке, — никак сегодня, почитай двух часов нет как.

— Ды-к, ды-к, — передразнил его чиновник по особым поручениям. — Ничего подозрительного не видел?

— Никак нет, ваше благородие! Все чисто!

— Ну, ладно, гляди мне!

Клочков для остротки погрозил Матвееву пальцем и в дурном расположении духа отправился домой.

Ляля Петровна была очень уязвлена отношениями Клочкова с Рашелью Бутон.

— Комедиантка французская! Шлюха монмартская!

То, что они с Клочковым расстались, для нее не имело никакого значения.

Палашка знала про эту особенность хозяйки и старалась в эти минуты отмалчиваться или вообще не показываться на глаза.

— А я ей еще платье свое подарила, ландышевую эссенцию за десять рублей! Неблагодарная тварь! — взвизгнула хозяйка.

Да, пусть они расстались с Клочковым, но все знают, что он страстно любил ее и сейчас должен любить! В конце концов, это она его бросила, а не он! Где эта так называемая великая любовь, про которую пишут в книгах, снимают фильмы, в которой он ей клялся и плакал, когда она смеялась над ним? Да, плакал ротмистр! Ноги целовал. Называл ее возлюбленной, читал стихи, наконец!

И что сейчас? В одну минуту любовь прошла? Разве так бывает? Великой любви приносят жертвы, слагают легенды, поэты сочиняют поэмы и баллады. Бросаются в пучину морскую! Или, на худой конец, как Степан Разин в Волгу княжну кинул — раз и все! А если этого нет — значит, все обман? Греческий миф?!

Ляля Петровна никогда не говорила слов любви, ей не в чем было виниться. Как честная женщина, она ничего никому не обещала. Принимала обожание как должное, позволяла себя любить и дарить многочисленные подарки. Можно деньгами. А что здесь плохого?

И, значит, он не любил по-настоящему, негодяй! И обманывал ее, и пользовался ею в своих похотливых целях, развратник, прелюбодей и аспид!

Ляля Петровна чувствовала себя неотмщенной Медеей, бедной и униженной Медеей! Но, как древнегреческая царица, она сумеет отомстить подлому Ясону.

Аконит! Да, аконит, который Медея привезла из вифинской Ахеруссии, там он впервые вырос из смертельной пены, стекавшей из пасти Кербера, а теперь

произрастает на Камчатке, как сорная трава на любом заднем дворе пополам с крапивой и лебедой. Вот что она ему преподнесет в бокале на тонкой ножке. И пусть пьет, пока не околеет!

На тринадцать частей разрубит она тело гнусного ротмистра, как гадкого Пелия, сварит его и бросит камчатским лайкам. О, как они будут ей благодарны!

И Софья Михайловна, старая сводница, это она все подстроила, придумала привезти сюда эту кафешантанную третьесортную певичку-разрушительницу.

Ляля Петровна огляделась. Рядом под рукой ничего не было. Ваза под зеркалом была привезена с Валдая, от матери, а вот графин на подоконнике! Ляля Петровна схватила графин из тонкого стекла с золотым ободком на узком горлышке и запустила его в стену! Блысь!!!

— Не могу! Ненавижу! Аспиды, василиски! Умираю!

На шум сначала прибежала Пелагея с веником и тряпкой и молча и привычно начала убираться. Следом за ней с небольшим интервалом появился взволнованный Василий Осипович с распушенными бакенбардами.

— Что произошло, радость моя? Ты жива? Ты не поранилась?

Вот на кого можно положиться всегда. На старого и верного Кербера. Уж он-то не бросит, уж он-то поймет бедное и растерзанное сердце Медеи.

— Василий Осипович, вы что же — не видите, как под вашим носом практически распухает и набирает соки развратнейшая история, которой потекают на самом высоком уровне, мы все являемся свидетелями, и никто, никто в целом городе до сих пор не отреагировал как следует на это безобразие, на эту пощечину общественности и всеобщей морали...

— И нравственности, — добавил Василий Осипович.

— Вы о чем сейчас? — сбилась с тона вторая дама губернии.

— О том же, о чем и вы, любезная моя Елена Петровна, — пожал плечами Василий Осипович.

— Я о француженке и чиновнике особых поручений Клочкове, — уточнила жена.

— И я о том же, — согласился муж. — Мало того, Елена Петровна, эта история сразу началась с обмана общества. Эту француженку с высочайшего позволения злосчастный ротмистр похитил совершенно невообразимым образом, подлив ей отраву.

— Аконит? — в ужасе вскрикнула вице-губернаторша, схватившись за грудь.

— При чем здесь аконит? Нет, конечно, какие-то капли. При чем здесь аконит? — на всякий случай поинтересовался бледный Василий Осипович.

— А! — отмахнулась от назойливого супруга Ляля Петровна. — Я вас спрашиваю, Василий Осипович, кому-нибудь взбрела в голову счастливая мысль отреагировать на эти ужасающие факты?

— Мне, — кивнул Василий Осипович.

— Как? — растерялась супруга.

— Так. Давно написано и отослано по инстанции. Про все художества нашего уважаемого губернатора и его преданнейшей жены. Это просто мой гражданский долг.

— Василий Осипович, я тебе правду скажу, тебе за этот твой поступок благодарный будет благодарна вся Камчатка, — сказала вице-губернаторша с наворачившимися на глаза слезами, вздохнула в полную грудь, так что корсет в боках затрещал, и возлегла на козетку в позе одалиски, что, однако, нисколько не взволновало старого Кербера.

Увы, так уж случилось исторически, что прекрасного пола на Камчатке всегда было намного меньше. В ту пору, о которой идет речь, соотношение было примерно

одна к четырем. Последствиями этого дисбаланса являлась излишняя агитация вокруг самой проблемы, неустойчивость семейных связей и отношений, что отрицательно и трагически отражалось в том числе и на рождаемости.

Вечер Клочков убил на поиски Багирова. Зашел к нему домой. И напугался, потому что такого беспорядка не видел давно. И даже представить не мог, что люди его круга могут так жить.

Олег Александрович не содержал прислугу да и убирать, по сути, нечего было, тем не менее ротмистр удивился, как при таком минимуме вещей можно устроить такой бедлам. Наверно, если подобрать окурки, которых множество было разбросано тут и там — в пепельницах, кружках и просто в блюдечках, то и картина бы общая изменилась. Но и одно это занятие заняло не менее часа. А тут еще чашки с черным налетом чая на внутренних стенках, видимо, вообще никогда не мывшиеся.

— Никола-угодник, спаси и помилуй!

Но удивительно и необъяснимо было то, что Багиров при сем достаточно опрятно одевался. Никогда про него нельзя было сказать, что он неряха. Всегда идеально выбрит, надушен дорогим одеколоном, носит чистые рубашки.

«Значит, какая-то тут женская рука все-таки есть, не полным аняхоретом живет», — подумалось Клочкову.

И куда же он мог пойти? Из собора ушел протрезвевший во второй половине дня. Значит, пошел разговляться. В городе пять кабаков вместе с «Ромашкой», рюмочных немерено, почти в каждом магазине разливают. Уже китайцы начали торговать рюмками свою водку со змеюками.

Если по этой логике, то, конечно же, старый служака пойдет по старой торной тропе, как наметил. Бить медведя в его логове. Тут ничего не сделаешь. Он заряжен на поиск. Клочков знал по себе: пока не доделает все до конца, не успокоится. Надо, он будет сюда каждый день приходить и бить, и стучаться, пока все события не сложатся в стройную и понятную картину.

Или по другому сценарию: лежит где-нибудь пьяный, отсыпается и в ус не дует.

На дверях «Ромашки» висело объявление: «Питейное заведение «Ромашка» доводит до сведения гг. посетителей, что по причине учета с сегодняшнего дня с 12 часов будет закрыто на три дня. В воскресенье открываемся с 10 часов утра. Милости просим!»

Свет внутри не горел. Рядом в сараюшке жалобно бляели барашки. Но из трубы пристройки едва заметно парило. Видно, только недавно перестали их резать на шашлыки. Клочков обошел здание вокруг и со стороны сопки увидел, что одно окно горит. Створки его раскрыты наполовину, изнутри доносятся голоса.

Стараясь не шуметь, чиновник по особым поручениям осторожно приблизился к окну. Трава скрывала его по грудь. Этакая камчатская травушка-муравушка. Окно оказалось как раз над головой. Разговаривали сразу несколько человек.

— Ты мне тюльку-то не гони, не гони! — говорил тучным тяжелым басом Чурин.

— А что — неправда? Неужели вы верите, что кунгас утопили какие-то ненормальные янки, Савелий Игнатьевич? — говорил Багиров вкрадчиво. — Положа руку на сердце. Неужели у вас ни разу не мелькнула мысль, что уважаемый Миядзаки-сан уже давно зарылся в камчатскую землю со всей силой? И золото уже покатило кругленькими монетками мимо вашего кармана. Я просто глазам своим не верю! Вы всегда такой прозорливый. А тут ведете себя как младенец.

— Я людей на три метра под землей вижу! — проскрежетал зубами мертвый от пьянки Савелий Игнатъевич.

— Вот именно! И чтобы вы поверили японцу? Когда они нас не обманывали? — зазвенел Багиров и ударил по столу кулаком.

— Никогда! То есть всегда! — утробным звуком поддержал провокатора Чурин. Раздался звон сдвинутых стаканов.

«Стаканами пьют», — с завистью вдруг подумалось Клочкову.

— Вот он сидит барином перед нами, Савелий Игнатъевич, ухмыляется и думает: «Все равно я вас, сиволапых, вокруг пальца своего обведу как миленьких!» Что — нет, японский ты городской?

— Вот именно. Расселся тут! — снова поддержал Багирова Чурин.

— Да он нас презирает, косоглазый.

— Так ты презираешь нас, Такеши? — спросил высоким голосом Алешка Кальянов, приказчик.

За столом четверо — Чурин, Багиров, Кальянов и японец. Вся шайка-лейка. И что делать — арестовывать их? В ту же минуту меня самого посадят в тюрьму навеки, решал про себя Клочков.

— Что мы для него? Прикрытие. Фигурка в своей курильской шахматной партии. Он вами, Савелий Игнатъевич, манипулирует!

— Кто?

— Вот этот узкоглазый! Зачем, спрашивается, он Свенсона кокнул?

— Зачем?

Опасный замысел Багирова, ясный Клочкову, был непостижим его собутыльникам с затуманенными алкоголем мозгами. Багиров, как опытный охотник, выверенно вел зверя в западню.

— Чтоб вас подставить с Кальяновым. Кто с ним в кабинете сидел? Вы с Алехой. Вы и убили. А он на своей «Михо-мару» завтра махнет хвостом на свой Шумшу и был таков. Что ему сделают, кузнечнику японскому? Арестуют? Нет. Поостерегутся. Никому здесь международных осложнений не надо. Поэтому он никого и не боится. Он сам и запустит утку, что вы Свенсона пришили. А Клочков, я знаю, именно так и думает, он мне говорил! Вот вам и Сибирь-матушка!

Но я Сибиря, Сибиря, да, не боюсь,

Сибирь ить тоже русская земля.

Так развева-ва-ва-вайся чубчик кучерявый,

Развевайся чубчик на ветру!

— завыл Алеха злым и плаксивым тенорком.

«Ах, ты ж, Олег Александрович, кто тебя за язык дернул? Ну что за человек?» — чуть вслух не сказал ротмистр и даже крикнул от злости. В кабинете затихли на минуту. Ротмистр на всякий случай присел в траву, скрывшись в ней с головой.

Створки открылись шире. Из окна выглянул пьяный Кальянов, огляделся, крутя головой направо-налево, сказал:

— Никого нет, — и снова скрылся за занавеской.

— Почему вы молчите, офицер Миядзаки? — грозно спросил Чурин.

— И не пьет почему-то. Брезгует. Ты нами брезгуешь, Такеши? Так ты скажи, признавайся, — завелся снова приказчик.

— Я не убивал американца, — голос Миядзаки звучал трезво и спокойно. — У него, действительно, оказалось большое сердце. Я ткнул его в грудь несильно, все видели, он просто испугался. И умер от страха. Он трус. И я об этом не жалею.

— Под микитки он его, вишь, пальчиком... Не сильно-о... Он этим пальцем в заборе дырку делает одним ударом. Вся Камчатка знает, как ты делопроизводителя Штарка под мышку жажнул.

— Это не палец, а чугун, Савелий Игнатьевич, — пожаловался Кальянов.

— И Штарка не убивал, нечего на меня свои грехи навешивать, мне своих хватает, — стоял на своем японец. — Вы сами в курсе, господа хорошие, кто это сделал и как.

— Как? — поинтересовался Багиров.

— Шилом в сердце, как свинью. И никакой крови.

— Значит, твоих рук дело, Алеха? — осуждающе промолвил Олег Александрович. — Я так и знал!

— А хучь бы и моих! И что ты мне сделаешь посля этого? — зачехлялся Кальянов. — Не будет лезть куда не надо своим носом кривым, немчура проклятая!

Снова звук разливаемой водки и звон стаканов.

— И что, Савелий Игнатьевич? — вдруг спросил Багиров трезвым голосом. — Вы что же думаете, если возвели поклеп на Миядзаки-сана, он вас теперь будет выгораживать? Что он вас не продаст? С потрохами продаст. Правильно, Такеши-сан?

— Вы сами продаете себя. Каждый день и час. И страну свою, ворье, продадите за три копейки при первой же возможности, — вдруг спокойно и жутко сказал японец.

За столом наступила тишина.

— Кто продаст? — угрюмо спросил Чурин. — Я продам?

— Ты первый, — жестко и злобно сказал Миядзаки.

Наступила еще более гнетущая тишина. Клочков слышал, как муха бьется в стекло изнутри кабинета.

— А ты купишь? — вдруг ласково спросил Савелий Игнатьевич. — Покупай, если денег хватит. Но у тебя их нет. Не-е-ет! — закричал Чурин в лицо японцу. — Потому что они у меня-я-я! А у тебя шиш! Вот шиш тебе!

Клочков понял, что Чурин-таки сунул шиш в нос Миядзаки, раздался шум падающих тел, звон разбитой бутылки, мат Савелия Игнатьевича, визготня Кальянова и перекрывающий всех крик Олега Александровича:

— За Росию-мать! Получай! Ах ты, сука косоглазая!

— Бей, Алеха, жги!

— Больно-больно, у-у-у!

— И-ия!

— Ты что же, сука, пальцем в глаз тычешь?! А-а-а!

Клочков понял, что время уносить ноги и, отступая от окна спиной, вышел за угол дома, а оттуда, не скрываясь более, пустился в обратный путь.

Рашель не спалось. Вечером она снова не смогла увидеть Клочкова. Хотя бы, по крайней мере, знать, что он там-то и там-то, занят на службе, делает важную государственную работу. И не может прийти по веским причинам. Конечно, он не мог присутствовать на ужине, на который этим вечером их пригласил другой купец Семен Семенович Черняев с женой Варварой Тихоновной.

Тихий, но приятный ужин без чуринского блеска и музыкантов был домашнему прост. За столом вели какую-то понятную всем беседу. Николай Владимирович рассказал о своем путешествии во Францию, где они отдыхали с женой в молодости. О прогулках по городу, маленьких кафе, где засиживались порой до первых петухов.

Варвара Тихоновна делилась с певицей кулинарными секретами. Рашель в свою очередь рассказала рецепт приготовления сырного супа. Фернандо быстро

поел, отвалился на диване и через некоторое время заснул. Черняев прикрыл его сверху халатом.

Рашель была рада, что ее первый раз никто не спрашивает о работе, как она начинала петь, про Мулен-Руж, а относятся как к обыкновенной женщине. Это подкупало и трогало. Разговоры, как это и водится в такой обстановке, перетекли к семье, детям, и Варвара Тихоновна, сияя гордостью за своих детишек, студентов университета во Владивостоке, спросила Рашель:

— А у вас есть дети, Рашель Морисовна?

И Лулу первый раз рассказала о своем горе спокойно и без слез. Как будто это случилось в какой-то другой жизни. Варвара Тихоновна и Софья Михайловна, наоборот, тут же прослезились. Софья Михайловна схватилась за сердце, Семен Семенович побежал разыскивать валериановый корень, и Рашель еще самой пришлось успокаивать всех присутствующих. Больше она не принимала участия в разговоре. А еще через полчаса все дружно засобирались домой.

Спальня Рашель, вернее комната, в которой она спала, находилась рядом со спальней Мономаховых, окна выходили на одну сторону.

Ночью ей вдруг показалось, что окно неплотно затворено, она подошла к нему и увидела в свете луны под домом на тропинке знакомую фигуру ротмистра. Стараясь не шуметь, Лулу, насколько могла, тихо отворила окно и махнула ему рукой. Он не сразу увидел певицу, а когда увидел, сделал порывистый шаг в ее сторону и, поскользнувшись на влажной траве, чуть не упал. Рашель засмеялась, закрыв рот ладошкой. Говорить в голос они не могли. В этом случае чуткое ухо Софьи Михайловны все равно уловило бы, что под окном кто-то стоит, поэтому влюбленные говорили жестами.

— Зачем ты пришел? — спрашивала она.

— Потому что я не могу спать.

— Уже очень поздно.

— Я знаю. Я люблю тебя. И хотел бы подняться к тебе.

— Зачем?

— Чтобы доказать тебе мою любовь.

— Это нельзя. Нас никто не поймет. Иди домой.

— Ни за что!

— Ты простудишься, любимый! На улице очень свежо.

— Мне жарко.

— Давай лучше встретимся завтра.

— Где? Ты всегда занята.

— Я убегу с репетиции к тебе.

— Ты с ума сошла!

И так они разговаривали и смеялись, и снова разговаривали, пока не занялась заря и пока в соседней спальне не послышался астматический кашель Николая Владимировича, а потом шаркающие в тапочках шаги Софьи Михайловны, вставшей, чтобы принести мужу пилюли.

Испуганные, точно их застучали на месте, влюбленные расстались. В первый раз за все время Лулу Морено заснула легко и спокойно.

А за стенкой происходило следующее. Губернаторская чета долго и недовольно ворочалась с боку на бок, с живота на спину. Наконец Софья Михайловна шепотом сказала:

— По-моему, Николая, что-то происходит, тебе не кажется?

— И к тому же давно, драгоценнейшая моя.

— Что же это? Никак в ум не возьму?

— Картина Репина. Называется: «Клочков добился своего».

— То есть? — ахнула супруга.

— А вот выгляни из-за шторочки, только аккуратно, тогда и увидишь знаменитую сцену на балконе в исполнении известных тебе лиц.

— Не может быть! — супруга выпрыгнула из кровати и, как опытный разведчик в тылу врага, подобралась к окну, отогнув край шторы.

— В роли Ромео, пятнадцатилетнего юноши, выступает сорокалетний мужик, известный шельмец по этой части...

— Неужто Клочков? — вглядываясь в темноту, спросила близорукая губернаторша.

— Он, — уверенно ответил Николай Владимирович. — Шарамыжник и хлюст, каких поискать.

— Ну, неправда, не наговаривай на хорошего человека. Это скорее Нейман... Нет, да, это он, — покачала головой близорукая Софья Михайловна.

— Такой второй продувной бестии на всей Камчатке не сыскать, верно говорю! Ведь он что во Владивостоке-то учудил, я тебе рассказывал — весь Приморский край на ноги поднял.

— Это, конечно, а в роли Джульетты, значит, выступает...

— Не ты, матушка, не ты, успокойся!

— Тебе твоих седых волос-то не стыдно, Николай Владимирович?

— И не Ляля Петровна, насколько я могу понимать.

— Это злочастная судьба, Николенька, надо ее понять. Она женщина с трудной судьбой.

— Ляля твоя, к слову сказать, просто-напросто дрянная баба. И нечего ее сюда мешать. Василия Осиповича только жалко, а так бы...

Николай Владимирович недоговорил, что бы он сделал, не будь Василия Осиповича, Софья Михайловна тоже предпочла не касаться опасной темы.

— И, выходит, в роли Джульетты выступает... Да кто же это может быть, господи твоя сила! — подняла она очи в потолок.

— Наша очаровательная гостья, уважаемая.

— В нашем доме?! — в ужасе едва вымолвила супруга и отпрянула от окна. — Какое бесстыдство! Что люди подумают? Неужели они не понимают, что об этом завтра будет говорить весь город!

— Ну, Петропавловск-Камчатский еще не Париж.

— Тем хуже для них. В Париже это дело обыкновенное, там только этим и занимаются с утра до вечера, а мы тут в деревне ничего такого знать не знаем, ведать не ведаем.

Тут Николай Владимирович захохотал во весь голос, но, чтобы упредить возможные трактовки, представил это все для возможной аудитории старческим кашлем. Софья Михайловна тотчас вскочила якобы за каплями, специально шаркая тапками и неумело спотыкаясь, дабы спасти мужа, чем и привела наших героев в смущение и вынужденное отступление с уже завоеванных позиций.

Когда она вернулась с каплями, в доме уже была тишь, гладь и божья благодать.

— Вот сила нечистая, сон из-за этих альбигойцев прошел. Хоть глаз выколи, а не засну теперь.

Супруга прилегла рядом, положив голову ему на грудь.

— Тоже нашла трудную судьбу. Я про Лялю твою. Просвистала всю жизнь канарейкой. Я знаю одну женщину, у нее восемь детей, муж девятый, вот у нее интересно, какая жизнь? Зовут ее... имя забыл... Как же... не помнишь?

— По-моему, Софья.

— Да, точно, Софья Михайловна. Знаешь ее? В Саратове с ней встретился как-то, подружился.

Софья Михайловна, жмурясь от удовольствия, потянулась и чмокнула губернатора в колючую щеку.

— Из Петербурга от старших письмо пришло, ты еще не читал. Тебя обнимают, целуют.

— Что еще?

— Я им все пишу про Камчатку. Они хотят знать все-все-все. Начиная с Атласова и до наших дней. Маша какую-то историческую работу пишет про освоение Сибири.

— Что же ей про Атласова интересно?

— А про то, как он сюда вернулся, себе на погибель. Что его заставило?

Губернатор тяжело вздохнул.

— Судьба, матушка. Но и присуха, конечно, была. Как без этого казаку?

— Вот про это и расскажи.

— Если принесешь мне с голбчика холоденький варенец, расскажу, так и быть.

Безропотно Софья Михайловна, накинув на себя теплый халат, отправилась выполнять мужнино ходатайство.

После первого похода Атласова на Камчатку все понимали, что хоть и знатно повоевал казачий пятидесятник на полуострове и объясачил местное население, но земли на самом деле не присоединил. Так — поразбойничал, нагребил, сколько унести мог, и вернулся домой. К тому же не везде он и со щитом прошел, кое-где и ему от оленных коряков досталось так, что хорошо — ноги унес.

С ясаком и рассказами о Камчатке как о диковинном крае его отправили в Москву. Это была ошибка Ерофея Пермякова, тогдашнего воеводы Якутского, повлекшая за собой череду трагических событий. Не учел воевода природного обаяния и пышущей через край энергии Владимира Васильевича, его веселого нрава и умения добиваться своего.

А видел себя Владимир Васильевич совсем в другой роли.

И так получилось, что после произведенного впечатления при дворе, после личных подарков, которыми Владимир Васильевич сыпал как из рога изобилия, его, конечно, тут же назначили якутским воеводой, что, наверное, вызвало не самые приятные эмоции у занимавшего эту должность Ерофея Пермякова. И отправили героя завоевывать Камчатку вторично, чтобы еще больше подарков в Москву нанес.

— На-кася, Ерофей, выкуси!

Возвращался он на родину с грамотой правительства. На всех станциях гулял без удержу, велел его встречать как наместника государя. А откажутся, в харю!

Так по дороге куролесил, так куражился, что дошел в пьяном виде до откровенного разбоя. Ограбил купца Добрынина в Иркутске. Ткани какие-то взял, посуду, лошадей. На черта ему сдались ткани с посудой? Чуть не утопил бедного. Окунул в Ангару, а в ней вода градусов восемь если была когда, то хорошо. Конечно, приморозил Добрынина, да что ему с правительственной грамотой? Кто ему указ? Если он войско государево собирает и идет завоевывать Камчатку.

— Гуляй, Русь святая!

Но у Добрынина тоже нашлись высокие заступники. И посадили нашего голбчика в Якутскую тюрьму, несмотря на заслуги и подвиги. Туда, где он должен был по царскому указу воеводой служить.

Ерофея Пермякова в должность вернули. Но обиды, нанесенной ему другом Владимиром, тот не простил. Два медведя в одной берлоге ужиться не могли.

Бывшие товарищи встретились ночью. При свете дня встречаться Пермяков не пожелал. Вошел ночью, неожиданно, со свечой в руке. Атласов спал в кандалах в углу одиночной камеры, грязный и голодный. Но сразу проснулся. Прежде чем заговорить, долго молчали, изучая друг друга. Со времени их последнего свидания прошло несколько лет. Первым заговорил Атласов.

— Что, Ерофей, мучить меня пришел?

— Как положено, по делу, Владимир Васильевич, не более того. Ты ведь не все богатства в Москву увез, где-то прихоронил, — Пермяков приблизил лицо свое к лицу бывшего сотоварища и подмигнул, — да и не все товары Добрынину вернул. Купец сказывал. Зачем ему напраслину возводить? Признаешься подобию, никто тебя и пытать не станет. Мы не звери. А не признаешься, на дыбе заговоришь. Ломать тебя станем. Такой завод, сам знаешь. Не я его удумал. Даю тебе срок сутки. А пока выпьем, поговорим по душам, как бывалыча, помнишь ли, как в походе одним тулупом укрывались, как под снегом от коряков прятались?

— Помню, Ероха. Все помню. Только по душам поговорить теперь вряд ли удастся.

В камеру внесли выпивку и закуски. Атласов ел жадно и быстро осовел после выпитого на голодный желудок. Поговорили про знакомых, родственников, жена Ерофея являлась Атласову кумой. Насытившись, отвалился к стене и напрямую спросил:

— Замучишь меня?

Пермяков пожал плечами.

— А ты бы как поступил, атаман? Не замучил?

Атаман угрюмо молчал.

— Вот то-то. Только я тебя убивать не стану, нет. Сам сдохнешь. А где схоронку держишь, расскажешь. На ушко, мне одному, да? А то у меня умельцы, сам знаешь. Наизнанку вывернут, а своего добьются.

С тем и ушел.

А на другую ночь начались пытки. И продолжались месяц без перерыва каждую ночь. И даже когда первопроходец отдал все схоронки, его еще дежурно мучили на всякий случай. А потом с вывернутыми суставами, с отбитыми внутренностями и переломанными пальцами бросили в камеру умирать.

Атласов был мужиком огромной физической силы, одарен от природы железным здоровьем и необычайной силой воли. Всю жизнь провел в походах, путешествиях, столкновениях, опасностях, раны на нем заживали как на собаке. А тут в заточении, в голоде и холоде от него уже через месяц пыток половина осталась. И дух сломали. Только иногда глаза злые и упрямые по-прежнему вспыхивали огнем в темноте узилища.

И если б не случилось на Камчатке великого бунта, то никто бы и не вспомнил о первопроходце-атамане, томящемся в каземате Якутского острога. На том бы его история и закончилась. Но жизнь распорядилась иначе.

Оленные коряки, сплоченные и в военном отношении более искусные, чем ительмены, сожгли Верхнекамчатский острог до основания, казаков побили и подвергли оскорблениям уже мертвые тела. Ненависть их была столь сильна, что в живых не оставляли никого. На казаков началась великая охота по всему полуострову. Как на зверей. Осадили и Нижнекамчатский острог.

Причина бунта крылась в несправедных поборах и унижениях местного люда. Малочисленный гордый народ сплотился против захватчиков. И победная волна объединила ительменов с коряками и вольно катилась по полуострову с севера на юг.

Тогда у Ерофея Пермякова и созрела идея покорения бунта с помощью бывшего сотоварища. За несколько лет, проведенных в кандалах, о нем успели забыть, и вот — пригодилось. Справится он с бунтом, и ему, воеводе, выгода. Не справится, спишет на Атласова, на его неумение и слабосильность.

Хотя в душе Ерофей Пермяков был уверен, что Атласову по плечу эта задача, он найдет способы усмирить зарвавшиеся аппетиты друзей-опричников, им же и оставленных во власти еще по прошлому походу, и хитростью, лестью, как опытный и мудрый дипломат, отыщет путь к суровым, но наивным сердцам камчадалов.

А если не получится эта затея, и сломит он себе там шею, поделом... Туда и дорога!

Выгашенного на свет божий Атласова отмыли, отпарили, отогрели, и уже через несколько месяцев по Якутску ходил прежний на вид казачий пятидесятник, знаменитый атаман, про которого при жизни складывали легенды. Внимательный взгляд, однако, мог заметить в глазах его усталость и гнев, вдруг, как огонь, вспыхивающий от малейшей искры.

С Ерофеем Пермяковым они разговаривали на равных, но оба понимали, что прежние отношения не вернуть, да они и не нужны им, у каждого была своя дорога, и нового успеха атаману можно добиться только ценой большой и настоящей победы.

А исполнилось ему ко второму походу на Камчатку уже шестьдесят шесть годов.

С утра пораньше Клочков уже барабанил в дверь Шумилиным.

— Господи, твоя воля, кто там? — спросил из-за двери зубной врач.

— Я это, чиновник по особым поручениям камчатского губернатора. Одевайся, Тимофей Ильич. Пойдем проверять заново тело бедного Ивана Генриховича. Не внимательно осмотрел ты его в тот раз.

Шумилин впустил Клочкова в свое убогое холостое жильё и пошел, брюзжа про себя, что он человек немолодой, что у него грыжа, и рабочий день начинается в десять, а не в восемь, и он вообще не нанимался в трупах копать, и если так дальше дело пойдет, то он вообще отказывается от доплаты, пусть чиновник по особым поручениям (а вообще-то говоря, видали мы и чиновников во всех видах) ищет дураков по всей Камчатке, ежели найдет.

Однако через полчаса уже вытаскивал убиенного из ледника. На спине Ивана Генриховича под лопаткой как раз напротив сердца зияло маленькое отверстие с запекшейся капелькой крови.

— Что и требовалось доказать, — радостно объявил Клочков.

— Разве ж такое можно разглядеть, на то очки нужны, а у меня, извините, милостивый государь, плюс семь и одно очко, как видите, окончательно расколото пополам.

Действительно, от правого стеклышка пенсне осталась аккуратная половина.

— И что будем делать, Тимофей Ильич?

— Это уж вам виднее, на то вы по особым поручениям, а я мелкая сошка. Я уже забыл, что и видел. Мне эти достоверности ни к чему. Видел и забыл.

Закрыв ледник на замок, Шумилин суетливой походкой заторопился домой.

День с утра не задался. Ключья низких облаков спускались с сопок, ползли на город с океана, окружая его со всех сторон. Мелкий противный дождик замочил галифе, ветер выворачивал зонт навыворот, превращая его в кожаный цветок. На доске объявлений возле канцелярии губернатора висела афиша:

В это воскресенье!

Театр Н. В. и С. Ф. Мономаховых представляет!

Рашель Бутон!

Премьера года!

Гран-Кабаре с участием всемирной звезды!

Только один день!

Солистка Мулен-Руж и Фоли-Бержер!

Спешите видеть!

Французский шансон на Камчатке!

Количество билетов ограничено.

После концерта бал, викторина, лотерея.

Играет на ф-но Виталий Гантимуров.

И петитом внизу: «Внимание! Просьба всем сдать книги в библиотеку по причине отпуска библиотекаря. Уезжает на материк».

По афише текли капли дождя, растаскивая за собой следы туши и акварельной краски.

Через полчаса чиновник по особым поручениям докладывал губернатору о том, как идет следствие. Николай Владимирович равнодушно рассматривал портрет государя императора над головой Клочкова.

— Значит, все-таки убийство?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— Надо убрать, — глубокомысленно сказал хозяин Камчатки.

— Не понял, — вытянулся всем корпусом ротмистр.

— Паутинку видите в углу портрета? Ма-аленькая такая... Это непорядок, — губернатор покрутил ус.

Клочков растерянно замолчал.

— Ну-с, и кому это выгодно? — вернулся к докладу Николай Владимирович. — Что — все из-за той бумажонки, о которой вы говорили давеча? Вы вообще представляете человеческий масштаб младшего делопроизводителя Штарка, его круг деятельности, кому и чему мог помешать этот маленький человек, представляющий себя больше артистом, нежели чиновником? И то, что вы ему инкриминируете? Просто одно с другим не сходится, Павел Михайлович. Да я вам это и с первого раза говорил.

— Я не готов еще в полной мере ответить на этот вопрос, но смогу ответить в самое ближайшее время. Тут еще предстоит разбираться.

— Но это, надеюсь, не японский этот... Басе... как его... Дзаки который? По-забыл фамилию... Ну, как его? — губернатор защелкал пальцами как цыганка.

— Миядзаки, ваше высокопревосходительство. Такеши Миядзаки, правая рука Сечи Гундзи, как выяснилось. Нет, не он, по крайней мере, в первом случае с Иваном Генриховичем.

— Еще не хватало... — Николай Владимирович надул щеки и пыхнул несколько раз, шлепая губами. — А со Свенсоном, значит, да?

— Более точные данные по этому делу имеются у Олега Александровича. Надеюсь, он доложит о результатах своего расследования в ближайшие сроки, если не сегодня.

— Кстати, где он?

— Не имею чести знать.

— А Свенсона, стало быть?.. Тоже шилом? — с иронической улыбкой спросил начальник.

— Более полно доложит об этом господин Багиров.

— Багиров, Багиров... А вы-то сами где? У вас у самого есть полная картина того, что происходит в городе?

— Более или менее.

— Вы не находите, что этот ответ меня не может удовлетворить? — губернатор постепенно начинал заводиться, но, как мог, сдерживался.

— Полагаю, что полная картина сложится в ближайшее время.

— Надеюсь, надеюсь... Людей убивают, как в Южной Африке какой-нибудь! Но мы же не буры, Павел Михайлович!.. Мы камчадалы.

— Меня не надо уговаривать, ваше высокопревосходительство, я согласен с вашими оценками, буду стараться, — отчеканил ротмистр.

— И сейчас не Русско-японская война все-таки! — губернатор распушил левый ус, закрутил правый. — И вот еще... Что бы мы ни узнали там про господина Свенсона новенького, а нам и старенького хватает, мне кажется, официальная версия должна остаться — слабое сердце старого капитана. Никому из нас международные осложнения не нужны. Ни комиссии, ни проверки, ни разбирательства! Или вы не согласны?

— Не смею возражать, ваше высокопревосходительство. То есть, мне лично не нужны, — щелкнул каблуками ротмистр.

— И, значит, у нас... у вас... у нас на счету одно вот это, как бы сказать, недоразумение с Иваном Генриховичем, — подытожил губернатор разговор. — Как вы полагаете, надобно доводить результаты расследования до общественности?

— Я полагаю, пока результатов мы еще не имеем.

— Ну да... ну да. И вы знаете, о чем я еще подумал, Павел Михайлович?

— Нет, — честно признался Ключков.

— Нам, наверное, более выгодно представить это все как японо-американский конфликт. Если уж что выйдет наружу, да? Пусть разбираются между собой. Кто кому чего должен? Свенсон — Миядзаки? Или наоборот?

— А со Штарком?

— А про Генриха Ивановича забудем. Вот похороним и забудем, земля ему пухом! Он вообще в этой компании как-то не смотрится... Тоже — диверсант! Не его это стезя. Случай, совпадение какое-то дурацкое, чует мое сердце!

На том и расстались.

На выходе из канцелярии он столкнулся с Лялей Петровной. Увидев бывшего своего сердечного спутника, она запнулась на ровном месте, наступивши на трен, он рефлекторно сделал к ней шаг, но вице-губернаторша подняла пальчик и сказала, не останавливаясь:

— Не извольте беспокоиться, Павел Михайлович, я уверенно стою на этой земле.

И просквозила мимо с высоко поднятой головкой, обдав его облаком ландышевой эссенции.

Репетиция с утра получилась какая-то бестолковая. Только когда мандолина выпала из рук Корнея Константиновича, все вдруг поняли, что он после знатного перепоя. Софья Михайловна разволновалась, позвала его на ковер. Он, понурившись, побрел за ней, чуть не плача и тоскливо оборачиваясь в темноту партера.

В зале стояла страшная духота, Рашель обмахивалась веером, Фернандо открыл окно. В помещение ворвался камчатский зефир, наполнив парусом шторы. Клочков маячил на крыльце с начала репетиции и слушал их через приоткрытую форточку. Фернандо вылез в окно и бросился к нему, словно они не виделись годы. Хотя так и получалось, что Клочков приходил поздно, Фернандо уже спал, а уходил рано, когда тот еще спал. Кузьмич готовил завтраки и баловал Томатито, как родное дитя. А в свободное время учил ловить рыбу на удочку.

— Дядя Паша, я вчера такого кижуча отхватил!

— На что ловил? — заинтересовался ротмистр. В окне позади мальчишки показалась Рашель. Она обняла мануша за плечи и, улыбаясь, смотрела на Клочкова. Фернандо начал длинный рассказ, захлебываясь от восторга, но ни Рашель, ни Клочков его не слушали.

А наверху в кабинете верещала губернаторша. Потом голос ее стал ближе, потом она показалась на крыльце театра, разгневанная, со сбитой прической, увидела Клочкова и крикнула:

— Ваш Кодылев, уважаемый Павел Михайлович, ушел в запой в то время, как послезавтра концерт! То есть никакой ответственности у людей! Я знала, что с этими, простите за выражение, музыкантами нельзя связываться. Потому что на них никогда нельзя положиться. Они всегда подводят в самый ответственный момент, жалкие трусы!

Софья Михайловна воздела руки вверх и возопила в небеса: — Господи, как я посмотрю людям в глаза? Я — Сизиф! Не понимаю, как у меня еще хватает сил на это все! — Софья Михайловна обвела жестом театр, а заодно и канцелярию с городом вкуче. — Пустозвоны, распустехи, ничтожества, бабы и моральные мерзавцы, — выдав эту тираду, Софья Михайловна решительно пошла прочь.

— Да что случилось, Софья Михайловна? — остановил ее Клочков.

— А вы зайдите в мой кабинет и посмотрите, — обернулась на него художественный руководитель театра. — Эта скотина даже по дороге ко мне умудрилась добавить, паразит. Нет, все, я умываю руки! Вон с Камчатки! Люди! Николай Владимирович! — и побежала домой через пыльную дорогу.

— Мы сразу поняли с Рашель, дядя Паша, что Кодылев много пьет, — болтая на подоконнике ногами, беззаботно сказал Томатито, — но не хотели обижать мадам.

— Так репетиция не состоится? — спросил Клочков Рашель. Она отрицательно покачала головой.

— А концерт? — обеспокоился ротмистр.

— Концерт состоится при любой погоде. Нам эти музыканты не нужны. Для аккомпанемента разве? Но если что, мы легко сможем обойтись вдвоем, — и, повернувшись к Рашель, улыбнулся: — Я очень постараюсь, Лулу.

— Как ты ее назвал? — переспросил Павел Михайлович.

— Это мое настоящее имя, — пояснила певица, — Рашель Бутон — сценическое, которое я получила в детстве. Бутон, то есть Кнопка.

— А если репетиции не будет, можно я пойду на речку к Кузьмичу?

Клочков не успел кивнуть, как мануш соскочил с подоконника и был таков.

— На улице прохладно. Накинь что-нибудь на плечи, — сказал Клочков певице.

Когда она вышла на улицу, замотанная по-русски наперекрест в шаль Софьи Михайловны, он ее не узнал с первого взгляда. Взяла его под руку и быстро, почти бегом пошла через дорогу, потому что над ними уже разверзалась гроза. Темное небо опрокидывалось на крыши домов. Сначала мелкие капли глухо застучали о сухую землю, взбивая пыль, но не успели они перебежать дорогу, как крупный камчатский ливень как из ведра обрушился на город.

Оскальзываясь на дороге, мокрые до нитки, они с криками и смехом добежали до дома Клочкова, благо он стоял в нескольких шагах, на самом юру. Ротмистр забежал первым, чтобы разбросать во все стороны вещи, и благодарно вздохнул. Кузьмич порешил с утра убраться у барина и даже поставил на стол в графине букет полевых цветов.

— Быстро снимай платье, а то простудишься! — скомандовал Павел Михайлович.

Стуча зубами от холода, Рашель в несколько движений скинула с себя мокрое платье. Ротмистр тут же полотенцем растер ей грудь у горла, спину докрасна, дрожащую завернул в одеяло, усадил на кровать. В ту же минуту бросил в печку дров из сеней, зажег щепу, открыл заслонку, чтобы не угореть. Развесил ее платье на стулья напротив устья печки.

— Дай мне русского рому, того, что на корабле! — попросила Рашель жалобно.

— Того нет, — честно признался офицер, — да и не надо. Сейчас поставлю чай, подожди.

Самовар, только недавно вскипяченный Кузьмичом, был готов через десять минут, но кружка из тонкого саксонского фарфора выпала из холодных рук Рашель и разбилась.

— Это к счастью, — сказал Клочков, подбирая осколки.

Печурка загудела, и в доме сразу стало уютно и тепло. На улице шумел дождь, рама окна сотрясалась от порывов ветра, и было страшно подумать, что может произойти, если ветер вырвет ее из дома. Часы на стене остановились, Клочков подтянул гирьку, снова запустил маятник.

И пошел новый отсчет времени.

— Почему мы не сделали это раньше? — спросила Лулу чиновника по особым поручениям, когда они уже оба лежали под теплым одеялом, переплетенные объятиями.

— Потому что ты была вредной маленькой девочкой, — прошептал Клочков.

— Думаешь, я тебя боюсь? Я еще не таких бандитов видела.

— Не в этом дело. У тебя же руки трясутся, вон кружку разбила. Это верный признак.

— Признак чего? — недоверчиво поинтересовалась Лулу.

— Как-то в одно селение пришел и остался жить старый мудрый человек, — начал рассказ Павел Михайлович шепотом. — Он любил детей и проводил с ними много времени. Еще он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались.

— Как эта кружка? — спросила Лулу.

— Именно, — согласился Клочков. — Дети расстраивались и горько плакали. Но проходило время, мудрец снова дарил игрушки, еще более хрупкие. Однажды родители детей спросили его: «Ты мудр и желаешь детям добра. Но зачем ты делаешь им такие хрупкие подарки? Они хотят их сохранить, но игрушки все равно ломаются, и дети расстраиваются. Но ведь не играть с ними невозможно».

«Пройдет совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им свое сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней».

— Я никогда не уроню твое сердце, Клочков, — пообещала француженка.

— Врешь, конечно, но хочется верить, — сурово ответил чиновник по особым поручениям.

Какое-то время они еще лежали, каждый думал о своем. Послезавтра концерт. Со дня на день должен прийти пароход с ее вещами. Пройдет еще немного времени, и она уедет в Америку, а оттуда домой. И хочешь не хочешь, а наступит день, когда Клочков вместе со всей Камчаткой останутся в другой жизни. И сделать ничего нельзя. И они никогда больше не увидят друг друга. В Париже начнется совсем другая жизнь, и в ней нет места Клочкову, как ей нет места тут — в этом странном городе, совсем непохожем на нормальный город.

Павел Михайлович тоже думал о том, как они расстанутся, что будет тяжело, но к этим мыслям примешивались другие — о Чурине с Багировым, капитане Свенсоне, которого, Клочков уже не сомневался в этом, все-таки убил проклятый самурай, и о последнем разговоре с губернатором, который произвел на него двойственное впечатление.

Потом мысли снова возвратились к женщине, которую он держал в объятиях. Его растопила нежность к ней, он поцеловал ее в висок, она сладко, по-ребячьи потянулась во сне, причмокивая губами. Так он лежал долго, оберегая ее сон, прислушиваясь к шуму дождя, гудению угасающей печки, тиканью запущенных часов, и не заметил, как уснул сам...

Сон был легкий, безмятежный и совсем не такой как суровая действительность.

А в то же самое время певицу уже искали. Рашель впервые не пришла на обед, это списали на дождь, послали за ней специального человека. Он побежал сломя голову, с дождевиком и сапогами в театр, но вернулся ни с чем.

Из театра уже все ушли, и только протрезвевший Кодылев не мог решиться спуститься с крыльца в дождь и в грязь и замерзал на крыльце в легкой курточке. Но и он не мог сказать в силу известных причин, как он здесь оказался, кто куда пошел и где, собственно, звезда французского кабаре?

А когда она не пришла и на ужин, что было уже совсем из ряда вон, Софья Михайловна разволновалась не на шутку.

Самое малое, что могло случиться, это, что Рашель забрела к кому-нибудь переждать дождь и зацепилась там языком. А могла и попасть под ливень и простудиться, тогда прости-прощай послезавтрашний концерт, на который уже проданы все билеты. Люди приезжают черт-те откуда, чтобы насладиться пением заморской дивы, а она хворает?

А если ее убили и ограбили? И сбросили тело с пирса? Хотя грабить у нее нечего. Но ведь все-таки это портовый город, пьяные моряки всюду шастают. Присутствие женщин делало их безумными. Сколько раз, будучи в порту, Софья Михайловна сама ловила на себе странные обжигающие взгляды, от которых по телу пробегали легкие холодные мурашки.

Ливень застал Николая Владимировича на службе в нескольких верстах от города. Вернуться домой он должен был только поздно вечером. Посоветоваться решительно не с кем. Телефоны молчали, видимо, из-за поврежденной линии. Софья Михайловна позвала городского Матвеева, который сидел в приемной канцелярии, и вместе с ним, одетая в дождевик и высокие сапоги, отправилась на поиски в порт.

Сапоги утопали в грязи, чвакали лягушкой, когда она вынимала ноги из черной гущи. Матвеев, как мог, поддерживал губернаторшу то за руку, то за шкирку,

ухватившись за капюшон грубого дождевика. Чертыхаясь и бранясь, они таки дошли до порта.

Дождь постепенно затихал, крупными и тяжелыми каплями вбиваясь в землю.

Вышли на пирс. Стоящие шхуны, окутанные туманом и моросью, едва виднелись в нескольких десятках метрах. Взгляд Софьи Михайловны шарил по кромке воды, как вдруг наткнулся на что-то, явно напоминающее человеческое тело. Оно безвольной куклой билось о деревянный борт пирса, и каждая новая волна тащила его на огражденный людьми берег.

— Что это, Матвеев? Не видишь? Вон там? — спросила она.

— Где? — переспросил Матвеев.

— Вон там, слепой черт!

— Кажись, купается кто-то. Да неужто утопленница?

— Разуй глаза-то, дурак! Какая утопленница? Мужик это! — упорствовала губернаторша.

Но и Матвеев стоял на своем.

— Нет, матушка Софья Михайловна, неправда ваша, це баба. Истинно вам говорю. Точно хранцуженка! Я ее по волосам узнал. Эй, на барже, багор е?

Софья Михайловна вскрикнула и схватилась за сердце.

Клочков и Лулу проснулись одновременно от неожиданного и громкого стука в дверь и в окно. В окно стучали Кузьмич с Фернандо.

— Просыпайтесь, ваше благородие, вас в канцелярию вызывают.

В дверь стучал городской Матвеев.

— Павел Михайлович, откройте! Василий Осипович срочным образом к себе требуют.

Они затаились.

Матвеев начал срывать дверь с петель.

— Постой, дьявол, не ори, охолопись! Я встаю, Матвеев! Кузьмич, я встал!

Влюбленные со смехом, точно пойманные на месте преступления, быстро одевались. Оставив Рашель в доме, пока не оденется окончательно, он вышел из дома, вкратце объяснив Кузьмичу и Фернандо, что мадам Бутон сделалось внезапно дурно, и он был вынужден оставить ее у себя. Фернандо хитро ухмыльнулся, за что немедленно получил по макушке. Потом Клочков дал распоряжение денщику проводить ее по грязи домой и отправился к Родунгену на ковер.

Василий Осипович ожидал в своем кабинете. Густые брови насуплены. Желтый цвет лица говорил о разлитии желчи.

— Это как же вас понимать, милостивый государь? — противным голосом проскрежетал вице-губернатор. — Вы, может быть, не осведомлены, что у чиновника по особым поручениям не бывает выходных, праздников, он на службе государевой, дай ему Бог здоровья, — Василий Осипович перекрестился на поясной портрет государя на стене, — находится круглые сутки!

— Так точно, осведомлен.

— И почему, объясните, вас не могут найти тогда, когда ваше присутствие просто необходимо?

— Виноват.

— Это не объяснение, штабс-капитан.

Родунгену доставляло явное удовольствие унижать Клочкова.

— Ваше высокопревосходительство, я попал под ливень, продрог и лег спать, чтобы избежать нездоровья, только и всего.

— Черт знает что, распустились вконец, никакой дисциплины, — Василий Осипович взял в руки перо, подержал его для виду и с размаху бросил на стол. — Я давно говорил, что анархия до добра не доведет! Но я этого так не оставляю, господин Кропоткин, уж будьте уверены. Вы у меня еще напишете рапорт!

— Что случилось, ваше высокопревосходительство? — спокойно спросил Клочков. — Может, и нет необходимости моего присутствия?

— Нет необходи... — Василий Осипович, даже не договорив, задохнулся от негодования. — Да вы белены объелись, милостивый государь? Губернаторша Софья Михайловна бегают по городу, делает за вас работу, в то время как вы спите сном праведника. У вас под самым носом людей убивают, а вы ни сном ни духом. О каком-то здоровье думает... — брови Родунгена круто взмыли вверх, он искренне изумился легкомысленности подчиненного.

— Расследование проводится, Василий Осипович. Есть результаты, которые обнаружить пока рано.

— А мне вы можете сказать? — грозно осведомился вице-губернатор.

— Не имею права, ваше высокопревосходительство, в первую очередь в интересах следствия и дабы не опорочить, не дай Бог, чье-либо достойное имя.

— А вы в курсе, что у нас а) пропала иностранная подданная, и б) только что убили человека?

— Подданная мадам Бутон найдена и прибудет в дом с минуты на минуту. А если вы имеете в виду капитана Свенсона, то его смерть произошла в результате сердечного приступа. Николай Владимирович в курсе.

— Не надо приплетать губернатора к вашим пакостным адюльтерам, у него и без вас своих хлопот, знаете!

Клочков вспыхнул, покрылся пятнами. Давно никто не разговаривал с ним в таком тоне, но он сдержался.

— Я, честное слово офицера, не понимаю, чем деятельность Софьи Михайловны могла бы пересекаться с моей.

— Ровно два часа назад Софья Михайловна обнаружила на пирсе убитого и утопленного Багирова.

— То есть как утопленного? В каком смысле? — ноги Павла Михайловича подкосились, и он чуть было не сел на стоящий рядом стул.

— Убили и утопили, — Родунген вздохнул и почесал переносицу. — Идите, разбирайтесь и доложите, как будет что-то известно.

— А Софья Михайловна?

— Софья Михайловна, с вашего разрешения находится в постели с высокой температурой, сейчас к ней нельзя, пожалейте вы ее, голубушку, — сухо сказал вице-губернатор и повернулся к Клочкову спиной.

Тело Багирова лежало на пирсе, укрытое корабельной ветошью. Городовой Матвеев отгонял любопытных, которых собралось, несмотря на непогоду и сумрак, около двух десятков.

Зубной врач Шумилин нервно курил рядом. Его явно мутило, и он специально глубоко, до печенок, затягивался.

— Что скажете на этот раз? — спросил его Клочков.

— Убийство, Павел Михайлович. Налицо признаки борьбы, царапины, многочисленные гематомы, а уже после полученного удара по голове тяжелым предметом тело бросили в воду.

Клочков откинул тряпку с тела убитого.

— Тело обыскали?

— Так точно, — доложил городской, — документы, деньги, фотография неизвестной женщины.

— Покажите, — заинтересовался Клочков.

С фотографии на ротмистра глядела прелестная женщина с тонкими узбекскими чертами лица. Мать? Жена? Клочков никогда не спрашивал Багирова о его личной жизни. Теперь этим придется заняться.

— А что это у него в кулаке зажато? — Клочков нагнулся к телу и, раскрыв правый кулак товарища, поднял пуговицу военного образца с кавалерийской эмблемой, очевидно, вырванную из мундира.

На оборотной части пуговицы было выгравирована дата — 1895 г., а также по кругу — «общество офицеров московского военного округа».

Из трех подозреваемых только один носил мундир, это бывший улан, а ныне приказчик Чурина Алексей Кальянов.

Клочков почувствовал острое чувство вины, которое настигает всегда, когда случается что-то страшное и непоправимое. Кажется, что знай заранее, мы бы непременно исправили, доделали, нашли что сказать, помогли, но на самом деле мы знаем: то, что должно случиться, обязательно произойдет. Неминуемо должно произойти. И ничего поделать нельзя. «И от судеб защиты нет».

На море переговаривались, шхуны таяли в тумане, и голоса звучали странно и ниоткуда.

Регулярность насильственных смертей пугала и всякий раз это было связано с появлением на полуострове лейтенанта японской армии Такеши Миядзаки. Впрочем, если подходить с математической дотошностью, то и Чурина, и улана Кальянова...

— Шумилин, у тебя водка с собой есть?

Шумилин молча достал из саквояжа небольшую скляночку и протянул ротмистру.

— Только не говорите мне опять о вашем японце, — замахал руками губернатор.

— Факты — упрямая вещь, ваше высокопревосходительство. Исключать его из списка подозреваемых нельзя, хотя в данном случае обнаружены улики, указывающие на прямого участника инцидента.

— Кто герой? — оживился Николай Владимирович.

— Алеха Кальянов, приказчик Савелия Игнатъевича.

Губернатор недовольно засопел.

— Еще не легче. Из чего вы сделали такое заключение?

— Позапрошлой ночью все четверо — Багиров, Такеши Миядзаки и Савелий Игнатъевич с Кальяновым — сидели за полночь в «Ромашке». Мне просто подвернулась удача быть тайным свидетелем их разговора, из которого выяснилось, что Ивана Генриховича убил Кальянов, по наущению Чурина, думаю, и, скорее всего, ваша догадка про участие бедного Ивана Генриховича во всем этом вертеле вполне имеет место быть...

— Ну вот, я же говорил, — откинулся в кресле довольный губернатор.

— И убил его Кальянов шилом в сердце. А мы знаем, что он у нас почитается специалистом по забою свиней. Его все хозяйки приглашают за деньги свиней резать.

— Это да, я знаю, я сам его просил единожды, — обрадованно закивал головой Николай Владимирович.

— А Свенсон, как вы и предполагали, убит нашим давним подозреваемым Такеши Миядзаки.

— А я что говорил? — развел руки губернатор.

— Но и слабое сердце капитана в данном случае сыграло, возможно, свою роковую роль, — поддакнул начальнику Клочков.

— Что и требовалось доказать, как говорится, — заулыбался Николай Владимирович и, сложив руки на животике, спросил: — Ну и что вы намерены предпринять?

— Необходимо в самое ближайшее время арестовать Кальянова, — раздумчиво предложил чиновник по особым поручениям.

— Думаю, на этом надо и остановиться. Кальянов — сомнительная, темная личность, я с вами совершенно согласен.

— Уволен из Владимирского кавалерийского полка за растрату, я заглянул в его личное дело, — Павел Михайлович достал из-под мышки папку с личным делом Кальянова.

— Тем более! — воскликнул обрадованно губернатор. — И все, и хватит, и закончим на этом!

— Но он же не сам по себе — Кальянов. Он же пешка, Николай Владимирович, — укоризненно покачал головой Клочков, намекая на известные губернатору обстоятельства.

Николай Владимирович снова недовольно засопел, покрутил ус.

— Пешка, фигура, ферзь... Жизнь — это не шахматная партия, Павел Михайлович. Вы что думаете, я не знаю, что солнце поднимается на востоке, а столица Российской империи Петербург? Прежде чем сделать какое-то действие, трижды просчитайте последствия. Чем в данном случае все может кончиться? И для меня, и для вас? — Николай Владимирович оперся на ладонь и посмотрел в окно на надвигающиеся на город серые облака. — И тогда, быть может, Павел Михайлович, вы сами ответите на ключевые вопросы русской истории: кто виноват и что делать? Кальянов убил, Кальянов должен ответить. А про остальное я и знать не хочу.

Клочков вынул из кармана пуговицу и торжественно положил ее за зеленое сукно перед светлые очи губернатора.

— Что это? — испуганно отодвинулся от пуговицы Николай Владимирович.

— Это пуговица, которую Багиров в драке, предшествующей убийству, вырвал из мундира Кальянова.

— Вот оно что-о, — протянул губернатор. — Каков все же подлец! Хороша пуговица! — Николай Владимирович покрутил ее в пальцах. — Я когда-то такие же носил... Что ж, преступление будем считать раскрытым, отдаем дело в суд, и пусть они там разбираются, — губернатор хлопнул по папке ладошкой и закрыл ее.

— Но остается вопрос, ваше высокопревосходительство, зачем они все это делали?

— Что ж здесь секретного, голубчик вы мой? Все хотят обогатиться за счет Камчатки. Быстро и сразу. Потому и рубят под корень.

— А до конкретных причин нам надо доискиваться? — задал вопрос в лоб ротмистр.

— Вы как хорек какой-то злобный, Павел Михайлович, — вспыхнул губернатор, — как вцепитесь, не стряхнешь! Угомонитесь! — потом походил по кабинету, высматривая что-то на ковре, и, переменив тему, спросил с озабоченным лицом: —

Лучше ответьте на вопрос, как мадам Бутон? Здорова? Не простудилась? Состоится ли завтра концерт, которого, сами знаете, заждались все камчадалы, в том числе простые труженики. Как они соскучились по настоящему искусству. Это же поле, требующее постоянно духовного и систематического орошения! — и, встретив удивленный взгляд подчиненного, пояснил: — Это в смысле образа.

— С ней все в порядке. Конечно, она оросит, даже не сомневаюсь, что все пройдет гладко, — Клочков, не закончив мысли, по привычке щелкнул каблуками и сухо добавил: — Разрешите идти?

— Действуйте, — вздохнул Николай Владимирович.

«Вот и с губернатором отношения закачались, — подумалось ротмистру. — А ничего не попишешь. Вопросы задавать надо. И, хочешь не хочешь, надо и получать ответы. Даже такие. А суд... тоже неизвестно, станут ли там задавать неудобные для всех вопросы?»

К Кальянову нагрянули с обыском ближе к вечеру. Городовой Матвеев, впервые участвовавший в настоящем аресте, волновался больше Клочкова. Загородив выход из дома, он грозно и сурово смотрел на сразу ставшего маленьким и сухоньким чуринского приказчика.

Обычно, как представитель Чурина, тот ходил по городу гоголем и разговаривал со всеми свысока. И везде лушил семечки. Во всех карманах было набито. Только тут Клочков вспомнил, что и в доме Ивана Генриховича лежала шелуха на полу, но он по неопытности тогда не обратил на это внимания.

— Вы арестованы, господин Кальянов, по подозрению в двух убийствах — Ивана Генриховича Штарка, а также Олега Александровича Багирова. А теперь мы произведем у вас обыск согласно предписанию.

Кальянов, белый, как мел, сел на табуреточку в углу, хлопал белесыми глазами и с недоумением разглядывал страшного Матвеева, построившего в соответствии с моментом свирепейшую физиономию. Белый кавалерийский мундир с вырванной пуговицей нашли сразу в корзине для белья, очевидно, подготовленный для стирки. Хотя белый подшивной воротничок на стоечке был чист, то есть он его надевал максимум один раз. Но даже и после убийства злодей не думал избавиться от него.

— Ваш мундир?

— Так точно, — мелко закивал Кальянов.

— Чего ж вы его не сховали, Алексей Савельич? Ведь было времени достаточно избавиться от него.

— Он мне дорог. Я в нем и в Варшаве служил, пока... А почему я должен был от него избавиться? — вдруг оторопело спросил Кальянов.

— Ладно, неважно, — бросил допытываться следователь. — Орудие убийства сами сдадите?

— Какое? — испуганно спросил Кальянов.

— Начнем с шила, которым вы закололи Ивана Генриховича, — сухо сказал Клочков.

— Шило, да, шило есть, да, оно в инструментах, да, на полатах с уголку, — быстро проговорил приказчик. Смотреть на него не хотелось. Арест, никак не входивший в его планы, сломал его морально. Он вмиг просчитал, что в самом лучшем виде ему светит Сибирь-матушка с кандалами на ноженьках, а о худшем не хотелось и думать. Все человеческое точно выдуло из него ветром, оставив какую-то животную оболочку. Рядом за печкой выла ительменка Рая, для которой

убивец Алеха был надеждой и защитой от всего города. Потом он выдал и чугунный пестик, которым проломил голову Багирову.

Когда выходили из дома, он вдруг с истошным криком, словно его режут иглой, вырвался от Матвеева и со связанными руками побежал в темноту улицы.

— Держи его! — крикнул Матвеев и засвистал в свисток, которым пользовался лишь на праздниках.

— Да куда он с Камчатки денется? — зло сказал Клочков.

Алеха кричал на одной ноте и бежал, оскальзываясь в грязи и падая. Определить, куда он бежит, было нетрудно. Через десять домов в тупике стоял дом Савелия Игнатьевича Чурина. Добежав до него, но не заходя на крыльцо, злодей упал на колени и, рыча и воя, как раненый пес, остался стоять на коленях кающимся грешником. Матвеев и Клочков не торопясь подходили к нему по грязи все ближе.

Дождь снова припустил, заглушая вой преступника.

В доме Чурина отворилась дверь, и на крыльцо в военном дождевике вышел Сам.

— Не погуби, Савелий Игнатьевич, не дай погибнуть зазря, душу за тебя положу, — заскрипел плачущим голосом убивец.

— Не вой, — тяжело выдохнул Чурин и еще раз повторил: — Молчи лучше.

— Как же так, Савелий Игна... как же так?

— Молчи, и все.

— В память матери! Ведь отец вы мне! — вырвалось с рыданием из горла приказчика.

Закричав во весь голос, он упал в грязь и, извиваясь в ней ужом, орал, словно его жгли железом, потом опрокинулся на спину, чтобы, видимо, не задохнуться грязной жижей, выгнулся колесом, захрипел, точно в падучей.

Чурин молча стоял на крыльце. Глаз его под капюшоном не было видно. Он стоял, не двигаясь, на одном месте, будто в церкви на покаянии. Было слышно только, как шумит в деревьях дождь, побивая листья, да кричит арестованный убивец. Клочков с Матвеевым ждали, пока приказчик очухается, и похаживали возле него взад-вперед под нестихающим дождем.

Постепенно вместе с набирающим силу ветром рыдание затухло, Алешка со стоном поднялся и, низко опустив голову, как понурая собака, побрел впереди Матвеева. Временами плечи его вздрагивали то ли от пережитого, то ли от холодного камчатского Борея.

Потрясенная увиденным на пирсе, Софья Михайловна занемогла. У нее от страха как бы даже отнялись ноги. С ней это уже бывало однажды зимой в Петербурге, когда на Казанской улице, практически рядом с домом, поздним вечером ей навстречу выбежал абсолютно голый человек.

Он что-то возбужденно кричал и несуразно размахивал руками, как паяц, за ним бежали санитары в белых халатах и на глазах Софьи Михайловны, буквально в нескольких шагах от нее, догнали, повалили на снег и повязали.

После этого случая она пришла домой, легла в постель и не вставала неделю. Знаменитый в Петербурге доктор Иван Федорович Могила очень внимательно ее осмотрел, назначил анализы, но, ничего толком не нашедши, объяснил все нервным расстройством.

А через неделю она как-то встала поутру, позабыв про болезнь, и пошла.

Так и в этот раз.

Рашель, чувствуя себя виноватой, не отходила от кровати. Поила водой, делала компрессы на лоб и на локтевые сгибы, как когда-то, уже кажется, десять тысяч лет назад в другой жизни делал ей на корабле Клочков. Через каждые полчаса в спальню заглядывали домашние — Саша, Мишель и Николай Владимирович.

— Вам надо самой отдохнуть, Рашель. У вас усталый вид, а завтра трудный день.

На самом деле у Лулу был вовсе не усталый вид, она просто сияла от счастья и не могла этого скрыть. Она каждой клеточкой излучала счастье, смеялась, веселила Софью Михайловну и, наконец, не смогла удержаться и все-все рассказала ей, начиная с поезда, который ротмистр взял штурмом, про поцелуй в гостинице, как он ее отравил, а потом спас от насильника на корабле, и про сегодняшний случай, когда она заснула на его груди.

Софья Михайловна так увлеклась, что села в кровати и, раскачиваясь из стороны в сторону, ахала, хваталась за голову. Краснела как майская роза, когда Рашель призналась ей, где она была, когда все ее искали, а в конце грустно покачала головой:

— Вот это любовь! А у нас в России как-то все не так, как у вас, хотя... — и не закончила, пошевелила пальчиками одной ноги, потом другой ногой, встала и пошла.

За разговорами засиделись за полночь, не могли разойтись. Губернаторша поведала о своей жизни, показала фотографии восьмерых детей, заплакали, нахохотались. Расходиться не хотели. Сначала Софья Михайловна шла ее провожать до ее комнаты, потом наоборот, и так без конца, пока наконец из спальни не выглянул Николай Владимирович и грозно сдвинул брови:

— Давайте-ка спать, полуночницы, завтра тяжелый день.

Только тогда и разошлись.

А когда Лулу у себя в комнате подошла к окну, чтобы задернуть шторы, то на ветру под дождем увидела Клочкова в плаще. Он звал ее на улицу. Язык жестов был успешно освоен. Лулу замахала руками на погоду.

— Нет, я не пойду. Холодно и мокро.

— Я возьму тебя к себе под плащ. Видишь, сколько в нем места, — показал Клочков место под плащом.

— Я очень хочу, но не могу, — вздохнула актриса.

— Почему? — аж забежал под окном туда-сюда от нетерпения и непонимания офицер.

— Неудобно. Софья Михайловна болеет. Мало ли что?

— Я тебя люблю!

— Я тоже! — кивнула француженка.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Лулу закрыла шторы, постояла немного, через минуту снова посмотрела, Клочков продолжал стоять.

— Ты почему не уходишь?

— Не знаю, — пожал плечами влюбленный ротмистр.

— Уже поздно.

— Да, — согласился печально Павел Михайлович. — Сейчас пойду.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Когда легла в постель, то подумала:

«Надо же проехать весь мир, чтобы полюбить безвестного офицера на какой-то Камчатке, о которой и знают только, что это край света с грозными вулканами, где медведи от скуки рыбу ловят?!»

А потом посмотрела на русскую иконку, где Божья мать прижимала к лицу сына и прошептала:

— Открываю свое сердце Тебе и Твоей доброй воле, Аминь.

Петропавловская каталажка представляла собой обыкновенный сруб со следственным помещением наверху и холодным, но сухим подвалом. Сруб стоял на крутой горе, поэтому с одной стороны подвал уходил в землю до потолка, а с другой — до окошка было не допрыгнуть.

Конечно, провести в нем ночь даже под принесенным тулупом было не сахар, но и создавать для преступников какие-то комфортные условия никто не задумывался. К тому же никаких преступлений на Камчатке в ту пору не совершалось. То есть в точности зафиксированных и умышленных злодейств. Так что долго в подвале следственного помещения никто доселе не засиживался.

Ранним утром в острог приходила Анастасия Чурина, приносила еду подследственному.

На допросе Кальянов угрюмо молчал.

— Я еще могу догадаться, зачем вы убили Багирова, но какую роль во всей этой золотой партии играл Иван Генрихович, я не могу себе ответить, — честно признался чиновник по особым поручениям губернатора.

— Я ничего не стану говорить.

— То есть не станете по каким причинам? — допытывался Клочков. Ему надо было просто для начала разговорить арестованного. — Потому что не знаете, что отвечать? Или потому, что боитесь сказать правду?

— А как бы вы на моем месте поступили? — вопросом на вопрос ответил приказчик.

— Я бы покаялся, освободил душу от мерзости.

— Каяться в церкви уместней, Павел Михайлович.

— Я могу позвать вам священника.

Кальянов демонстративно отвернулся в угол.

— Как вы сами понимаете, я не буду присутствовать на этом свидании. Все, что вы скажете отцу Трифону, останется тайной исповеди, притом вы успокоите свою душу.

Арестованный замкнулся.

— Чего-то боитесь?

Кальянов затравленно посмотрел прямо в глаза допрашивающего офицера, и Клочков ясно понял, кого и чего опасается убивец.

— Здесь вы в абсолютной безопасности, поверьте мне. Доступ сюда есть только у губернатора, но вряд ли он захочет тут с нами беседовать.

— Вы называете это беседами?

— Как видите, я разговариваю с вами без записи.

Кальянов уперто молчал.

Клочков начал с другой стороны.

— Во время ареста вы заявили, что являетесь сыном Савелия Игнатьевича Чурина? Правда ли это?

Подследственный кивнул.

— Кто ваша мать?

— Моя мать Ирина Аркадьевна Добровольская, в замужестве Кальянова, родила меня в Петербурге, где они и познакомилась с моим будущим отцом. Он приехал в

Петербург по купеческой надобности, она служила гувернанткой в богатом доме. После рождения Савелий Игнатъевич сразу признал меня и выдавал ей деньги на воспитание и образование. Вот... — развел руки Кальянов.

— А потом? — заинтересовался Клочков.

— Потом что ж? Учеба в кадетском корпусе. Мать сгорела в несколько дней от испанки. Служил в армии. Да вы все знаете по личному делу, которое у вас на столе.

— Да, конечно, — кивнул ротмистр, — вы были уволены из армии за растрату полковой кассы.

— Проигрался, запутался, — Кальянов потер лицо двумя руками, — после всего написал Савелию Игнатъевичу письмо. Он пригласил сюда. Согласитесь, познакомиться с отцом в двадцать восемь лет не слишком удобно, так что ни он, ни я не оповещали об этом население города. Анастасия знала, конечно, с ней Савелий Игнатъевич живет уже шестой год.

— Ну и главное, — Клочков посмотрел подследственному в глаза, — вам Чурин поручил убить Штарка и Багирова? Поверьте, молчание ваше красноречивее всего отвечает на мой вопрос.

— Вот молчание и укажите в протоколе, — огрызнулся Кальянов.

— Как видите, я ничего не пишу, — Клочков показал на пустой стол. — В данном случае, мы просто разговариваем по душам.

— Нет, нет, Павел Михайлович. Когда по душам говорят, то не имеют в виду, что после в протокол будут записывать. Это я с вами по душам, а вы по службе, а значит, никакой душевности с вами быть не может. Вы меня погубить думаете, а представляетесь ангелом. Вы обманом хотите, чтобы я сам голову в петлю засунул. Кто же из нас тогда лучше?

— Погубил вас, Алексей Савельевич, не я, а вы сами своими собственными руками. Конечно, не сами, а по отцовому наущению.

— Ежели вы все знаете, то и говорить больше не об чем.

И уже больше рот не открывал, какие Клочков ему вопросы ни задавал.

— А все-таки подумайте о священнике, Алексей Савельевич, — прощаясь, посоветовал ему следователь.

На крыльце следственного помещения Клочков столкнулся с Василием Осиповичем Родунгеном.

— Ну, что? Как злодей? Что говорит? — не здороваясь, перешел к делу Василий Осипович.

— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство, дело идет своим чередом.

— Как это не беспокоиться вице-губернатору, когда в подчиненном ему крае такие дела вопиющие происходят, как убийство! Одно, второе, — вице-губернатор даже покраснел от негодования, словно это Клочков виноват был в случившихся злоключениях. — Что говорит подлец? Один злоумышленник или в банде? Каковы цели злодейства? Пьяная разборка или, может, что похлеще? — Василий Осипович был строг и тверд в своем желании все узнать первым.

По уговору с губернатором, Клочков не имел права распространять какие-либо сведения помимо него, в том числе и Родунгену, но, не желая обострять и без того двусмысленные отношения, доложил:

— Молчит, как воды в рот набрал. Просто камень, не человек.

— Это хорошо, — сказал прямолинейный Василий Осипович и тотчас поправился: — Значит, есть что утаивать.

— Совершенно с вами согласен, ваше высокопревосходительство, — щелкнул каблуками ротмистр.

— А можно мне его увидеть? Мне кажется, я бы мог его расколоть или, во всяком случае, расположить, — спросил Родунген.

— Не имею права без письменного распоряжения Николая Владимировича, — с виноватым выражением лица сказал Ключков и поспешил откланяться.

Первый острог поставил Атласов в верхнем течении реки Камчатки и так его и прозвали — Верхнекамчатским. Когда он уходил оттуда с ясаком в Москву, то оставил в нем шестнадцать товарищей во главе с казаками Протопоповым и Шелковниковым. Оставил ни с чем — пороху и свинца оставалось на понюшку табака.

В те годы острогом называли пограничные крепости, которые по мере раздвижения границ империи ставились для охраны территорий и определяли границы государства. Представляли они собой деревянные крепости, размер которых определялся возможностями и строительными талантами застройщиков.

Верхнекамчатский был построен квадратом: по десять саженей (около двадцати двух метров) длина каждой стороны, с тыновыми стенами высотой до четырех с половиной метров. Строили всерьез и надолго. В двух стенах острога находились жилые избы. По углам поставили башни, а также двое ворот на въезд и выезд.

Вокруг всего сооружения выкопали достаточно глубокий ров, позади рва деревянные надолбы, или рогатины. Качество и размах строительства говорит о том, что казаки задумывались о возможности осады острога местным населением.

Внутри располагались казарма, амбар, ледник, конюшня, пороховой погреб, магазин, в котором торговал иркутский казак Чурин, и прочие необходимые для человека постройки. Имелся, конечно, и арестантский подвал, который вскорости поделится на камеру, где держали буйных заключенных, и собственно пыточную комнату.

Вооружение острога состояло из четырех медных пушек: длиной 1,6 м и весом 138,4 кг со ста двадцатью ядрами, а также пяти пищалей гладких, к которым прилагались порох, свинец и фитиль.

Впоследствии, когда отношения с камчадалами начали сглаживаться, острог потерял свою отгороженность и превратился из крепости в подобие деревни. В запертых воротах уже не было нужды, они шли на какие-то другие нужды, в том числе и на дрова. Но понятие «острог» как тюрьма со всеми вытекающими в народе закрепилось.

Бунт 1707 года послужил водоразделом в отношениях между служивым людом и народами полуострова.

Поводом к бунту послужило следующее. Проигравшись в карты, пьяный Шелковников нашел выход, как заплатить проигрыш. Снарядил команду из нескольких человек, отправился в ближайшую ительменскую деревню и заковал в кандалы двух маленьких девочек. Что бы с ними было, если бы их привезли в острог, можно только догадываться, но деревня поднялась вся, а следом за ней и все вокруг.

Не буди лихо, пока оно тихо, а пришла беда — отворяй ворота!

Казаки, находившиеся кто на рыбалке, кто на охоте, в спешном порядке возвращались под защиту крепости. Не помогло даже то, что Протопопов выставил перед разъяренными камчадалами связанного и униженного страхом виновника за пределы острога. Шелковникова разорвали на части в пять минут. Казалось бы, можно успокоиться, вот она, святая месть! Но восставшие вкусили кровушки, и этого им было уже мало. Они потребовали выдать Протопопова.

— Не слушайте их, братцы! Они меня разорвут, а потом и за вас возьмутся!

Протопопова казаки убили сами и выставили его тело за ворота. Камчадалы отхлынули от острога, казаки вздохнули было, но ночью острог запылал со всех сторон.

Терпение народа закончилось, и вся накопленная за два десятилетия ярость обрушилась на Верхнекамчатск, оставив от него пепел. Двадцать казаков держали осаду в течение нескольких дней, но огонь не пощадил никого.

А после все началось сначала. Мирные ительмены вернулись в свои деревушки, уверенные в том, что справились с лихом навсегда.

А казаки из Нижнекамчатска, чуть погода, снова на том же месте вначале тайно, а потом и открыто вновь возвели крепость, меньшую по масштабам, но про следственную камеру и пыточную комнату не забыли и тогда. Значит, была в ней необходимость.

Командование острогом принял на себя Данило Анцыферов, соратник Атласова. Но за то время, пока Владимира Васильевича не было на полуострове, они, конечно же, изменились оба, и оба не умели да и не хотели делиться властью, которую завоевывали для себя сами.

Кодылева привезли на концерт в телеге. Он лежал укрытый ватником, смотрел сквозь полуоткрытые веки в ясное небо и ничего не соображал. Редкие молочные, похожие на снег в горах, облака пробегали перед его мутным взглядом, и он не понимал не только, где он и зачем, но даже кто он и как его зовут.

За кулисами Софья Михайловна лично, что-то безостановочно говоря (Кодылев не слышал и не чувствовал ничего), вылила в него полстакана нашатыря, он выпил как воду, затем на него надели синенькую атласную рубашку навыпуск, посадили на стул, вынесли вместе со стулом на сцену, там уже ждали товарищи, вручили мандолину, дернули занавес. И начался концерт.

Сначала много говорил губернатор, целовал ручки примадонне, дарил цветы. Тут Кодылев окончательно открыл глаза, узнал товарищей, Фернандо, напряженно смотрящего на него, Рашель Бутон, наконец, зрительный зал, внимательные глаза Чурина Савелия Игнатьевича, своего хозяина и благодетеля. При этом у него внутри сразу что-то щелкнуло, он выпрямил спину и заиграл.

Концерт шел по нарастающей. Томатито с удивлением наблюдал за Кодылевым. Все, что он говорил тому за эти десять дней, Кодылев не только принял в себя, но играл с такой скоростью и чувством, как будто у него рвалась душа прямо тут, на глазах у всех.

Это заводило Фернандо, он раскраснелся и с радостью вступал в диалог с мандолиной. Они ссорились и мирились, объяснялись друг другу в любви и все вместе с Рашель Бутон поднимали людей с кресел.

В конце концов, когда раздался последний аккорд и Лулу бросилась за кулисы, чтобы схватить немного воздуха, зал камчатского театра взорвался аплодисментами. Деревянные стены здания раскалились, как железо.

Николай Владимирович кусал усы, Софья Михайловна билась в истерике, Ляля Петровна, несмотря на неприязнь к французской актрисе, так кричала и вертела головой, что потеряла сережку, прелестный солитер в несколько каратов, и даже не заметила как.

Павел Михайлович Ключков стоял на балконе в дверях, дальше протолкнуться не мог, и весь концерт видел только краешек сцены, но тоже кричал вместе со всеми, словно сошел с ума. Зато лучше всех он видел Чурина, сидевшего неподвижно.

Казалось, тот вообще не слышит музыки. Но в финале концерта все-таки поднял голову и хлопал вместе со всеми.

Лулу еще несколько раз спела на бис, и песни были тоньше, мандолину было еле слышно, гитара еле дышала, а прием был тот же.

Как только закрылся занавес, Кодылев упал со стула.

Коллежский ассессор Лех говорил на выходе Якову Борисовичу Нейману, члену окружного суда:

— Я, как вы знаете, французскому не обучен, но, когда она пела с куклой, я понимал, что она поет про свое детство, и в какой-то степени про мое. Когда крутила пальцем у виска, совершенно русским жестом, я понимал, что она, как бы сдурела от любви, и здесь вообще не нужно никаких языков или перевода. Одним словом, я понимал ее песни не головой, а сердцем! Это, конечно, я вам скажу феномен.

— Да-а, — протянул Яков Борисович, и сам игравший в детстве на скрипке, — но наш Кодылев-то каков? Орел!

— А как он куплеты в «Ромашке» наяривает, вы никогда не слышали?

— Нет.

— Это такое «Болеро», я вам скажу!

Непосредственно после концерта в честь гости, снискавшей триумф у местных меломанов, в самом просторном, и не надо бояться этого слова — лучшем, кабаке города «Ромашка» давали банкет. Народу набилось человек пятьдесят. Пригласили и Ключкова. Столы, сдвинутые буквой «П», ломились от яств, среди которых вышались белыми головками литровые бутылки водки.

Качество еды не шло ни в какое сравнение с приморским банкетом, но уровень был кабацкий и веселье какое-то другое — бесшабашное и отчаянное.

Через пристойные пятнадцать минут лица у всех покраснели, дышать в кабаке стало решительно нечем, так что открыли окно, потом второе, но открывай, не открывай, а все одно — потолки низкие, кто-то закурил, все порассупонивались, и воздух превратился в особую, сизоватого цвета, дымку, свойственную таким заведениям.

Никто никого не слушал, все разговаривали одновременно, в одном конце стола пели, но время от времени кто-то непременно со стаканом в руке подходил к Рашель Бутон, целовал ей руки, а через еще какое-то время просто обнимал и целовал в плечи и ухо.

Отказаться было невозможно.

Кто-то говорил тосты, никто никого не слушал. Смех звучал сразу и везде. Ключков сидел по диагонали от примадонны на расстоянии полутора метров через стол и помочь ей не мог.

Яков Борисович Нейман попытался поднять певицу, но попятился вместе с нею и упал, ударившись головой в эстрадку.

Существовал один-единственный шанс получить от всего этого удовольствие — самой взять на грудь и раствориться в бедламе, как золоту в реторте сумасшедшего алхимика. И Рашель махнула рукой на условности.

— Будь что будет!

Тут на эстраде появился и развеселившийся Кодылев со товарищи.

— О, Сморщенный пришел! — обрадовались ему посетители. Такое у Кодылева было прозвище в кабаке — «Сморщенный».

Томатито почувствовал себя в родной стихии. Точно так же в рабочих предместьях Парижа горланили пьяные мужчины, а женщины, задирая юбки, пробовали влезть на стол под хохот партнеров.

Взмахнув черной шевелюрой, он начал враскачку, не торопясь, осторожно ступая крохотными и неслышными нотами, «Очи черные». Его дядя пел эту песню на русском языке, и все французы знали эту песню, как свою, а потом и весь мир, куда бы они ни приезжали — в Бухаресте, Константинополе и далеком Мельбурне, все подхватывали и пели ее вместе с артистами.

Клочков привстал над пирующими, чтобы оценить диспозицию. Губернатор с женой ушли почти сразу, усталые, после концерта. Василий Осипович, желтый от ревности и злости, трясся над Лялей Петровной, хохотавшей на плече Гантимурова. Коллежский ассессор Лех лежал на спинке стула брошенным пиджаком. На отдельном столике в углу какая-то женщина уже уверенно стояла на столе, потряхивая плечами и воображаемыми монистами, а трое мужиков держали стол, чтобы он не сломался под ее тяжестью. Савелий Игнатьевич Чурин стоял в дверях кабинета, прислонившись к притолоке и, бия себя в грудь, что-то объяснял Рашель.

А гитары звенели и неслись уже вихрем над столами, поднимая и зарождая в сизой дымке начало устрашающего урагана.

*Не видал бы вас,
Не страдал бы так,
Я бы прожил жизнь, улыбаючись,
Вы сгубили меня, очи черные,
Унесли навек мое счастье.*

В разгаре банкета Клочков не заметил, как рядом с ним оказалась Анастасия Чурина. Она молча подняла бокал и со значением, полным скрытого смысла, чокнулась с ним. Клочков пригубил рюмку, отставил в сторону и отвернулся в сторону. Настю, с которой он до этого шапочно знакомый, только здоровался, видимо, сильно задело, потому что она схватила его за лицо и повернула к себе.

— Опомнитесь, сударыня! — прошипел он ей, еле сдерживаясь.

Настя подняла рюмку и, пьяно ухмыляясь, выплеснула водку ему в лицо.

Клочков вспыхнул, попытался встать на ноги, но сзади его сильно ударили по голове чем-то тяжелым. Вверху над ним зазвучали колокола, земля закружилась вместе с мелодией, его ноги потеряли вдруг опору. Он силился найти землю ногами, но под ним точно разверзлась земная твердь, и он летел, переворачиваясь в воздухе, как гуттаперчевая кукла.

Сколько продолжался полет, он не помнил. А когда открыл глаза, вокруг стояла гудящая тишина, только где-то рядом лаяла собака и остатки мелодии вместе с пьяными голосами угадывались вдалеке. Совсем близко он слышал густое жаркое дыхание, протянул руку и провалился в курчавую и теплую шерсть.

«Это барашки, — понял он, — значит, я в сарае около «Ромашки». Там Чурин держал живность, которая со временем оказывалась на столах посетителей».

Встать он не смог. На затылке запеклась кровь. Язык распух и еле шевелился. Лицо вздулось подушкой. Сознание вновь уплыло куда-то в сторону и, сделав круг, вернулось, когда в сарай кто-то вошел. В свете керосиновой лампы Клочков узнал второго чуринского приказчика Самсона Кияшко. Франтоватый толстый приказчик

с вечно блестящим лицом и перстнем на оттопыренном мизинце всегда вызывал у него омерзение. Впрочем, чувство было обоюдное.

Кияшко приблизил лампу к лежащему ротмистру и глумливо сказал:

— О-о, ну и рожка-а! Если твою рожку, Клочков, выставить с моей задницей в форточку, скажут: «Два разбойника!»

— Кто меня ударил? — спросил чиновник по особым поручениям.

— Я, — честно признался приказчик. — А что прикажешь делать с насильником?

— С каким насильником? Что ты брешешь? — возмутилась чиновничья душа.

— Совсем ничего не помнишь? Допился ротмистр. А это кто с тобой лежит рядом? — Самсон Кияшко посветил на землю рядом с Клочковым, где лежала растерзанная, в порваном платье Настя Чурина. — Это вот как объяснить? Али вы это полюбовно сотворили? Тем хуже. Только думаешь, тебе это хозяин спишет? А он еще не знает. Я не сказал.

— Да ты что — обалдел совсем, Кияшко? Это не я!

— Я не я, и рожка не моя! — злобно сказал приказчик и несильно пнул ротмистра в бок. — Вот сейчас хозяина найду, пусть и выясняет, снасильничал али по договоренности. Если так, обоих и утопим. Лежи давай! — и, опять пнув под ребра попытавшегося встать Клочкова, вышел на улицу.

— Настя, Настя-я! — позвал ротмистр в темноту. Настя застонала, давая понять, что слышит. — Это что же, Настя? Это как же?

— Бежал бы ты, барин, подобру-поздорову отсюда, — еле ворочая языком, проговорила Настя.

— Это кто нас так? — спросил чиновник по особым поручениям.

— Известно кто, — вздохнула жена Чурина.

— А ты зачем мне в лицо водкой плеснула?

— Моча в голову ударила, вот и плеснула, — даже в темноте сарая, оба еле живые, Клочков почувствовал, что Анастасия улыбнулась.

— И что же сейчас будет?

— Порешат они нас.

— За что?

— Самсон давно хотел со мной счеты свести, вот и подстроил. Теперь он наместо Алешки станет.

— За что он тебя ненавидит?

— Леха по пьянке признался ему, язык укоротить бы ему, да поздно, что полюбвицей ему была, он и вымогал из нас деньги, все грозился Савелию рассказать. А тут Лехи нет и денег тоже, вот и раскуражился, лихоманец...

Дверь сарая с шумом растворилась, чуть с петель не слетала.

Вошел Чурин, сзади с керосинкой в руках петушком семенил Самсон Кияшко.

— Посвети, — приказал Чурин.

Кияшко наклонил лампу, осветил лежащих рядом Настю и Клочкова.

— И как, господа хорошие, прикажете это понимать?

— Это все Самсона козни! — крикнула Настасья.

— С тобой после поговорю, — брезгливо отмахнулся от жены Чурин. — Ну вот, Павел Михайлович, и встретились. Давно, знаю, ты со мной потолковать хотел о том, о сем, вот и дождался, спрашивай, а то может статься, другого случая и не представится.

Чурин неудобно присел на чурбачок, услужливо подставленный Кияшко, и сложил на коленях тяжелые узловатые руки.

— Зачем Кальянов Штарка убил, никак в ум не возьму?

— Вот что тебя волнует, — разочарованно протянул Чурин. — Глупый, старый дурак просто оказался не в то время и не в том месте. Услышал то, что не предназначалось для его ушей.

— А убивать-то зачем?

— Если бы кто нормальный, Павел Михайлович, а то балаболка, актеришка, ради пустого балагурства ли похвальбы мог брякнуть где ни попадя под пьяную лавочку. Помнишь сказку, как парикмахер у царя Мидаса ослиные уши увидел, и даже под страхом смерти все одно на болото побежал и там в камышинку вышптал, балалайка бесструнная, что у его величества, де, уши ослиные, не знал удержу, так и тут.

— Что ж он такого услышать мог? Как вы с Миядзакки Камчатку надвое делили? — ухмыльнулся Клочков.

Чурин ощерился.

— А хоть бы и так. Кто нам указ?

— А карту подбросили, чтоб от себя подозрение отвести?

Савелий Игнатьевич, довольный, улыбнулся в усы.

— Я тебе таких карт сколь угодно напишу. Я их все по памяти знаю. Они все у меня здесь, — и постучал себя по шишковатому лбу. — Если б не моя память, меня бы и самого теперь, может, вместе с Багировым крабам в бухте скормили, а я вот тут перед тобой сижу — живой и здоровый.

— За что его-то?

— Нельзя знать много, Павел Михайлович, нос совать, куда не следует! Многие знания умножают скорби, это так испокон веку прописано. Ну, я понимаю, ты по долгу службы вынохиваешь, работа такая — собачья, а это что за ищейка на нас свалилась? Бессеребренник, пьяница, идиот!.. Чужой, в действительности, на Камчатке человек. Морда азиатская! Ни жены, ни детей, как топляк встал посреди течения... Я ему и так и этак — честно предлагал билет до Петербурга первым классом и полный саквояж денег в придачу! Не захотел. Только не доказать тебе ничего, Алеха меня не сдаст, я его сына и внука своего в кадетском корпусе обучаю. А и сдаст, так что? Ты хоть представляешь, кто сидит перед тобой? Кто меня тут судить будет? А даже и в Петербурге? Я здесь царь и бог! Губернатор встанет на дороге, и его уберу. Просто отодвину в сторону как колоду и дальше пойду. Опорочим, не пожалеем, другого пришлют, более сговорчивого. А ты кто? Что ты против меня? Букашка. Я тебя пальцем раздавлю, не замечу.

А и верно. Когда Клочков пересекался в жизни с Чуриным и ему приходилось с ним разговаривать, Савелий Игнатьевич никогда на него не смотрел — или в сторону, или мимо, всем видом показывая ничтожность чиновника по особым поручениям, отделяваясь ответами односложными или даже междометьями, чем немало раздражал ротмистра.

— Ты вот все искал, где золото на Камчатке? А оно все здесь, — Чурин похлопал себя по карману, а потом вынул кожаный кисет. — И золото, и платина, все есть. И достанется оно тому, кто ищет его — в земле, в ледяной воде по колено — а не в кабинетах отсиживается.

Глаза у Кияшко блеснули в темноте, как у зверя.

— А ты, шваль, что скажешь? — угрюмо обратился Чурин к Настасье.

— Прости, Саввушка, — завывала жена.

— За что простить? — поинтересовался муж.

— Не было у меня с Клочковым ничего, Саввушка, все тебе набрехал проклятый Самсон, он меня ненавидит, сам ко мне под юбку раз залезал, да я его отшила.

— Что ты врешь? — возмущился Самсон.

— Про то, что у вас с господином Клочковым ничего не было, я и в ум не беру. Жидковат он для тебя, в коленках слаб. Тут Самсон сплеховал. А, Самсон, сплеховал или нет? — обратился Чурин к приказчику.

— И ничего не сплеховал! — стоял на своем Кияшко, но Чурин даже не посмотрел на него.

— А вот то, что ты с Алехой моим путалась, этого я тебе, Настя, вовеки веков не прошу. А как не прошу, это ты опосля узнаешь, на заре. А пока почивайте, у меня нынче гости из самого Парижа. Надо форс до конца выдержать.

И, задув фитиль в лампе, с грохотом захлопнул за собой дверь.

Отец Дорофей не находил себе места. Время было позднее, но спать он не мог. Несколько раз ложился, ворочался с боку на бок, снова вставал, читал евангелие.

За окном шел острый проникающий дождь. В другой раз можно выйти погулять даже под зонтом, подышать вечерней свежестью, но ветер, выкруживающий с разных сторон, выворачивал зонт, вырывал из рук. И иеромонах не решился.

Номер в гостинице, больше похожий на келью, не располагал к движению. В нем удобней сидеть, чем ходить. А встав с кровати, сразу упираешься в стену. Даже класть поклоны в узком промежутке между кроватью и стеной составляло большое неудобство, но уж тут приходилось смиряться. Ничего не поделать. Электричество в приюте выключали в двадцать один час.

Огонек в лампадничке тускло освещал божницу, и святой Мина смотрел на отца Дорофея смиренным, кротким взором, словно вопрошая о чем-то.

Неспокойный внутри монах спустился с кровати на колени, постоял некоторое время, прислушиваясь, что происходит с ним внутри, и выдохнул.

— Блаженный Мина, дай крепость духа товарищу моему рабу божию Павлу... Да ты знаешь его, он на Камчатке служит, ты всех знаешь. Он тоже воин, как ты, но служит людям. Как может и умеет. Душа его смятенная, но чистая. Чувствую сердцем, что трудные дни для него настали. Вызволи его, отмоли у Господа нашего, пожалей, ибо он не ведает порой, что творит. Он ведь у своего начальства на посылках, ровно как ты у своего Фирмилиана-тысячника служил, там много чего несправедного и окаянного, но он по долгу своему много зла человеческого видит, и душа его, я чувствую, скорбит. Помогите ему, Господи! Помогите ему, Святой Мина великомученик! Не прогневайся за мою просьбу. А про Сиам я молчу. Ты сам все видишь, и если считаешь нужным, заступись за меня перед Господом. А нет, так ничего не поделаешь. Значит, так нужно. Аминь, аминь, аминь.

Трижды перекрестившись напоследок, отец Дорофей тяжело встал с колен и, улегшись на кровать, умиротворенно произнес:

— Благое дело сделал, спаси, Господи!

И заснул блаженным сном.

Сколько времени прошло, Клочков не помнил, сознание его то тлело огарком, то пропадало во тьме, Настасья подползла к нему и, чтобы как-то спастись от подступившего холода, прижалась к нему всем телом. Глаза постепенно привыкли к темноте. Барашки за оградкой сладко почавкивали во сне, их мерное дыхание

успокаивало и дарило надежду. Уж если барашки спокойны, то и они могут лежать так же и надеяться на завтрашний день.

— Огради мя, Господи, силою чеснаго и животворящего Твоего креста и спаси мя от всякого зла, — прошептал ротмистр без особой надежды.

Неожиданно слух обоих уловил незнакомые и легкие шаги вблизи сарая, кто-то долго нашаривал в темноте возле входа, затем дверь слегка приоткрылась и раздался голос денщика Белугина.

— Ваше благородия, вы тута?

— Тута, — коротко ответил Клочков.

Дверь со скрипом отворилась настежь, и в сарай, толкаясь, вошли Фернандо с Рашель, сразу начали ахать и охать. Кузьмич остался на улице караулить.

— Только тихо, — предупредил их чиновник по особым поручениям.

Ни слова не говоря, Фернандо и Рашель с трудом подняли скрюченных и дрожащих от холода узников и, поддерживая под мышки, вывели на открытый воздух.

— Скорее, скорее, — торопила всех Рашель, чуть не плача от страха. Белугин взвалил Клочкова на себя будто пьяного. Фернандо с Рашель помогали идти Настасье. В «Ромашке» еще горел свет, слышались громкие голоса, пьяный хохот. Через минуту беглецы скрылись в ночной камчатской мгле, и теперь даже с фонарем их было бы невозможно найти.

— Домой к вам нельзя, Павел Михайлович, там найдут, — простонала Настасья. — Они уже к вам один раз с обыском наведывались. Дорожка протоптана. Все остановились перевести дух.

— Это верно, да, что-то я не сообразил, — огорчился Клочков. — Ко мне нельзя, Лулу, там нас обязательно накроют.

— Куда же идти, ваше благородия? — озадачился Белугин.

— Знаю, куда. Идем, — скомандовала Рашель. Через четверть часа она постучалась в дом. Горничная, увидев незваных гостей, всплеснула руками, запричитала. Через минуту на шум выбежала встревоженная Софья Михайловна, а следом в халате и науснике Николай Владимирович.

— Мы не пьяны, Николай Владимирович, мы не пьяны, ваше высокопревосходительство, — попытался сказать чиновник по особым поручениям и потерял сознание.

Когда Фернандо увидел с эстрадки, что Кияшко ударил Клочкова по голове чугунной сковородкой, взятой тут же со стола, он сделал вид, что ничего не заметил. Мало ли какие у русских обычаи? Но, как только ротмистра вытащили из-за стола якобы пьяного, а следом за ним и Анастасию, тоже получившую свое, он отложил гитару и, незаметно проследив за приказчиком до самого сарая, вернулся в зал.

А после очередного номера, когда Рашель высвободилась из объятий Гантимурова, певшего ей дифирамбы (тот уже проводил Лялю Петровну баинькать), сообщил о случившемся.

Сначала Рашель испугалась, у нее брызнули слезы. Когда-то в Париже, когда она еще «кнопкой Рашель» танцевала в варьете «Трианон», она видела такие сцены каждую неделю. Бывало, что в рубке поневоле участвовали все посетители варьете.

Именно в одной из таких драк она лишилась своего первого покровителя и дыхателя, что, впрочем, положительно отразилось на ее дальнейшей карьере. И в дальнейшем связь с уголовным миром у нее была только платонической. Но ужас, который она пережила за те несколько месяцев в варьете, запомнила на всю жизнь.

Поэтому, когда Томатито ей рассказал об инциденте, душа ее ушла в пятки. Затем понаблюдала за Самсоном Кияшко, который и не думал ничего скрывать, а тут же, как освобожденный хозяин, доложил ему на ухо про свой подвиг, все время потирая ушибленную в сарае руку. Улучив момент, когда про нее забыли, она с Белугиным и Томатито вышли на улицу, якобы вдохнуть свежего воздуха.

Кодылев зажигал один.

— Боже ж ты мой, какие страсти! — воскликнула Софья Михайловна, когда супруги улеглись в постель после хлопот с расселением гостей. — Неужели это все из-за любви? Или тут что-нибудь еще, душенька моя, подмешано, и ты меня просто в неведении держишь?

— По всем приметам печать любви, естественно, просматривается, что тут еще может быть?

— Только не ври, ваше высокопревосходительство.

— Жизнь научила, матушка, не исключать самых невероятных совпадений. К тому же Клочков по должности занимается весьма щекотливыми делами, это опасная профессия и, как следствие, притягивает к себе как магнитом всякие злоключения.

— То есть хочешь сказать, к Чурину подбираетесь?

— Упаси меня Бог! — губернатор перекрестился на икону, слабо освещенную лампадкой.

— Значит, я могу надеяться на твое благоразумие? — спросила супруга.

— Да я сам думаю, чего они там не поделили? Мало чего не случается? Завтра выясним. Утро вечера мудреней. Давай спать.

Помолчали.

— Скажи, пожалуйста, а у Атласова, ты говорил, тоже на Камчатке какая-то присуха была?

— Как не быть? Ительменка Алена Жиркова, у них и ребенок рос, девчонка Дашка. Но думаю, в действительности, не одна она. Это только, кого мы знаем. Но вот она-то как раз и жила при Верхнекамчатском остроге.

И правда, Атласов даже в каземате Якутского острога и вспоминал и тосковал об Алене. Весть о том, что у нее родилась дочь, догнала его в Иркутске. Братья Поповы, даже не думая о каких-то его отношениях с Аленой, рассказали ему обо всех, кого знали, кто что делает, чем занимается, все новости.

— А отчество-то у девчонки какое? — поинтересовался Владимир Васильевич.

— Владимировна... — Братья переглянулись между собой. Первым ахнул старший Данила. — Да неужто твоя, Васильич?

— Выходит, моя, если Владимировна, — признался старый казак. Доселе детей у него не было. Жена Василиса утопла на Лене, провалилась под лед, когда ему было сорок лет. После нее он не женился, несмотря на то что казак был видный и многие девки глядели на него с надеждой и озорным прищуром.

А в Верхнекамчатском остроге он поранил ногу, и если б не Алена Жиркова — шаманка и врачевательница — мог бы и антонов огонь вспыхнуть, тогда не токмо ноги, и жизни бы лишился. Но Алена выходила его. В благодарность он подарил

ей серебряную цепочку, которую снял с шеи. И в продолжение службы продолжал видеться с ней в деревне, познакомился с родителями и родственниками.

При этом вел себя не как дикий и страшный казак, что было для того времени нормально, а обыкновенный больной и, кроме того, сильный и мужественный мужчина, пораженный красотой женщины. Родители и вся деревня отнеслись к их союзу более чем благосклонно, это могло принести их роду значительную выгоду и привилегии.

Но уже через несколько месяцев Владимир Васильевич засобирался в обратную дорогу, в Якутск. На последнем свидании Алена плакала и не сказала ни слова. Атласов обещал вскоре вернуться, но и сам не верил, что это произойдет.

Какова же была его радость, когда он узнал, что Алена родила ему дочь. Крепкий мужчина и сильный воин плакал от счастья. И уже знал про себя, что непременно вернется на Камчатку, если не в этом году, так в будущем. Должен вернуться.

Но судьба заставила его ожидать встречи с семьей в подвале Якутского училища еще долгие четыре года.

Клочков провалялся сутки. Конечно, если бы он лежал дома, то скорей всего встал на другое же утро, но в доме губернатора этого не могли позволить. Человек пострадал на службе, геройски отличился, все могло вообще закончиться достаточно печально, так что им — Клочкову и Настасье — даже повезло, что так все закончилось.

— Просто счастливички! — сказал Николай Владимирович.

Впрочем, с утра в компании Чурина наблюдалось некоторое оживление. Вероятно, хватились беглецов, искали, не нашли, совещались, что делать и как действовать в самых разных ситуациях. Василий Осипович заглянул к губернатору в кабинет, потом зачем-то пошел в гости к Софье Михайловне обменяться впечатлениями о прошедшем концерте.

Да и не только он. С утра в Петропавловске-Камчатском началось обмывание косточек французской певицы и продолжалось до конца рабочего дня. Говорили примерно одно и то же.

— Это чудо!

— Европейский шик!

— Одета с иголочки! Я видела ее костюм в последнем парижском журнале!

— А вы заметили эту челку Мистингетт? Она ей, несомненно, подражает.

— Дамии — согласна, но Мистингетт, нет, нет и еще раз нет!

— Скажите, брови лучше брить или выщипывать?

Обсуждали все: наряды, которые пришли-таки в последний день прямо к концерту, репертуар, многие хорошо знали и понимали французский язык, и необыкновенную музыкальность и виртуозную сыгранность всего ансамбля.

— Ну, французы — понятно, но Кодылев-то наш каков! — говорили через одного.

В конце концов камчадалы пришли к одному мнению — они были свидетелями небывалого, редкостного концерта. Как говорят, один на тысячу!

У дома губернатора, где остановилась французская дива, с утра стоял народ, не занятый в трудовом процессе, ожидавший, когда дрогнет портьера в ее окне, когда она выйдет из дому по какой-нибудь надобности. Не может же она весь день дома сиднем просидеть. В руках они держали программки вчерашнего концерта, чтобы французская певица оставила на них свою роскошную подпись-виньетку.

Коллежский ассессор Лех написал для нее стихотворение, писал всю ночь в полупьяном бреду и послал в письме, которое украсил аппликациями бабочек из разноцветной бумаги. Стихи были написаны на русском, но Лех другого не знал, поэтому не мучился оттого, что Рашель Бутон могла не только не понять их, но даже и не прочитать. Он писал сердцем.

*Вы вошли на сцену
В блеске перламутра,
В переливах шелка,
В шорохе пера.
Подошли к роялю,
И упрямо челка
На глаза упала.
Стихли веера.
Грациозно набок
Голову склонили.
Спели ариозо.
Приняли букет.
И в муар кулисы,
Словно в даль, уплыли.
Я покинул залу,
Уронил билет.
В гримуборной лежа,
Вы смеялись звонко
Над моей запиской,
Что нашли в цветах.
И слепое эхо
Повторяло громко
Ваш колоратуру:
«Ха-ха-ха — ах, ах!»*

Настасья Чурина чувствовала себя гораздо лучше. Клочков пригласил ее к себе в комнату и долго расспрашивал о вчерашнем, об Алексе Кальянове, о Самсоне Кияшко. Спросил и о Миядзаки. Настасья охотно рассказывала, благодарная за спасение.

— Он и вчера сидел в кабинете, но ни разу к людям не вышел. Забился как таракан в щели и не слушал никого, там Самсон сидел, Савелий и он, и пел что-то свое с закрытыми глазами. Ему ведь завтра поутру на Шумшу уходить.

— Уходит, значит, — вздохнул ротмистр с неудовольствием. Если Чурин и компания все-таки были свои, кровные, с ними он не терял надежды договориться, хотя надежда и была ничтожной, то с Такеши Миядзаки, лейтенантом японской армии, им было не договориться никогда. Он был врагом, а враги заострены только на уничтожение, другого решения, кроме отложенной победы, для них нет.

И то, что он уезжает, вовсе не внушало Клочкову радости, враг не побежден, он просто лишает его справедливой виктории. Уезжает, чтобы набраться сил и вернуться, он что-то задумал, так просто он не мог уехать. И у него есть причина для отступления. Он затравлен от постоянного чувства опасности. И уверенность, что они еще когда-то встретятся, скрадывала временное поражение Клочкова.

Рашель весь день, сколько возможно, не отходила от него и Настасьи. Вместе решали, что с ней делать дальше. На Камчатке Савелий Игнатьевич житья ей не даст после случившегося. А уж Самсон постарается все представить таким об-

разом, что сама Настасья останется во всем виновата. И в случае с сыном Чурина Кальяновым, и с Клочковым.

— С Алешкой, каюсь, слабость была. Полюбились мы друг другу с первого взгляда, как приехал. Но только в этом году все произошло. Кто уж там виноват, не знаю, да и не чувствую я никакой вины, только любила его, а он меня, и больше ничего. И скрыть было нельзя. Самсон проходу не давал, как щенок промеж нас вертелся, в глаза заглядывал. Потом деньги требовал за молчание.

Поскольку Чурин и Настя не были венчаны, то Софья Михайловна предложила ей тайно сесть на пароход и уехать на родину под Владивосток. Глаза у Насти загорелись. Это была единственная реальная возможность спастись. А Алеше потом сообщить ей адрес.

— Вдруг все сложится в его пользу, — врал Клочков.

На том и порешили.

Ночью Клочков не мог спать, ворочался с боку на бок, вздыхал. За стенкой спала Рашель, но пройти к ней через большую проходную комнату, в которой спала Настя, а также мимо спальни губернатора, не решился. Паркет скрипел так, что казалось, все слышат всё.

Как вдруг за окном услышал слабый шорох. Сердце сразу застучало. Безошибочное чувство опасности, обостренное у военных, и в этот раз не подвело. Через минуту он понял, что по стене с кошачьей ловкостью поднимается человек. Комната, в которой он спал, находилась на втором этаже, и путешествие по ровной поверхности стены заняло у ночного гостя довольно продолжительный отрезок.

Клочков слышал, как человек отдыхает, как переступает мягкими ногами по едва заметным выступам, как подтягивается на пальцах. Наконец в квадратной раме окна показалась голова, повязанная платком, и руки нежданного гостя. Несомненно, это был японец. Клочков узнал его и осторожно из-под подушки вытащил наган.

Толкнув створки рамы, не закрытые на задвижку, Миядзаки аккуратно перенес тело на подоконник, и когда уже практически готов был соскочить на пол, Клочков включил ночник. Диверсант тотчас увидел наставленный на него револьвер и застыл как вкопанный, но ни растерянности, ни страха Клочков не увидел на его лице. Тихо, чтобы не разбудить никого в доме, ротмистр обратился к ночному гостю.

— У нас говорят, уважаемый Такеши-сан, если гора не пришла к Магомету, то Магомет идет к горе. На всякий случай, я рекомендую вам не двигаться, не то я продырявлю вас насквозь. Этот наган еще никогда не давал осечки. Самое отвратительное, что я сделаю это с удовольствием, хотя кровожадным себя отнюдь не считаю. Вчера утром в город привезли раненую девушку, у которой вы убили мужа и двух братьев. Я должен был бы арестовать вас за одно это, но, скажу честно, мне этого не позволяют некие обстоятельства, которые называют «Большой политикой», к тому же у вас здесь высокие покровители. Меня лично соображения большой политики не очень волнуют, я просто убил бы вас как собаку, в память достойного офицера и моего товарища Максима Сотникова, которого вы подло и трусливо зарезали в спину. И я просто жду, когда вы хотя бы пошевелите пальцем, мне нужен хотя бы повод. В отличие от вас, не могу хладнокровно убивать. Одно движение! Кончиком мизинца, умоляю!

Миядзаки не шевелился.

Клочков вздохнул.

— Тогда проваливайте, но на прощание скажу вам со всей убежденностью, что вы, с вашей фанатичной настойчивостью возвращаться, все равно расшибетесь о Камчатку и тогда вспомните меня, но будет поздно. Даже не сомневаюсь, что мы еще увидимся в будущем, и обещаю, что никакое заступничество вам тогда не поможет. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы убить вас.

Такеши Миядзаки молча слушал Клочкова. Глаза его ничего не выражали. Казалось, он вообще смотрел мимо — в стену.

— А сейчас, держа руки на подоконнике, вы поворачиваетесь и уходите отсюда так же, как пришли.

Японец не двигался. Клочков медленно поднялся с кровати, не сводя нагана с ночного посетителя, и встал прямо напротив него. Бесстрастное лицо противника показалось ему скорбной маской, словно он не дышал, точно был представителем какой-то другой цивилизации. Хотя на самом деле, по большому счету, так и было.

Они долго стояли друг перед другом. Клочков понимал, что даже невооруженный японец представлял собой абсолютную угрозу для его жизни в любую секунду. Рука его от напряжения затекла, палец на крючке револьвера начал неуверенно дергаться. Это была война нервов, в которой проигрыш был равен жизни. Наконец Миядзаки первый едва заметно выдохнул, медленно перенес ноги за подоконник и пропал в темноте. Даже приземления его чиновник по особым поручениям не услышал и, чтобы удостовериться, ушел ли противник, выключил ночник и осторожно выглянул на улицу.

Переулочек был пуст.

В предутреннем тумане японский миноносец снялся с якоря. Такеши Миядзаки стоял на борту и с грустью читал давно полюбившиеся ему строки:

В поле выходим — трупы в кустах.

В море выходим — трупы в волнах.

Сакуры ветви тоже завянут.

Все живые мертвыми станут.

— К чему это вы, Такеши-сан? — спросил его капитан миноносца.

— Не знаю. Моя жизнь связана с этим полуостровом. Я точно привязан к нему. И боюсь, что, когда приеду снова, это будет в последний раз. Меня или убьют, или...

Пророчество это сбылось через девять лет в июле 1922 года, когда Такеши-сан прибыл в Камчатскую бухту на крейсере «Нийтака». Японцы хотели воспользоваться отсутствием на полуострове законного представительства и административного аппарата РСФСР. Если бы им это удалось, Россия навсегда лишилась бы Камчатки и Командорских островов, так же как Дальнего и Порт-Артура, превратившихся в Дальянь и Люшуань.

В августе крейсер отправился контролировать рыбалку на западное побережье в тот же район Озерной реки, где Такеши Миядзаки семнадцать лет назад коварно ножом в спину убил Максима Сотникова.

Что вело его именно на это место? Ностальгия ли по молодости, тщеславие непобедимого самурая, неутоленная месть ли за униженного кумира и аристократа Сечи Гундзи, а может, уязвленная гордость за последнее бесславное посещение Камчатки и оскорбительная отповедь Клочкова — так и осталось неизвестным.

В итоге плавание стало роковым.

Начавшийся внезапно тайфун несколько раз менял направление атаки, в итоге низкобортный крейсер захлестнуло волнами, он потерял управление и затонул. Со

всего корабля спаслось только шестнадцать человек, — тех, кто успел добраться до берега вплавь. Известно, что музыканты «Нийтаки» до самого конца играли национальный гимн «Кими-императора».

Останки моряков доставили в закрытых гробах в Петропавловск. Военная депутация полуострова, а также городской голова возложили венки с лентами, на которых было написано «Безвременно погибшим морякам крейсера «Нийтака» от гарнизона города Петропавловска-Камчатского».

Среди живых японского лейтенанта Такеши Миядзаки не обнаружили.

Но еще до самого начала Второй мировой войны японские корабли продолжали патрулировать вокруг Камчатки...

Известие, что к острогу приближается Атласов, неприятно поразило Данилу Анциферова. За несколько лет на Камчатке он привык сам решать все вопросы, связанные с торговлей, сбором ясака, отношениями с камчадалами и якутским воеводой. Худо-бедно, а он снова взял власть в свои руки. Нашел слова, договорился со старшинами деревень, обманом и посулами вернул хрупкий мир на полуостров.

То, что когда-то они вместе пришли сюда и многое пережили, осталось в прошлом. Много нового произошло за последнее время, кануло в Лету минувшее, незначимыми уже казались былые общие победы, глубокой дружбы между ними не было никогда.

Атаман не советовался в военных делах, не выворачивал ему душу Анциферов, не строили общих планов, не допускали до себя, ограничиваясь служебными отношениями.

Властью делиться Данило не хотел, его полностью устраивало положение дел. На полуострове он был царь и бог, и любое посягательство на свои права пресекал на корню, жестко и страшно. Иначе с местным людом было нельзя. Пыточную надолго не закрывали.

Атласов мог прийти быстрее, но он подолгу останавливался в каждом селе, собирал жалобы, расспрашивал людишек, кому и чем власть не угодила. А таких находилось в камчатской земле немало. И все бы ничего, если бы это они вместе с ним, Данилой, придумали. Поспросили людей, пообещали разобраться, подарили надежду на лучшую жизнь, пострашали особо притких, да на этом и успокоились бы.

Ан нет. Атаман собирает жалобы против Данилы, а стало быть, он уже ставит себя выше него, инспекцию учиняет, и ничего хорошего это не сулит, Анциферов хорошо знал, кого и сколько обидели его предшественники и скольких — он сам. Да и не станет особо разбираться Атласов. Анциферов знал его крутой норов. Не для этого он едет. А чтобы самому встать на Камчатку и повелевать одному.

К тому же он везет распоряжение якутского воеводы с разрешением наказывать за преступления батогами как инородцев, так и своих, невзирая на чины. Это уже явно относилось к Анциферову.

Вот эти соображения Данило и выложил на круге собравшимся казакам — Ивану Пермякову, Федору Копылову, Степану Усову да Ефиму Кузнецову.

Лучина ясно освещала лица собравшихся. Одна дума тревожила и объединяла всех.

Слово взял Иван Пермяков, сводный брат якутского Ерофея, коренастый низкорослый казак, известный своим упрямством.

— Я так понимаю, казаки, что всем нам тут под кнут придется ложиться, зная характерец Владимира Васильевича. И не все из-под того кнута живыми встанут, — и замолчал, испытующе поглядывая на товарищей.

— И что ты предлагаешь? — спросил прямой Ефим Кузнецов. — Под ним сотня казаков, а у нас погреба и запах пороха давно забыли.

— Ни с казаками, ни с властью ссориться не след, — осторожно начал Федор Копылов, самый старший из них. — Выходит, казаков надо супротив атамана развернуть.

— Каким же это образом? — спросил недогадливый Степан Усов.

— Дурное дело нехитрое, — обмолвился Анциферов.

— А отделенный от казаков Владимир Васильевич куда спокойнее станет, — продолжал Копылов. — Да и годы уже у него не те, чтобы насмерть грызться.

— Не скажи, — не согласился с ним Данило. — Он сейчас посла якутского острога еще лютее стал, зверь зверем, говорят. Ни с кем не советуется, ни с кем не делится. Веньку Слободчикова приказал насмерть запороть заслушание. Тот будто в пьяном виде коряжского мальчишку по нечаянности угробил.

— Что ж получается, братцы? — спросил жалобно Степан Усов.

— А получается, братец ты мой, — сказал Копылов, оглаживая окладистую бороду, — что раз вместе живем, вместе и держаться надоть. Один колосок легко порвать, а ты пучок возьми — не получится разаз.

— Значит, в главном сошлись, а как дело обставить, надо головой думать. И вот еще что, — Данило Анциферов поднял покалеченный в бою палец, — Козыревскому Ивану Петровичу надо сообщить об своих намерениях в Большерецкий острог. Судьба у нас одинакова, и не думать, что Иван сторону Атласова возьмет, памятуя, что промез них вышло.

— А я не знаю, — завертел головой суетливый Усов, — чего у них вышло-то?

— Бабу Василису не поделили. Иван Петрович любил ее шибко, да супротив Атласова не пошел. С тех пор они друг друга не жалуют, — рассказал Ефим Кузнецов. Его старший брат приходился Василисе дальним сродственником.

— А ежели Иван Петрович с нами в ряд встанет, то и в Якутске задумаются и правильно все поймут, — подытожил Анциферов. — А Ерофей-то Пермьяков первый перекрестился, когда Владимира Васильевича на Камчатку отправил с глаз долой.

— Он у него там в остроге как кость в горле сидел, — кивнул Иван.

— Точно на пороховой бочке, — подтвердил Анциферов и снова поднял палец. — Значит, на том и порешим, казачки...

Ранним зимним утром, когда Атласов подходил к знакомой деревушке, что стояла последней на его пути к Верхнекамчатскому острогу, сердце его томило дурное предчувствие.

Как-то примет его Алена? Какой она стала? Не вышла ли замуж? Похожа ли на него дочь? Знает ли русский язык? Сумеет ли она полюбить его, страшного и косматого разбойника? Признает ли за отца? Все эти вопросы спутывались в его нечесаной голове, и ни на один он не находил нужного ответа.

Собаки, чую деревеньку, с удвоенной силой тащили за собой нарты с притороченными к ним четырьмя медными пушками в три пуда, около сотни пищалей, полтысячи ядер, десять пудов пороху, столько же свинца и пять пудов фитиля.

Атласов, одетый в глухую меховую одежду из шкуры и собачьей шапки, шел с нартами на скользящих лыжах. Да и все казаки в его отряде были одеты по-ительменски —

в кухлянки рубашечного покроя, в меховых штанах и торбасах, так что издали и не отличить от местных жителей. Лучше этой одежды для жизни на Камчатке не было.

Еще издали услышав бабий вой, Атласов почувал неладное. Лыжи его поневоле заторопились вслед за собаками, и весь отряд сжался и замолчал, только крики каюров простегивали морозный воздух.

Деревню к окраинной избе прошли под угрюмыми взглядами людей.

Возле избы Жирковых стояли мужчины и женщины, бабы плакали, закрывая рты руками. Алена с обезображенным лицом, прошитая десятком стрел, была словно прибита к дому. Атласов сразу узнал ее. Цепкий взгляд его, быстро оценив обстановку, выделил в толпе девочку лет восьми. Она стояла, обхватив ноги бабушки. Поздоровавшись с ней одними глазами, он вопросительно кивнул на девочку, та в ответ, не прекращая кричать от горя, тоже молча кивнула.

Подойдя к Алене, он, аккуратно обломав оперенье стрел, снял с них тело, положил его на снег, затем бросил обломки стрел под ноги людям, глухо спросил:

— Чьи?

Взгляд его, тяжелый и страшный, наткнулся на отворачивающихся людей. Они не знали, как на это ответить. Что это было? Мечь ли лихих камчадалов за подхотившего Атласова? Или какое-то ритуальное убийство? Снег, валивший с утра большими разлапистыми хлопьями, скрыл все следы.

Тяжелыми шагами он подошел к девочке и, развернув к себе, заглянул в лицо. Материнские и отцовские черты причудливо перемешались, сотворив на свет камчадалское дите, сразу ставшее самым родным. Никого ближе этого ребенка у атамана на земле не было.

— Я тебе подарки привез, — прошептал он белыми от стужи губами.

Девочка испуганно отвернулась от него и с криком забилась в колени бабушки.

Казак Григорьев, выехавший с передовым отрядом и ночевавший в деревне, пьяный в стельку, оскальзываясь и падая на подгибающихся ногах, бежал на доклад, но, срубленный шашкой атамана, снопом упал в двух шагах от него. Кровь брызнула на снег и тотчас под хлопьями падающего снега превратилась в седую бурую корочку, через пару минут и вовсе не заметную.

— За то, что недосмотрел!

Атласов со товарищи пил всю ночь, допрашивал казаков передового отряда одного за другим, но они ничего не слышали и не видели. С утра атаман встал пораньше и коротко распорядился своему заместителю Климу Устюгову:

— Деревню сжечь.

И вышел на обжигающий легкие воздух.

Вместе с ним в нартах под тулупом отправилась едва живая от страха девятилетняя Дарья Атласова.

Когда Ляля Петровна ошиблась дверью и застала в комнате губернаторши целующихся Рашель и Ключкова, возмущению ее не было предела. Она вспыхнула как маковый цвет, с силой хлопнула дверью и чуть ли не бегом бросилась по дому в поисках Софьи Михайловны.

Та сидела в библиотеке с Мишей и Сашей и рассказывала им об Атласове. Увидев трясущуюся от ярости подругу, Софья Михайловна попросила ребят выйти на минуту из библиотеки, а затем сказала, уже догадываясь, о чем может идти речь:

— Во-первых, Елена Петровна, в этом доме не принято являться без доклада, а во-вторых, уж коли вы явились, то последите хотя бы за своим лицом.

— А что такое с моим лицом, ваше высокопревосходительство? — Ляля Петровна заводилась все больше.

— Вы на себя не похожи.

— У меня просто слов нет, — вице-губернаторша взмахнула кудрями так, что они ударили ее по глазам. — Хорошо, вы держите у себя эту пошлую французскую певичку, от хрипа которой стонала от счастья вся мужская половина Петропавловска, хотя я могу хрипеть и не хуже. Я согласна с этим, пусть живет, раз у нас нет приличной гостиницы. Но зачем вы поселили у себя еще этого противного, гадкого Ключкова?

— Чем же он так вдруг стал вам противен?

— Он всегда был мне противен! — взвизгнула вице-губернаторша. — Противный волосатый сатир! У него даже на спине волосы растут!

— Да при чем здесь эти подробности, Ляля Петровна?

— У него есть своя квартира, ему есть где жить, Софья Михайловна, неужели вам непонятно, что вы потворствуете грязному разврату самого пошлого французского свойства?

— Ах, вот вы о чем? Ну, это просто объясняется. Павла Михайловича избили позавчера ночью неизвестные люди, и его принесли сюда во избежание дальнейших эксцессов со стороны этих страшных людей.

— Каких? — глаза Ляли Петровны округлились.

— Этого я не знаю. А что касается остального, то... — Софья Михайловна выждала паузу и, вздохнув, сказала с завистью: — Я не могу осуждать любовь двух взрослых людей, к тому же не обремененных семейными узами. Насколько мне известно, они полюбили друг друга уже при первой встрече во Владивостоке. Это романтическая история, мне ее в подробностях рассказывала мадам Бутон, это уморительно смешно и чрезвычайно романтично.

— Роман... что? — задохнулась от гнева Ляля Петровна. Какая романтическая история, когда он уехал, влюбленный в нее! Как он метался, потерянный, по всему причалу, когда она не пришла к нему проститься? Как стоял на корме и смотрел-высматривал, не покажется ли она в окне, в то время как она видела его в бинокль из-за занавесочки и хохотала с Палашкой на весь дом.

Вот так любить и в один день разлюбить?! Разве это не оскорбительно для женщины? Разве это не чудовищно? Почему он не бросился из-за нее в пучину моря?! Не отравился?! И неужели этого не понимает Софья Михайловна, когда-то называвшая ее своей близкой подругой? А теперь играющая роль отвратительной сводни в собственном доме.

— Ноги моей больше у вас не будет, — только и смогла выговорить Ляля Петровна и, не дожидаясь ответа, выкатилась из библиотеки вон.

— Дети, — позвала Софья Михайловна Сашу и Мишеньку, — заходите, Ляля Петровна ушла и больше не придет.

На что старший Саша рассудительно сказал:

— Это не та гостья, маменька, по которой скучают.

А Миша, будущий хореограф, добавил, презрительно скривив губы:

— И танцует она как-то... некрасиво.

Верхнекамчатский острог принял Атласова неприветливо — закрытыми воротами. Атаман спустился с нарт, подошел ко рву и крикнул во все горло:

— Эй, Данило, открывай ворота, не признал, что ли?

Караульный на башне, скроив виноватую рожу, отвечал:

— Не велено никого пущать, Владимир Васильевич!

— Это как же понимать? — грозно спросил атаман.

— Данило Дмитриевич изволят трапезничать, а опосля, сказывали, примут, ожидайте.

— Ты что ж, смеешься надо мной, шут гороховый? А ежели мы сейчас вашу хатку бобровую по бревнышкам разнесем?

— Оно, конечно, можно, — почесался караульный, — но и у нас все фитили в руках дрожат.

— Федос, ты, что ли? — встал с ближних нарт Андрюха Тутышкин.

— Никак кум? Андрюха, ты?

— Я, садовая твоя голова! Я тебе подарки от сродственников привез, от матери твоей. Чего у ворот томишь?

— Не велено, Андрей, — вздохнул Федос.

Лет десять назад Атласов не задумался бы ни на секунду тотчас взять острог и сам бы первым пошел на приступ, но дочка, сидевшая в ближних нартах, уже весело болтала на смеси русского и ительменского с Климом Устюговым. И грубое, словно вытесанное из камня, старое казацкое сердце дрогнуло и смягчилось. Рисковать дочкой он не хотел и не мог.

Но перед лицом отряда Владимир Васильевич выглядел битым, что не могло не отразиться на их отношении к нему. Бывалые вояки, служивый люд и одновременно разбойники с большой дороги, они, как волки, не прощали слабости ни себе, ни атаману.

В томительном ожидании прошли пять минут. Наконец в окошке башни показалось строгое лицо Данилы Анциферова.

— Здравствуй, люд служивый!

В ответ камчатский голова получил дружное молчание.

— Ну, коли так, оставайтесь за воротами, а Владимир Васильевич, милости просим, токмо без оружия. И вы, казачки, тоже все складайте оружие аккуратно, иначе останетесь на морозе до второго пришествия, а ежели хотите, отправляйтесь в Нижнекамчатск, там вас тоже ждуть как манну небесную.

В казаках пошло злобное оживление. Остаться без оружия все равно, что быть обесчещенным, но перспектива нового похода до Нижнекамчатского острога тоже никого не радовала.

Андрей Тутышкин, стоявший ближе всех к Атласову, прошептал:

— Позволь пальнуть, атаман? Ей-богу, сниму. Как белку — в глаз.

— Я тебе сниму, — глухо ответил Атласов, затем стянул с себя шапку, отороченную птичьими перьями, взял в охапку дочь в тулупе и молча пошел к воротам, раскрытым ровно на одного человека.

Данила Анциферов с ближним кругом казаков встретил его в центре двора.

— Ты почто людей на морозе держишь, Данило? Гляди, осерчают казачки, хлопот не оберешься, — сказал Владимир Васильевич, поставив дочь на снег.

— Да ты нас, атаман, не пугай, мы пуганые, — ответил Федор Копылов, поигрывая у ног нагайкой.

— Негоже, атаман, деревни жечь. Не для этого тебя якутский воевода к нам послал. Народ по миру пустил, над женщиной надругался. Чего нам после этого в Якутск отписывать? — спросил Иван Пермяков строго.

— Тут еще разобраться надо, кто над ней поглумился, — Атласов смотрел на казаков тяжелым недоверчивым взглядом. Нет, не ждать ему здесь пощады.

Но Данила не слышал атамана, а продолжал гнуть свое.

— А снова поднимется народ, что делать будем?

— Воевать будем, а чем, я привез, в нартах лежить, мерзнуть.

— За то, что привез, спасибо, а за то, что натворил, будешь отвечать по всей суровости закона.

— А кто ж тут этот закон представлять будет?

— Я тут закон, Владимир Васильевич, и пока ты во всем не покаешься, грамоту твою мы рассматривать не станем, а свою указку Ерофею Пермякову отпишем.

— Отпишем, отпишем, все как есть, — подтвердил сводный брат Ерофея Иван.

— В кандалы его, — коротко бросил Анциферов.

И тотчас со всех углов, точно свора псов, кинулись на атамана казаки. От неожиданности Атласов поначалу не слишком круто, пожалев силушку, разворотил первую волну нападавших, но вторая волна опрокинула его на спину, повисла на руках и ногах, скрутив что было сил. Но и тут он нашел силы освободиться, поднялся и отбросил от себя атаковавших его воинов. Шапка в борьбе спала на снег. И казаки было засомневались, стоит ли решаться на третий штурм, но подкравшийся сзади Степан Усов страшным ударом кистеня рассек ему голову, тем и разрешив все дело.

Дашка Атласова закричала, увидев кровь на лице отца. Какая-то женщина сбежала с крыльца и, схватив ее в охапку, унесла в дом.

Атаман не упал, а стоял и шатался, как старый дуб в бурю. Только сейчас до него дошел злой умысел его бывлых сотоварищей. Весь их немудрящий расклад лег перед его внутренним взором, и стало ужасно горько и тоскливо, что не сразу понял он, не догадался об их злобной думке. И, собрав все силы, Атласов страшно, как старый волк, учувший смерть, завыл на угасающее за серыми облаками солнце.

Все тотчас расступились. Атласов сделал два шага к Даниле Анциферову и упал навзничь.

— В холодную его, — распорядился Ефим Кузнецов.

Софья Михайловна остановилась передохнуть. Судьба атамана Атласова захватила ее. Дети сидели, не шелохнувшись. У старшего Саши в глазах стояли слезы.

— Почему же он их не раскидал?

— Потому что победить всех нельзя, наверное.

— Разве все такие, как они? — задал прямой вопрос младший Михаил.

— Нет, — сказала мать, — думаю, что зла и добра в этом мире поровну, как и всего остального, но зло обычно при ближайшем рассмотрении трудно определить, потому что оно часто и весьма искусно притворяется добром.

— А Атласов — зло? — вдруг строго спросил Миша.

— Судя по тому, каким его запомнили в истории, он, действительно, был противоречивой личностью. Его отношение к Камчатке и людям, ее населяющим, менялось с течением жизни. Сначала это был неизвестный, недружелюбный и зачастую враждебный край, где не ждали ни русских, ни японцев, ни американцев, и это истинно так, но безусловно, что почтительное отношение к этой земле все-таки возникло в сознании наших первопроходцев. И у Атласова в первую очередь, — Софья Михайловна глубоко вздохнула, — по крайней мере, он так описал это в своих «скасках» правительству. От варварского обладания до изумления и дальше к разумному сбережению и сыновней почтительности.

А если человек способен изумляться, значит, у него живая душа. Конечно, он совершал страшные и непоправимые ошибки, но диктовано это политической ситуацией и, конечно, своенравным, необузданным характером. Он был искренен,

не подличал и не предавал. Слову его верили. Он умел любить и ненавидеть. Жил, не скрываясь. Открыто и порой бесшабашно. Конец его жизни глубоко трагичен.
— Он что — погиб в тюрьме?

Очнувшись в подвале острога, Атласов услышал шедший с улицы шум праздника. Данила Анциферов закатил пир для новоприбывших. Тут же под навесом накрыли столы, на кострах готовили оленину, варили уху, пили медовуху.

Все казаки Якутска приходились камчадалам хорошими знакомыми или даже родственниками, вспомнить и поговорить было о чем. Менялись подарками, новостями.

Арест атамана не отразился на их отношениях. Клим Устюгов не полез на рожон, а взвесив все за и против, пришел к выводу, что этак-то, пожалуй, будет и лучше. Войско, изрядно измотанное долгим походом, радовалось отдыху, и арест вожака воспринимали как недоразумение, которое скоро разрешится. Да и самому Климу повышение по службе было нелишним. После разговора с Анциферовым он еще более упрочил свое положение и ходил по острогу подбоченясь, присматривая свежим взглядом за нежданно доставшимся ему хозяйством.

И только связанный по рукам и ногам Атласов в подвале внушал ужас. А ну как вывернется?

Дарья Атласова, потрясенная гибелью матери и еще не привыкшая к отцу, забралась на полаты в женской половине и, укрытая тем же тулупом, делала вид, что спит. Слезы безостановочно лились из ее глаз. Женщины после долгих уговоров спустили ее вниз, покормили, затем она вновь забралась под отцовский тулуп и наконец уснула.

Сначала ей снилась мать в лесу, они обирали куст жимолости. Собрав жменю, Алена Жиркова подносила ее дочери ко рту, девочка ела с руки, и сладкая ягода во сне была соленой от слез, а потом большой широкоплечий мужчина с бородой и белыми зубами смеялся и уводил от нее мать все дальше в чащу. Дашка кричала и бежала за ними, но догнать не могла.

Ей хотелось услышать от них какие-то неслышанные и незнакомые слова, но они так и не обернулись.

Ночью, когда все улеглись куда попало, пьяные и разморенные теплом, в подвал острога проскользнула тень. Скрип открывающейся двери скрыл порыв ветра.

Атласов тотчас поднял голову. Правый глаз его совсем не видел, закрытый космами в спекшейся крови. А через несколько мгновений понял, что веревки, впившиеся в тело, режутся одна за одной. Но и после того как последняя веревка упала на грязный пол, он не смог встать сразу и только спросил:

— Это ты, Клим?

— Это Андрей Тутышкин, Владимир Васильевич, нельзя вам тут оставаться. Бегти надо. Коли живым хотите остаться.

— Далеко идти?

— То вам боле моего ведомо. Можя в Большерецк, можя в Нижнекамчатский острог. Можя там другие порядки. А здесь загрызут.

Атласов и сам понимал это. Пролежав несколько часов в холодном, он успел о многом подумать. Жизнь не складывалась в стройный ряд, она гнала его все дальше и дальше, не оставляя других возможностей, становясь в дороге все уже и уже, постепенно и вдруг превратившись в тайную и незаметную для чужих глаз тропинку.

Начать жить сначала, уйти с этой дороги не представлялось возможности, она была определена десятки лет назад, и отказаться от нее — значило отказаться от

самого себя, от своих дел, надежд и веры в то, что все делалось во славу и благо отечества.

От Тутышкина пахло медовухой и сладким медвежьим мясом.

Покряхтев от боли, Атласов прислонился спиной к стене подвала, спросил безучастно:

— И на чем я пойду? В ночь? В пургу?

— Пурги нет. Ясная ночь. А идтить сподручнее на лыжах, на лапках плетеных. Собак сейчас не собрать, лай поднимут. За ночь следы занесет, и искать не станут. Еду я на первое время в мешок положил.

— Со мной пойдешь, — распорядился атаман. — Один не дойду.

Даже в темноте было заметно, как побелело лицо Тутышкина.

— С тобой хоть куды, — твердо сказал он.

Через час сборов из острога вышли два человека и, закрывая лицо от налетающих порывов ветра, несших мелкую острую крупку снега, скрылись в ближнем прилесье.

— Это кто? — спросила Рашель, как только Ляля Петровна закрыла дверь.

Клочков сделал удивленное лицо.

— В каком смысле?

— Кто эта женщина? — разделяя слова, твердо произнесла Рашель.

— Ты прекрасно знаешь, кто. Это жена вице-губернатора Василия Осиповича — Ляля Петровна Родунген. Настоящее ее имя Елена, но все ее зовут Ляля, как ребенка.

Клочков всегда чурался этих сцен, всячески избегал их, но сейчас бежать из дома было неловко. Оправдываться в том, что у него до Рашель была какая-то жизнь, считал глупым занятием.

— Почему она так посмотрела на тебя? — продолжала допрос женщина.

— По-моему, наоборот, она посмотрела на тебя.

— Тогда почему у нее было такое выражение лица? — задала этот же вопрос, но иначе Рашель.

— Какое такое?

— Она перекосилось от злобы, — Рашель сейчас и сама-то походила не на ангела, если мягко сказать.

— Я не обратил внимания.

— А я обратила, — у Рашель сузились глаза. — Обратила, но не придала этому никакого значения.

— А, по-моему, придала больше, чем нужно, — не согласился с ней ротмистр.

— Хватит нести околесицу, всю эту муть! И отвечай! — мадам Бутон топнула ножкой. — Ты спал с ней?

— С чего ты взяла? Что за глупость? — почел за благо изумиться Клочков.

— Ты хочешь сказать, что я дура? Что я ничего не вижу?

— Это ты хочешь сказать, что я что-то хочу сказать. Но я ничего не говорю. Я молчу, как видишь, — уклонился чиновник по особым поручениям от прямого вопроса. Стрела пролетела мимо, потом, вопреки всем законам физики, вернулась обратно и полетела в ту же цель с удвоенной силой.

— Смотри мне в глаза! Вот так. И отвечай прямо. Ты спал с ней! — торжествующе воскликнула примадонна.

— Ты говоришь глупости, Лулу.

— Лулу меня называют только самые близкие люди. Для вас я Рашель. Мадам Рашель Бутон, — отчеканила примадонна.

— Вы говорите глупости, мадам Бутон, — с каменным лицом сказал Клочков.

— Это можно считать признанием?

— Я не желаю ни в чем признаваться, — начал закипать ротмистр. — В конце концов, что за допрос?

— А почему бы и нет, господин Клочков?

— У меня болит голова. Мне дали по голове сковородкой. Может, у меня там трещина, — для наглядности чиновник по особым поручениям постучал себя пальцем по лбу.

— В глаза смотреть. Убью тебя сейчас! Голова у него болит!

— По крайней мере, кружится, — жалобно сказал офицер.

— Пить надо меньше.

— Разве во Франции пьют меньше? Что-то я сомневаюсь, — не удержался от язвительного замечания Клочков.

— Во Франции пьют, может, и не меньше, но лучше. И на улицах не валяются, как свиньи, — взмахнула веером певица.

— Поосторожней, мадам. Вы чуть не выкололи мне глаз этим веером, — вспыллил ротмистр.

— Необразованные невежественные варвары, звери!

— Тем не менее мы хотя бы можем разговаривать с вами на вашем родном языке.

— На языке Расина и Вольтера!

Мадам Бутон, в действительности, читала мало, но в окружении мужа-аристократа такого наслушалась, что могла с успехом сойти за литературного сноба, притом умела впитывать окружающую ее повсюду информацию и присваивать ее себе с легкостью, достойной изумления.

— Тогда как вы на нашем языке знаете только слово «водка», — съязвил Клочков.

— А у вас еще какие-то есть?

— На моем языке говорили Пушкин, Толстой и Достоевский, которых знает весь цивилизованный мир, — почти прокричал Клочков, а сам себе с удивлением сказал на русском языке: — Про что мы говорим?

— Эта смесь религиозной пропаганды и нравоучительности, увы, претит моим соотечественникам, господин Клочков.

— Свистунам! — снова сказал ротмистр на русском языке, но мадам Бутон пропустила это мимо ушей, поскольку не поняла.

— Я не литературный критик, но среди моих поклонников-литераторов слышала еще более беспощадные формулировки в сторону русской литературы.

— Да что вы говорите? — всплеснул руками ротмистр.

— Французы, как подлинны поэты, предпочитают стиль, легкость, воздушность Флобера и Мопассана.

— То-то он и закончил жизнь в желтом доме!

— Как вы смеете, милостивый государь?! — задохнулась от наглости ротмистра Лулу Морено.

— А вы сами своими глазами это читали, мадам Бутон? — прямо поставил вопрос Клочков.

— Что? — с недоумением вдруг спросила певица.

— Ну, то, о чем вы говорите с такой убежденностью?

— А вы? — вопросом на вопрос ответила певица.

— Всего, конечно, я не читал, но... — сконфузился офицер.

— Я уже сказала, что тоже... не являюсь литературным критиком, — ушла от ответа Рашель, — я певица, мое дело доставлять удовольствие публике.

— Мы ушли в сторону, — проскрипел офицер.
— Согласна! Так вы спали с ней? Спрашиваю последний раз!
— Да, черт возьми! — крикнул Клочков и, получив оплеуху, как ошпаренный кипятком, вылетел из комнаты.

А оттуда по улице — чертыхаясь и бранясь. Вот так заканчивается любовь и начинается семейная жизнь. Горькая чаша, которую надо пить всю жизнь, спокойно и стабильно... С одной стороны, это как бы радовало, с другой — вывело его из себя.

Сначала взбрыкивание Ляли Петровны, ее кошачье фырканье при каждой встрече, теперь вот Лев Николаевич с Федором Михайловичем, а заодно и с Александром Сергеевичем получили по первое число. Ну, ладно первые два, но Александру-то Сергеевичу за что?

— Черт, черт, черт!

Навстречу шли два китайца Шу Де-Бао и Ку Дин-Фу.

— Русские селовека и китайские селовека — братья! — прокричали они хором, едва успев отскочить в сторону.

На некотором расстоянии от хозяина бежали друг за другом денщик Белугин и еще чуть поодаль Фернандо Томатито.

На другой стороне улицы, видимо, от фельдшера шла Анна Харчина с перевязанным плечом. Знакомый Клочкову известный камчатский охотник Гуторов держал ее под руку. На голове у него была надета берестяная умбракула с завязками на затылке. Клочков перешел через дорогу и спросил:

— Это вы Харчина Анна?

Она утвердительно кивнула, слегка напугавшись напора офицера.

— Вы зайдите ко мне обязательно. Найдите время до отъезда. Мне необходимо узнать про обстоятельства вашего ранения. Гуторов, подскажите Харчиной, куда именно зайти.

И побежал дальше.

В «Ромашке» никого не было. Ни наверху в банкетном зале, ни в кабинете. Официант Никифор сидел на перилах крыльца, лутил семечки и неприязненно смотрел на чиновника по особым поручениям.

— Где Кияшко? Куда он мог пойти? — спросил Клочков.

— Куда, куда... тащить кобылу из пруда, — без всякого уважения к чину ответил официант. И тотчас получил удар в челюсть такой силы, что свалился с перил и остался лежать, задумчиво глядя на ближайшую сопку.

Клочков услышал бляение барана и подхватился в амбар.

Самсон Кияшко в наилучшем настроении жарил себе на мангале шашлычок. Рядом на чурбаке стоял графинчик с водкой и отдыхала на подносе легкая закуска из рыбного ассорти.

— В кармане денежки очень звенят,

Буты-бутылочки кругом стоят...

Увидев бешеного Клочкова, он попытался к оградке, за которой мирно толкались овечки, и один барашек жалобно бляел на одной ноте. Не говоря ни слова, ротмистр подошел к приказчику и хватил его по зубам. Потом еще и еще раз. Очень больно. Кияшко охнул и присел на корточки, закрыв лицо пухленькой ручкой с колючком на мизинце.

Барашек истерически бляел, словно это ему надавали по мордасам.

Клочков повернулся и пошел на выход, но у самого порога как почувствовал что, оглянулся и увидел за собой Кияшко с поднятым поленом над его головой. Инстинктивно отклонился, удар пришелся скользом по плечу, и это спасло офицера. Схватив приказчика одной рукой за ворот, Клочков с силой опустил его лицо себе на колено, нос хрустнул, как бочковой огурчик, Самсон Кияшко выпрямился, сделал пару шагов назад и, перевалившись через оградку, упал на заходившегося в истерике барана.

В промежутке между сараем и кабаком посередине тропинки, раскинув руки, стоял сам Савелий Игнатьевич, слышавший шум драки. В высокой траве рядом с ним полз изувеченный Никифор.

— И кому мне теперь прикажете жаловаться, ваше благородие, когда сами представители законной власти такие безобразия вытворяют?

— А вы не знаете, Савелий Игнатьевич?

— Я — нет, — честно сказал Чурин.

— А кто у нас в городе главный? — вопросом на вопрос ответил Клочков.

— Я, — сказал Чурин, прищурясь. — У кого деньги, тот и главный. Так всегда было, есть и будет.

— Тогда себе и жалуйтесь, — сказал Клочков и хотел обойти Чурина по тропинке, но хозяин Камчатки не пропустил его.

— Э, нет, господин хороший, извольте объясниться. Я вас в гости не приглашал. Вы сами изволили явиться. Вот и расскажите, где жена моя Настасья скрывается? Что меж вами такое было или есть, раз вы вместе скрываетесь? Что у вас за интерес общий? И зачем вы моих подчиненных подвергли физическому унижению?

Никифор поднялся, шатаясь и отплеывая кровь. В руках он держал столовый тесак. Сзади из сарая — мать честная! — выплыл с топором в руках Кияшко.

— Савелий Игнатьевич, вы прекрасно знаете, что к Настасье приставал ваш Самсон, проходу не давал, она боялась вам признаться, потому что вы ей все равно бы не поверили.

Чурин пошатнулся, поскользнувшись на влажной тропинке, но устоял, подержанный официантом.

— Что ты врешь?! — зарычал за спиной приказчик.

— А скрывается она от вас, потому боится домой идти. Что ее у вас ждет? Тем более она вам и не жена по закону. Претензий у меня к вам лично нет.

— Еще бы они у тебя были, — перебил Савелий Игнатьевич. — Скажи, чтоб возвращалась, пусть не боится. А Самсона, если хошь, забирай, у меня такой падали полны закрома.

И, повернувшись к Клочкову сгорбленной постаревшей спиной, зашагал прочь.

— Ну что, ваше благородие, поквитаемся? — спросил официант, вытирая ладонью кровь со рта.

В ту же секунду из-за сарая с разных сторон выпрыгнули Томатито и Кузьмич. Белугин отшвырнул в траву официанта, а Фернандо со всей силой, на какую был способен, ударил ребром гитары по голове Кияшко. Дека с малиновым звоном отломилась от грифа и предстала перед приказчиком еще более грозным оружием, чем была до того.

— Ах ты, тля французская, — просипел Кияшко, схватившись за затылок, и упал лицом на тропинку.

Все трое стояли какое-то время молча и смотрели друг на друга.

— Как ты думаешь, Кузьмич, он жив?

— Самсон-то? Жив, ваше благородие, что с ним сделается, у него не голова, а чугун — пятьдесят девять сантиметров, — Кузьмич ударял слово «сантиметры» на «и». — Мы его в юности семером били, а ему хучь бы что, вот, ей-ей, не вру.

— Смотри мне, — почему-то пригрозил ему пальцем ротмистр, а потом строго обратился к Фернандо: — Это где же тебя так драться-то научили?

— А мы в таборе в детстве одними гитарами дрались, — сказал Фернандо Жозе, ухмыляясь, — жизнь научила, дядь Паша.

— Просто ни в какие рамки, — сердито сказал Клочков и пошел, не оглядываясь, на улицу.

Городовой Матвеев в одиночестве гонял шары в бильярдной театра, когда услышал в окне раскат грома.

«Никак землетрясение?» — мелькнуло в голове.

Но нет, это Клочков, перегнувшись через подоконник, кричал на все здание театра.

— Ты почему, мать-перемать, оставил заключенного без присмотра? Да я тебя, шиворот-навыворот, сам в кутузку посажу до скончания твоего короткого веку! Ты у меня сгниешь там в холодной, прежде чем выйдешь! Я лично туда воды буду подливать по щиколотку и форточку разобью! Отвечай по всей форме, барбос, по какому праву ты здесь себе моцион для рук устроил, паразит, в то время когда тебе охрану поручили злостного государственного преступника?

— Так ить, вашество, — забормотал городской, хлопая толстыми щеками, — я, почитай, на минутку зашел, а тут как раз... это самое... Куда он денется из холодной?

— Как куда? Сбежал!

— Как сбег? Не может быть! — захлопал глазами Матвеев.

— Сбежал государственный преступник! — орал Клочков. — Ты государственного преступника упустил! Ты, Матвеев, сам есть государственный преступник и будешь лично мною арестован и расстрелян на центральной площади города. Вот где теперь его искать?

— Где? — повторил городской вопросительно.

— Нет, это я тебя спрашиваю, где! — закричал ротмистр. — Камчатка большая! Он теперь уже, наверное, в паратунских источниках купается и Бога благодарит, что он ему послал такого горе-охранника.

— А ключи-то вот! — потряс Матвеев связкой ключей.

— Да ему на твои ключи, горе ты луковое, начхать, он подкоп устроил, восемь метров копал и выполз на огород коллежского асессора Леха!

— Не может быть! — побледнел городской.

— А там превратился в рыбку и прыгнул тому в ковшик. Марш отсюда немедленно! — Клочков забарабанил в стекло кулаком.

— Так точно! — громко прокричал взмокший Матвеев, не двигаясь с места.

— Дурак, сволочь, паразит, скотина! Ты государю-императору присягал?

— Бегу, ваше благородие, бегу! — говорил городской, оставаясь стоять на одном месте.

— Застрелю! — чиновник по особым поручениям выхватил из кобуры револьвер, но Матвеев уже бежал через дорогу, оглядываясь и крестясь на купола собора.

Когда Клочков подошел к острогу, на крыльце дежурил застегнутый на все пуговицы городской, поигрывая на пальце связкой ключей.

— Докладываю, ваше благородие, заключенный под стражу Алеха Кальянов на месте.

Отстранив Матвеева, ротмистр прошел в холодную. За решеткой сидел понурившийся Кальянов. При появлении Клочкова вскочил и, прижавшись к решетке лицом, прошептал простуженным голосом:

— Павел Михайлович, дозвоьте духовника прислать. Желая исповедоваться, как вы и советовали.

— Хорошо, но только сегодня уже поздно. Давайте завтра с утра.

— Завтра не получится, передумаю, я знаю себя.

— Что за спешка такая, Кальянов?

— Душа горит.

Действительно, у заключенного под стражу горело лицо, видимо, поднялась температура.

— Вы что, заболели? Может, лучше врача вызвать?

В ответ Алексей Савельевич закашлялся, но при этом замотал отрицательно головой.

— Нет, нет, ни в коем случае, это пройдет, хотя, пожалуй, как хотите, впрочем, извольте... Но сначала священника... Поймите меня, Павел Михайлович, если такой человек, как я, просит прислать священника, то значит, пришла такая нужда, что нужно непременно выполнить его просьбу, иначе грех и на вас ляжет.

— Тьфу, тьфу, тьфу, — ротмистр плюнул через плечо и перекрестился на всякий случай.

— К тому же, завтра на меня другой стих найдет, я не только не исповедаюсь, а еще кого-нибудь порешу. Я и вас могу, — в доказательство своих слов Кальянов протянул жилистые, но очень крепкие руки и, прихватив ротмистра за ремень, крепко прижал к себе. — Мне ведь и оружия не надо, руками придушу! Ну же, штабс-капитан, как офицер офицеру...

В глазах его стояла такая дикая тоска, что Клочков поневоле проникся состраданием.

— Хорошо, я пошлю.

— Нет, сами ходите. Умоляю. Сейчас сами! — и снова зашелся в мучительном кашле.

— Да, да, конечно, я сейчас, непременно сейчас, да, — забормотал чиновник по особым поручениям и поспешно вышел на крыльцо. Городовой Матвеев стоял практически по стойке «смирно».

— Кто-нибудь к Кальянову приходил?

— Еду приносили, теплое белье, записку. Вроде от Савелия Игнатьевича. А совсем поутру, еще все спали, какая-то девка в окошке с ним разговаривала.

— Какая девка?

— Не разглядел спросонья, ваше благородие.

— Настя, что ли? — напрямую спросил Клочков.

— Так точно, — перейдя на шепот, признался городовой.

— Никого не пускать, никаких свиданок. Я сейчас приду, — и спешно спустился с крыльца.

Священники жили в одном доме прямо за собором. Большой дом был поделен на семейных и несемейных. Отец Трифон жил на половине холостяков. Когда Клочков постучался к нему в окно, то сразу услышал знакомый голос отца Дорофея.

— Что с вами, батюшка вы мой, на вас лица нет, — воскликнул отец Трифон, открыв окно. А из-за его плеча уже улыбался во всю ширь занавесок отец Дорофей.

— Спаси Бог, Павел Михайлович, рад вас видеть в добром здравии, вот приехал в любимый постылый край. Не уважили мою нижайшую просьбу во Владивостоке, и с позором аз был изгнан обратно, токмо камнями не побивали, но душа поет, незнамо отчего.

— И хорошо, что приехали, отец Дорофей. Одним хорошим человеком на Камчатке станет больше. Вы мне только помогите, отец Трифон ли, отец Дорофей ли. У меня в камере сидит богомерзкий преступник и убийца Алеха Кальянов, арестованный несколько дней назад.

Оба священника посерьезнели.

— В преступлениях своих признался, но вот сейчас просит исповедоваться, — продолжал Клочков. — Как приспичило. Приведи да приведи батюшку! Пристал как репей! Я понимаю, что поздно, отцы, но уж так просит, так просит, что нехорошо не исполнить воли. Вдруг доброе что получится? Он ведь по бумаге ничего не скажет. А после вас, глядишь, и успокоится душа, и кто его знает...

— Я пойду, — решительно сказал отец Дорофей, сразу засобирался, и Клочков увидел, что отец Трифон обрадовался, что товарищ может подставить плечо после трудного дня.

Когда шли к острогу по уже темной улице, Клочков спросил:

— Все стремишься в Сиам?

— Засомневался, — кротко ответил отец Дорофей.

— Почему так? — заинтересовался ротмистр.

— Суета одна и всяческая суета. Что Сиам, что Камчатка, все едино. Все уже есть в душе, там главная святыня. Если там спокойно, то и хорошо. И не надо боле ничего. Молитва и послушание.

— А сейчас у тебя спокойно, хорошо?

— Да.

— Стихи пишешь ли? Не бросил?

— Пишу, Павел Михайлович.

— Почитай, — попросил Клочков.

— Аз для того и пишу, чтобы быть услышанным, — без всякого ломанья согласился священник и тотчас негромким голосом начал говорить. Просто говорить, не деля текст на строчки, без ритмического раскачиванья, так что товарищу его сперва показалось, что он говорит ему что-то очень важное перед чтением, чтобы он как-то по-другому слушал после этого напутствия.

*Заснеженные острова,
Изнеженные дали.
Мне снился сон на Покрова,
Исполненный печали.
Белый снег закружится
Над городом,
Словно птица над рощей
Родной,
Изгоняемый северным
Холодом,
Где найду невечерний
Покой?
Обнимаю вулканы
И горы,
Плеск прибоя и вьюгу
В ночи,*

*Словно влился я в эти
Просторы
Синим дымом полночной
Свечи.
Низко кланяюсь всем,
С кем встречался
На туманных и вьюжных
Путях.
В сердце гул океана
Остался,
Как чавыча в медвежьих
Зубах...*

На небе высыпали звезды, светлый полумесяц освещал путникам дорогу и отражался на золоте епитрахили отца Дорофея. Клочков молчал и думал. Он всей душой стремился к вере. То есть, конечно, он христианин, верующий, крещеный, но всегда ощущал в себе недостаток веры, это его мучило, ему казалось, что он калека, у которого нет какого-то важного органа.

В церковь приходил по обязанности. Но когда что-нибудь припекало, то молился жарко и отчаянно. А после опять забывался и корил себя за душевную немоту.

Городовой Матвеев, увидев идущих, спустился с крыльца и обратился к Клочкову:

— Ваше благородие, можно после исповеди мне домой пойти? Я на ключ холодную закрою, а ключ, он всегда при мне.

— Что ты меня позоришь, Матвеев? Словно я деспот какой-то восточный, спать тебе не даю, с семьей видеться! Уйдет бабюшка, и ты ступай с глаз долой. Никто тебя тут цепями не держит.

Отец Дорофей вошел в избу, но через секунду отпрянул из нее бледный, жиденькая бороденка тряслась от страха. Крестьясь без остановки, левой рукой закрывал рот, чтобы не закричать.

— Что там? — испугался Клочков.

Отец Дорофей не мог выговорить ни слова, только махнул рукой в сторону двери.

Ротмистр перепрыгнув через три ступеньки, бросился в дом, следом Матвеев, гремя сапогами, и остановились в ужасе на пороге, точно какая-то невидимая и грозная сила остановила их.

Кальянов висел на решетке. Страшная маска проступала из его лица, делала его неузнаваемым, словно это был другой человек, незнакомый им вовсе. И эта маска подсказывала, что помочь уже ничем нельзя.

Он сам приговорил себя и осуществил наказание. Без суда, прощения. И что еще страшней, без покаяния.

— Господи, прости ему его прегрешения, — сказал отец Дорофей, когда пришел в себя.

— Не успел, не успел, — бормотал Клочков, вытаскивая Кальянова из петли. — Вот откуда у этого Кудеяра тут веревка оказалась, Матвеев? С чего вдруг? Опять недосмотрел, олух ты царя небесного!

— Черти его утащили, — высказал гипотезу Матвеев.

— Ага, — зло оборвал его чиновник по особым поручениям, — и веревку в окошко подбросили.

— Недосмотрел, ваше благородие, виноват, — жалобно запричитал городовой.

— Душа заблудшая попросилась на свет и не дождалась, — сказал отец Дорофей и грустно вздохнул.

«Вот лежит перед нами убивец, злодей, — размышлял про себя Клочков, — а завтра по нему будут слезы проливать — отец Чурин, Раиса и Настасья, которые его, вероятно, любили. Как его сюда из Петербурга занесло? За какой такой надобностью?»

И что самое удивительное, он, Клочков, вдруг почувствовал к самоубийце подобие жалости, как к человеку, потерявшему возможность спасения душевного. Простившись с отцом Дорофеем, он побрел по темноте к дому, но вышел, и сам не понял, как получилось, к окнам Рашель.

За легкой воздушной занавеской теплился ночничок. Возможно, Лулу спала или читала. Библиотека у Николая Владимировича была одна из лучших на Камчатке. Клочков кашлянул для порядка, вдруг услышит, но нет, занавеска не поколебалась... Значит, спит.

И тяжелой походкой снова побрел по ночному городу.

Пришедши домой, Клочков обнаружил в доме ожидающего его Гантимурова. Он сидел на стуле прямой спиной, положив руки с вывернутыми локтями на колени, как какое-то индийское божество. Возле печки сидел на табурете Кузьмич, Фернандо уже давно спал. В изголовье под подушкой выглядывал гриф от сломанной гитары. У Клочкова сложилось впечатление, что они давно так сидят.

— Чем обязан, Виталий Сергеевич? — спросил Клочков. Близко они не сходились, не случалось точек соприкосновения, но были кем-то представлены друг другу, чуть ли не Василием Осиповичем, что придавало дополнительный смысл их знакомству.

— Зашел непременно повидать вас, потому что имею к вам одно дело, не имеющее отлагательства.

— Прошу вас изложить дело прямо и коротко, ибо, честно говоря, валюсь с ног от усталости. Весь день на ногах.

— Извольте выйти со мной на улицу, — Гантимуров вышел на крыльцо дома, Клочков в расстегнутом кителе за ним.

— Слушаю вас внимательно, — уже догадываясь о предмете визита, сказал чиновник по особым поручениям.

— Не далее, как наемни утром вы оскорбили женщину, имя которой я не хотел бы сейчас упоминать.

— Боже мой, какой ужасно несчастливый день сегодня. Надеюсь, он все же скоро закончится. Итак, я вас слушаю, милостивый государь, — хмуро сказал Клочков.

Гантимуров тоже почему-то замолчал, видимо, волнуясь.

— Хотите, я вам помогу? — сказал Клочков. — На самом деле, я никого не оскорблял, хотя очень бы хотелось. Знаете, Виталий Сергеевич, я, честно, сдерживаюсь всякий раз, чтобы не наговорить какие-нибудь глупости той особе, о которой, как о священной корове, мы оба молчим, но не называем все ее божественного имени. И тем не менее вы хотите вступить за честь дамы?

— Да, — неуверенно подтвердил Гантимуров.

— Что ж, я с большой нерадостью влеплю вам в лоб пулю. Если вы этого хотите. Ваша воля. Стреляю я, прошу мне верить, снайперски. За двадцать пять шагов в круглую брошку попадал. Тюгелька в тюгельку по самому центру. Можете нарисовать на лбу красным карандашом маленькую точку, и, спорим на ящик шампанского, я попаду туда плюс-минус миллиметр.

У Гантимурова дрогнуло лицо, но он сдержался, что делало ему честь, и, выдержав паузу, четко и раздельно произнес:

— Прошу завтра прислать секундантов с выработкой условий поединка.

— Не премину, Виталий Сергеевич. Доброй вам ночи.

— И вам того же, — сухо сказал Гантимуров и, спустившись с крыльца, тотчас пропал, как тать в ночи.

Павел Михайлович участвовал в дуэли дважды. Первый раз еще в кадетском корпусе, второй способствовал его увольнению из действующей армии.

— Что за день, Кузьмич, что за день? — простонал Клочков и, не раздеваясь, только коснулся головой подушки, провалился в глубокий и черный, точно омут, кошмар.

Карканье ворон перемежалось скрипом лыж, ветер все время гудел, деревья скрипели под его нажимом, морозный воздух обжигал гортань и только собачий мех помогал скрадывать жесткость воздуха, поступающего в легкие.

Атласов к этому времени ясно понимал, что с Даниилом Анциферовым вышла промашка, не так надо было действовать, но поздно. Обьегорил он его.

Ощущение поражения жгло душу. Если в Якутске его посадили в острог, то, в общем, поделом, сам виноват. Под горячую руку попался ему тот гонористый купец в Иркутске. И пошла коса на камень. Да еще с правительственной грамотой в кармане. Где же удержишь? Столько власти сразу и без привычки. Все можно! Теперь бы сидел воеводой и в ус не дул.

А тут не распознал коварства, обычной ловушки. Страшная расправа с Аленой выбила его из равновесия. Теперь много на него лично выльется напраслины за этот поход. Все опишут умные дьяки. И жестокий, и казаков кнутом охаживал, и инородцев батогами бил. И пытки припишут, и мздоимство. Деревню, скажут, сжег. Не отмыться добела. Не оправдаться. И не победить уже никогда простому человеку.

Но Атласов не прост! Шалишь, Данило. Есть еще Большерецк, Нижнекамчатск... Нет, в Большерецк нельзя — там Иван Козыревский, давний враг. Тот обиды помнит и никогда ему не простит жены Василисы.

В Нижнекамчатск надо. Там сидит его друг-сотоварищ Лука Большаков. Он с Данилой в давней вражде. Туда надо идти. А потом писать в правительство, самому государю. Он поймет, поверит, простит.

К рассвету Атласов с Тутышкиным ушли далеко от острога. Снег подхрупывал под лыжными лапками. Атласов хорошо знал эту дорогу, ведущую в деревню, которую сожгли вчера. Конечно, останавливаться в ней нельзя, его просто-напросто растерзали бы местные, которые наверняка остались там горе мыкать в летних землянках и чумах. Но деревня служила ему ориентиром, по которому можно было строить дальнейший путь. Вот сейчас последний поворот, и они увидят внизу деревушку. Может быть, дымок над чумом.

Весело скрипел под лыжами свежий колючий снежок. Последний поворот... Метрах в трехстах от них стояли несколько нарт, возле которых в пронзительной ясности утра беглецы увидели ожидавших их Ивана Пермякова, Копылова со Степаном Усовым да Ефима Кузнецова. Спешившись, они стояли кучкой, разговаривали, смеялись и поэтому не сразу заметили атамана. Видимо, еще не отошли от вчерашнего пира.

Атласов перевел взгляд на Андрея Тутышкина, тот не выдержал тяжелого взгляда и, содрав с себя шапку, громко закричал, привлекая к ним внимание.

— Эй, эй! Ефим Тарасович! Ефим Тарасович!

Казаки обернулись и заспешили на его крик.

Андрей, сбросив лыжи, побежал к ним навстречу, но тут же через несколько шагов запнулся в глубоком снегу и, упав, продолжал кричать, но уже от страха, потому что атаман легко настиг предателя и, навалившись на него всем телом, вцепился ему в горло. Тутышкин захлебнулся, завизжал, попробовал укунуть руку Атласова, но тот, не обращая внимания на боль, словно клещами сдавливал тому горло, пока оно не задымилось кровью.

Когда казаки подъехали, Тутышкин уже не шевелился.

— Что ж вы, как свора псов, на меня кидаетесь? Или боитесь один на один, а, Ефим? Ты, что ли, тут за главного?

— Резону нет, Владимир Васильевич, нам с тобой тут бороться. Да и дома детки ждут, — и, вытаскивая из-за пазухи пистоль, выстрелил.

Атаман покачнулся, но не упал, только долго стоял, смотря в глаза своим убийцам, как бы пытаясь запомнить их лица. Казаки постепенно сближались вокруг него. Степан Усов, проявив неслыханную храбрость, нанес ему сзади первый удар ножом, а потом и остальные по очереди окрасили свои ножи его кровью. Убивали без жестокости и истерики, а так, словно исполняли какую-то трудную, но необходимую работу. Как на охоте.

Последнее, что увидел Атласов, это опрокинувшееся на него высокое и прозрачное, как слеза, небо.

Уже утром в дом к Ключкову пришел секундонт Гантимурова поручик Григорьев. Фернандо валялся в кровати и смотрел карту Камчатки.

— Чего изволите? — спросил хмурый со сна Павел Михайлович. — А, вспомнил! Я еще, признаться, секундонта не искал, господин Григорьев. Да и не до этого мне. Если угодно, можете быть и моим, то есть распорядителем дуэли. Возможно такое по кодексу?

— Так точно, господин штабс-капитан. Тем более что необходимости в суде чести я не вижу. Господин Гантимуров сообщил мне, что нанесено оскорбление женщине, но какой степени, категорически отказался объяснять.

— Да он и сам не знает.

— В каком смысле? — заинтересовался Григорьев.

— Полагаю, господин поручик, что, в действительности, его спровоцировала на дуэль неизвестная вам особа, а у него-то и желания никакого нет. Я лично вполне равнодушен и кровожадности к нему не испытываю.

— К тому же господин Гантимуров желает и сам факт дуэли засекретить по возможности.

— Вот те на! — удивился Ключков. — А ежели я его подстрелю как куропатку, куда мы труп денем? Сбросим в бухту? Закопаем? Нет, я за протокол, уж будьте любезны. Чтоб все честь по чести.

— Если вам угодно знать мое мнение, я бы предпочел извинение, Павел Михайлович. По-моему, и Виталий Сергеевич также. Может, имеет смысл извиниться перед этой... неизвестной нам дамой?

Ключков вздохнул.

— В том-то и дело, друг мой, что извиняться не в чем. Оскорбление-то надумано. А ваш Виталий Сергеевич жертва, которую никому не жалко. А эта неизвестная нам обоим особа — такая штучка, господин Григорьев, что ради своих интересов способна целый гарнизон положить по одному своему ничтожному капризу!

— Я догадывался, собственно... Ну, что ж, — вздохнул Григорьев, — так и быть. Господин Гантимуров предлагает дуэль на пистолетах по одному выстрелу на пятидесяти шагах.

У Клочкова от удивления открылся рот.

— Не до первой крови? Просто по выстрелу? Не через платок? Не на дистанции пять шагов?! Стрелять, пока не кончатся патроны и т. д. Я не ослышался, поручик?

— Просто по выстрелу, — подтвердил Григорьев, пожимая плечами.

— Тогда уж лучше на ста метрах. Больше вероятности остаться в живых. Можем даже стрелять холостыми! Впрочем, как угодно. Я вообще могу не стрелять.

— Право первого выстрела как слабейшему, на мой взгляд, надо предоставить господину Гантимурову.

— А почему не монеткой определить? Потом, откуда я знаю, как стреляет ваш господин Гантимуров? — возмутился чиновник по особым поручениям.

— Поверьте мне, — покачал головой Григорьев, — это так.

После долгой паузы Клочков сказал сердито:

— На самом деле это напоминает мне фарс, в котором я участия принимать не намерен. Передайте господину Гантимурову, что я намерен даже на ста метрах убить его.

— Подумайте о последствиях, Павел Михайлович.

— Когда Гантимуров вызывал меня, он думал о последствиях? А если бы она ему приказала со скалы Никольской вниз башкой сигануть, а она на это способна, уверяю вас, тоже прыгнул бы? Что за легкомыслие такое у взрослого, в общем, человека? Какие-то превратные понятия о чести, достоинстве... Ведь сам понимает, что им манипулируют словно Петрушкой в балаганчике. Пищит, но лезет! Ну и черт с ним! Не жалейте его, господин Григорьев. И передайте, пусть садится, дурак, и пишет прощальное письмо матери.

Григорьев сухо поклонился.

— Дуэль состоится завтра в шесть утра на Никольской бухте под мемориалом Максutowской батареи. Честь имею, — и вышел.

— А ты чего лежишь, что на рыбалку свою не бежишь? — спросил Клочков Томатито.

— У меня от рыбалки от вашей уже пальцы не сгибаются, — огрызнулся Фернандо Жозе. — Я все-таки не рыбак, а музыкант. Дядя Паша, найдите мне гитару, я не могу долго на пустом грифе играть. Я с ума тут у вас сойду.

— Это к Кодылеву обратись. Он ради тебя на преступление пойдет теперь, — усмехнулся Павел Михайлович.

Через мгновение от Фернандо и дух простыл.

— Что это вы опять удумали, ваше благородие? — услышал ротмистр жаркий шепот. Кузьмич заглядывал в окно через улицу. — Я тут случайно услышал, будто вы убивать кого-то решили. А ведь это грех!

Клочков покачал головой и тихо сказал сам себе:

— Вот и я о том же...

— Губернатор ждет вас, Павел Михайлович, — сказал секретарь губернатора Алексеев, тщедушный благообразный старичок, которому нашлось бы лучшее место в церкви.

Николай Владимирович не предложил ротмистру сесть, а сидел в кресле, надувшись, как мышь на крупу, и накручивал усы, сначала левый, потом правый,

затем снова левый, и так до бесконечности. Время от времени, устав от нелегкого труда, снимал пенсне и протирал его мягким фланелевым платочком.

— Я долго терпел, Павел Михайлович. Вы прекрасно знаете, что я умею терпеть, но события последнего месяца оставляют за мной право высказать вам свое крайнее неудовольствие вашей деятельностью.

— Ваше высокопревосходительство, — начал как можно мягче Клочков, но был безжалостно перебит.

— Я прошу вас, милостивый государь, выслушать меня и не перебивать, а уж после, когда я вас спрошу, вы мне, надеюсь, поясните вашу абсолютную несостоятельность в расследовании, на мой взгляд, пустяжных происшествий. Василий Осипович давно мне говорил, что вы, в действительности, не подходите для сыскной службы, потому что являетесь боевым офицером, волей обстоятельств оказавшись на Камчатке. Так?

— Так точно, — Клочков вытянулся по стойке «смирно».

— И я вам скажу, что никакой такой системы в этих убийствах не вижу. А то, что вы пытаетесь доказать, маловразумительно. Пьяницу Ивана Генриховича убил по пьянке Кальянов, тоже не дурак выпить. Что они там не поделили, уже неважно. Но уж, поверьте старику, никакого шпионажа в пользу Японии он вести не мог вследствие умственной недостаточности. Багиров — то же самое. Я удивляюсь, как с его образом жизни он еще раньше не утонул.

— У него проломленная голова, ваше превосходи... — попытался вставить Клочков.

— А удариться в пьяном виде он мог? А потом уже свалиться с пирса?

— Теоретически да. А практически...

— Вы помешались на этом японце, Клочков, это идефикс. Вам втемяшилась в голову какая-то ахинея, вот вы и носитесь с нею как с писаной торбой. То пытались доказать с упорством, достойным лучшего применения, будто он убил Штарка...

— Я ошибался...

— Потом несчастного капитана Свенсона. Слава богу, выяснилось, у того элементарно слабое сердце.

— Одно другому не помеха, — успел вставить Клочков.

— Потом, де, он Багирову голову проломил.

— Нет, это сделал Алексей Кальянов, — сказал Клочков, но губернатор его не слушал.

— Затем пострелял ли, перерезал на реке Толмачевке троих человек, точно он Шива всеильный и един в трех лицах.

— Я утверждаю, что, по крайней мере, в двух преступлениях виноват сын Чурина Алексей Кальянов.

— Еще одна нелепица, — развел руки Николай Владимирович. — Ну какой еще сын? Откуда вы берете эти сведения?

— От самого Кальянова.

— Прошу принести и положить мне на стол допросный список. Что и как он сказал, в чем признался.

— Это невозможно, ваше высокопревосходительство. Подробности эти подследственный мне рассказал лично с глазу на глаз и что-либо подписывать отказался категорически.

— Значит, у вас нет никаких доказательств?

— Так точно, никаких доказательств.

— Что же вы тогда мне голову морочите?

— К тому же, ваше высокопревосходительство, вчера поздно вечером подследственный Кальянов покончил жизнь самоубийством.

— То есть, как это? — растерялся губернатор и перестал крутить ус.

— Повесился.

В смежной комнате послышался придушенный вскрик, а затем из нее вышел собственной персоной Чурин Савелий Игнатьевич. На лице его читалось глубокое волнение. Грузно ступая, не взглянув на губернатора и ротмистра, словно не видел их вовсе, он вышел из кабинета. Дверь за ним хлопнула и от сотрясения вновь открылась. Секретарь Алексеев, заглянув в щелочку, быстро прикрыл ее с той стороны.

Николай Владимирович вытащил из кармана платок и вытер вспотевший лоб и шею, а потом, после томительной паузы, тихо произнес:

— Вы мне, Павел Михайлович, рапорт подайте со всем вышеизложенным, как вы видите всю картину, так сказать...

Клочков щелкнул каблуками.

— Так точно, сделаю по всей форме.

Губернатор обхватил голову руками и тихо простонал:

— И что за напасть такая на Камчатку?

— Одно обстоятельство, ваше высокопревосходительство, наталкивает меня на мысль, что это могло быть вовсе не самоубийство.

— Ну, добивай, — закрыв глаза, глухо сказал Николай Владимирович.

— Веревку, на которой он как бы повесился, ему как-то подбросили.

— И кто это, по-твоему, сделал?

— Кроме Матвеева, городского, некому, ваше высокопревосходительство. Может, и удавил сам.

— Угу, угу... Думаешь, он признается?

— У меня признается.

— Хорошо. А что это даст, Павел Михайлович? Ну, предположим, скажет он, что это Чурин ему, как ты говоришь, отец родной, распорядился подкинуть веревку, в чем я все-таки сомневаюсь... Тогда что?

— Выгоды, кроме Чурина, больше никто не имеет.

— Почему? Тут у всех прямая выгода, включая нашего сребролюбивого Василия Осиповича. И куда мы с этим признанием городского против первых лиц Камчатки?

— Не знаю, — честно признался Клочков.

— У нас ведь закон только до определенной черты, Павел Михайлович, а дальше — вечная мерзлота...

— Что ж делать, Николай Владимирович? Как поступить?

— Поступаем по закону, а там видно будет.

Осторожно ступая по узким мосткам, проложенным через непроходимую грязь, Софья Михайловна подвела французскую гостью к огороженному колючей проволокой непримечательному, на первый взгляд, зданию, показала караульному пропуск, и они вошли внутрь помещения. За столом у окна сидела женщина и что-то писала, при этом щелкая на счетах. Увидев высоких посетительниц, она встала и выжидательно кивнула.

— Она немая, — сказала Софья Михайловна.

— Почему? — задала Рашель странный вопрос.

— Не знаю, не интересовалась. По-моему, от рождения. Но на такой работе это даже хорошо. Тут надо уметь молчать. Здравствуй, Евфросинья Егоровна.

Губернаторша положила перед заведующей складом записку, подписанную губернатором, та прочла, щелкнула выключателем за спиной, затем подошла к столам, аккуратно сняла с них белую полотняную материю, и Рашель ахнула.

Даже в тусклом свете одинокой лампочки, не закрытой абажуром, вспыхнули и заиграли меховые шкуры, выложенные на столах.

Бобры, медведи, каланы, норки, песцы, соболи, лисицы, чего тут только не было!

— На этих столах самой лучшей выделки. Здесь надо брать. Я вас оставлю, Рашель, на улицу выйду, а то у меня здесь всегда голова кружится. Отберите, что вам понравится. Потом это вам все доставят прямо на пароход.

С Лулу произошло то же примерно, что с Али-Бабой, попавшим в пещеру сорока разбойников. Она металась от одного стола к другому.

— О-ля-ля!

Ей нравилось решительно все — и стальной блеск калана, и легкая, как перо, белка, и нежнейшая, тончайшей выделки норка, и с серым отливом песец, и лисичка с огоньком. Отчаявшись в выборе, она выбежала на улицу и спросила губернаторшу:

— А можно и того, и другого?

— Конечно, — легко согласилась Софья Михайловна.

Лулу совсем растерялась. Очевидно, все-таки ей выделили какую-то условную сумму, на которую можно собрать шкурок на манто. Эта сумма реальная. Но не сказали, какая. И если ее разбить — чуть-чуть соболя, да калана, отрез норки, то и получится пшик. Ни то ни се, ни нашим ни вашим. То есть надо остановиться на чем-то одном. Но только она начинала примерять на себя калана, глаз ее падал на белочку, хваталась за белку, рука в английской кожаной перчатке фирмы Демби с кнопочкой на запястье утопала в теплом бобре. Лулу снова выбежала на улицу.

— Софья Михайловна, сколько шкурок, предположим, норки нужно на манто?

Софья Михайловна зашла в склад, задала тот же вопрос, только по-русски, кладовщице. Та написала на бумаге, сколько белки, сколько норки и т. д. Сама нарисовала манто длиной в пол. Рашель согласилась.

— Да, да, да, именно такое!

— Вы просто скажите, какой мех вас устроит? Вам все доставят на пароход. До пола так до пола.

Лулу стало худо. Ее бросало то в жар, то в холод. Наконец слабой рукой она указала на соболя и буквально выбежала из склада.

Матвеев прохаживался на пирсе, рассматривая американский пароход «Бичимо» фирмы «Гудзон-Бей». На палубе в белых костюмах в ожидании шлюпки стояли американцы.

— Когда они пришли? — спросил подошедший Ключков.

— Да уж часа два как, а все не решаются на грешную землю спуститься, словно они ангелы какие.

— Из Японии в Америку или наоборот?

— Из Японии, вестимо.

— А откуда ты узнал? — сорвался на Матвеева чиновник по особым поручениям.

— Спрашивал у заместителя капитана, они в канцелярию губернатора с капитаном почапали.

— А уходят когда?

— Послезавтра, что ли? — неуверенно сказал городской.

Сердце ротмистра ухнуло, словно вырвалось из груди. Ну, конечно, не всю же жизнь ей тут находиться, на Камчатке. И как все не вовремя. Эта дуэль дурацкая... Что поделать?

Она гражданка другой страны, иностранная подданная, находится здесь ей не для чего, ее ждут зрители в далеком Сан-Франциско, городе на шести холмах. Она снова будет петь про «дурацкую любовь», Фернандо Жозе играть, ей будут рукоплескать публика, дарить цветы, кричать «Браво», у ней сотни, тысячи поклонников по всему миру...

И это чувство, некстати вспыхнувшее на краю света, никому из них, в действительности, не нужно. Что с ним делать? Как применить? Куда девать? Не оставаться же ей, в самом деле, здесь женой штабс-капитана, а еще хуже — любовницей, просто нонсенс какой-то, она уже сейчас здесь с тоски на стены кидается.

А в Париже он ей не нужен, там вообще другая жизнь, там из фанеры и тарных досок дома не строят, там другой город, которому вообще две тысячи лет, в нем давно все налажено, продумано, везде тротуары, рестораны, театры, ателье, художники на улицах пишут картины, в том числе прямо под ногами на мостовой, пьют абсент, по вкусу похожий на одеколон, лягушек едят... Нигде не едят бедных земноводных тварей, а они едят, и им нравится!.. Хотя это легко могло бы решить мясную проблему в России. Такого количества лягушек и жаб нет нигде в мире. Ели бы и горя не знали. Но не хотим!!!

Другая жизнь... Совсем другая жизнь. Словно на другой планете. Другая цивилизация. Она же сказала — Мопассан, Флобер. Она так думает о нас, обо мне, о моей стране. Чужие люди... Горько.

— Слушай, Матвеев, ты мундир под мышкой порвал, когда Кальянова в камере душил? — вдруг зло спросил Клочков.

Городовой вздрогнул всем телом, испуганно посмотрел на ротмистра и на всякий случай проверил мундир под мышкой.

— Да я не против, — сделав добродушное лицо, сказал Клочков и похлопал Матвеева по плечу. — Он убийца, ты тоже. Вы оба будете гореть в геенне огненной. Мне никого из вас не жалко. Но только пойми, Матвеев, что это химическая реакция, если раз запускается, остановить ее трудно. Ты сейчас ходи да оглядывайся, как бы тебя чуринские ребята в бочку не засмолили...

— Какую бочку? — заморгал глазками городской.

— Вот, Пушкина не читал. И неправильно. Ты же не француз какой-нибудь, лягушатник, а русский человек от мозга костей. Сельдевую бочку, Матвеев... А может, и не в бочку... А когда тебя зверски убьют, я составлю с Шумилиным протокол, по которому ты сам, споткнувшись, упал на лежащий на улице перочинный нож и распорол себя от седла до горловины. Вот так-то, брат. А мундир у тебя не рванный, я пошутил, — и широкими шагами пошел прочь, оставив городского в состоянии недоумения.

Они увидели друг друга еще издали. Рашель с Софьей Михайловной возвращались со склада пешком. Клочков, взволнованный неминуемым расставанием, практически бежал. Лулу сразу поняла состояние офицера, потому что большой двухпалубный американский пароход стоял на виду у всего города белой диковинной птицей, залетевшей чудом из невиданной и непонятной страны.

Софья Михайловна чутко оценила ситуацию и, кивнув радушно чиновнику по особым поручениям, быстро и поспешно распростилась с примадонной.

— Почему ты мне не сказала, что уезжаешь? — спросил Клочков ее по-русски. — А если бы мы не увиделись сейчас и пароход уходил вечером, Лулу?

— Пароход пришел сам по себе, я не вызывала его, — виновато отвечала она ему по-французски.

— И мы могли бы не увидеться? — перешел на французский офицер.

— Ты всегда занят.

— Я на службе. У нас на Камчатке тут сейчас такие дела творятся!

— Да, я слышала, мне Софья рассказывала, что убили какого-то казака... Атласова. Это ужасно!

— Атласова? — переспросил удивленный Клочков. — Ну, в принципе, да-а... Убили.

— Ты их поймаешь?

— Нет, — честно признался ротмистр. — Их уже не поймать... Никого здесь не поймать.

Так они шли и разговаривали, не замечая никого и ничего вокруг, в том числе и денщика Белугина, который, закрыв за хозяином дверь, тотчас встал возле дома на часах.

И, как часто бывает, через пять минут в переулке показался Томатито с новенькой гитарой в руках.

— Посмотри, Кузьмич, какую гитару мне по дружбе достал Кодылев.

Маленькая, изящная гитара слегка вытянутой формы очень шла Томатито.

— Хорошая гитара. У Кодылева, говоришь, украл?

— У Кодылева, у Кодылева, — закивал радостно мануш, показывая пальцем на окна музыканта.

— Ах, ты, воровская душа! А если я господину Клочкову доложу?

— Клочкова не видел, — отрицательно замотал головой цыган.

— Не хочешь, чтоб я доложил? Боишься?

Фернандо потерял нить разговора, но потом нашелся и замахал рукой в сторону порта.

— Клочков там был, я его видел на бухте.

— Да, да, слышал, что уходите на пароходе. Слышал уже. Ну и хорошо!

— Хорошо! — повторил мануш весело.

— Домой надо! На хаус! — вспомнил немецкий язык Кузьмич.

Фернандо понял по-другому и пошел в дом, но Кузьмич его не пустил.

— Домой нельзя, — и подмигнул маленькому музыканту.

— На хаус! — сказал Фернандо. Он тоже понимал немецкий язык.

— На хаус нет! — Кузьмич перегородил дверь и ухватился за гитару, — А гитару отдай, я ее Кодылеву снесу.

— Я хочу домой положить гитару, — настаивал Томатито.

— Иди, иди уже, воруга маленькая, вот уж я тебе, — Кузьмич даже притворно замахнулся на него.

И вдруг тонкий слух Томатито уловил в доме знакомый смех Рашель, лицо его расплылось в радостной улыбке.

— Аполлон и Дафна! Аполлон и Дафна! — закричал он и, оставив гитару в руках Кузьмича, со смехом побежал по улице.

Вечером, с опаской оглядываясь вокруг, вдоль заборчика к дому Клочкова подошла Настя Чурина и увидела такую сцену. На крылечке, обнявшись, сидели Кузьмич с Фернандо Жозе и мирно разговаривали про что-то, только им обоим понятное. Рядом в окошке, как всегда ввечеру, курил не до конца трезвый Кодылев.

— Эй, Кузьмич, Фернанка, Софья Михайловна наказала вам ночевать к ним идтить, — прошептала, не отрываясь от забора, Настасья.

— Это можно, — широко улыбнулся Кузьмич, — давненько, давненько я не гостевал у Николая Владимировича.

Ранним утром, еще затемно, пока Рашель спала, Клочков поднялся, осторожно высвободившись из объятий женщины, вышел на свежий воздух, вдруг разом обостривший все звуки и запахи просыпающегося города.

Из форточки Кодылева тянуло табаком, стойким, невыветривающимся запахом холостяцкого быта. В лавке китайца уже жарили утренний кофе. На форточке в окне Якова Борисовича Неймана сидел рыжий кот. На проходившего мимо Клочкова он равнодушно поглядел и демонстративно зевнул во всю пасть. Баня пахла мылом и еще вчерашним теплом.

Но все запахи перебивал острый и соленый запах океана. За ночь он как бы наплывал на спокойный город, знакомясь с каждым выступом, поворотом, складочкой, окутывал его, пропитывал, делая своим, метя его как собака. А утром под ярким солнцем снова пятился на океанскую кромку, оставаясь там на страже ревнивым и шумным зверем до следующей ночи.

Клочков вспомнил свою первую встречу с океаном. Отец привез его с собой на Камчатку в командировку на все лето. Черное и Балтийское моря не производили такого ошеломляющего впечатления.

Еще подходя к нему, они со сверстниками-мальчишками еще метров за пятьсот от берега слышали мерное китовое дыхание во всю глубину легких. Сначала глубокий вдох, растягивающийся чуть ли не на минуту, и такой же выдох. Это дыхание пугало. Казалось, оно шло отовсюду, точно дышал весь мир.

Постепенно оно становилось все ощутимее. Клочков ждал, когда же океан наконец откроется и он его увидит? И тем не менее, когда за последним барханом из черного вулканического песка вдруг возникла сияющая сфера размером в бесконечность, он не поверил сам себе.

Могучая стихия с ревом набрасывалась на берег в желании поглотить его и с пугающей неохотой уползала обратно в пучину. Пространство производило впечатление совершенно живого, разумного существа. Оно равномерно вздымалось и расступалось, образуя бездны нагромождений.

Впоследствии он прочитал у Иоанна Кронштадского: «Чувство человека, открывшего для себя Бога, можно уподобить изумлению лягушки, оказавшейся на берегу океана».

Изумление и мистический страх! Вот что испытывает каждый человек на кромке вечности, все еще в глубинах своих недоступных человеку.

Пашку обуял такой восторг, что он оторвался от мальчишек, с криком, как безумный, побежал навстречу стихии, на ходу скидывая с себя одежды, забегал в обжигающую холодом волну, чрезвычайно довольный собственным озорством, справил в океан малую нужду, одновременно стараясь перекричать шум волн.

Окунувшись с головой, он выбежал, стуча зубами, на берег. Ему тут же помогли одеться, налили из термоса горячего чая. А его старший товарищ, будущий полковник Щавелев Николай Алексеевич, а тогда просто Колька-кадет, сказал:

— Зря ты этак, брат, горячишься. Боком бы не вышло. Тут надобно перекрестясь, с уважением. Он же живой, как видишь!

И так и случилось! Уже вечером Паша почувствовал недомогание, у него даже поднялась высокая температура, но к ночи прошла, он вспомнил слова Кольки Щавелева и испугался, словно последний язычник.

На другой день ему опять выпало идти на то же самое место с другими спутниками. И уже подходя к Нему и услышав впереди Его дыхание, Пашка мысленно попросил прощения за вчерашнюю бестактность, объясняя все собственной неразвитостью и недостаточной зрелостью. И океан, Клочков почувствовал это всем сердцем, словно обрадовался его словам.

Чего в самом деле обижаться на какого-то несмышленища?

По сравнению с океаном Авачинская бухта, самая большая бухта в мире, производит умиротворяющее впечатление. Кроткая, спокойная, прогретая в своих многочисленных маленьких бухточках и заводях настолько, что можно летом купаться даже детям.

Прямо с берега ребята ловили крабов, морских ежей, лосося. Зимой, а то и летом в бухту заходили стада котиков и морских львов. Прямо под Никольской сопкой лежала полоска суши, которую условно можно назвать городским пляжем. Там и решено было произвести дуэль.

В то время, о котором идет речь, дуэли были уже анахронизмом. Можно было оскорбить человека без всякой угрозы для его собственной жизни. Вошел в моду, за что отдельное спасибо государю-императору Александру Второму, суд с его законами, присяжными заседателями, прокурорами и такими адвокатами, как Плевако, Карабчевский, Герард.

Но в армейской жизни еще нет-нет да и происходили случаи, похожие на наш. Потому что слово «честь» в этих кругах еще некоторое время не было пустым звуком.

Конечно, ордер проведения опрощался. Уже не велся так тщательно или, по крайней мере, как прежде, протокол дуэли. Не назначался суд чести. Распорядитель и секунданты не писали дуэльные скрипты, в которых анализировались и отображались кондиции соперников, учитывающие жизненный и дуэльный опыт стрелка, возраст, дистанцию и т. д. Что в случае ранения, а еще хуже, смерти, как-то оправдывало всех участников в глазах общества. В этом крылся большой смысл.

После дуэли на основании протокола секунданты писали подробный отчет, который рассматривали уже органы правопорядка.

В нашем случае вся дуэль вообще выглядела сомнительно. Виталий Гантимуров играл вынужденную и вымученную роль. Стреляться он не хотел, потому и назначил смехотворную дистанцию в пятьдесят метров, в то время как люди, когда уж кипели настоящие страсти, стрелялись и на пяти шагах!

Притом договорились произвести по одному выстрелу. Не до ранения, не до смерти, а именно один. Попал, не попал — неважно. Главное, дуэль состоялась и оскорбление смыто. Кто первый стреляет, определял слепой случай, в данном случае — орел или решка.

Виталий Сергеевич делал карьеру. Он хотел отличиться в глазах общества и в том числе Василия Осиповича, мужа оскорбленной женщины, который уж никогда бы не рискнул заступиться за честь жены таким образом. В чем состоит само оскорбление, поручик также не выяснил, мадам Родунген не стала вдаваться в подробности, просто расплакалась на мощном плече Гантимурова и назвала имя обидчика.

Гантимуров не учел одного обстоятельства, что в свое время Клочков был чемпионом Владивостока по стрельбе. Последние годы он стрелял мало, не было нужды, но знал, что попадет, не глядя, на звук, на шорох, а уж если прицелится!..

Как ни торопился чиновник по особым поручениям, но к назначенному времени опоздал. Гантимуров, секундант и одновременно распорядитель дуэли Григорьев, а также зубной врач Шумилин уже ожидали его.

Холодно извинившись за опоздание, Клочков предложил начать. Григорьев, как и должен был по протоколу, еще раз предложил обоим участникам примириться. Бледный Гантимуров отрицательно покачал головой. Клочков только пожал плечами.

— Виталий Сергеевич, я не питаю к вам вражды или какого-нибудь схожего чувства, а также понимаю, что вы попали в глупое положение, из коего выход может случиться отнюдь не комический. Посему, чтобы вы не мучились, я вынужден вас не изувечить и тем самым превратить в калеку, а убить сразу единым выстрелом.

Гантимуров смолчал и только проглотил слюну, чуть дернувшись горлом.

Бросили монетку. Выпало стрелять первым ему. Отошли на пятьдесят метров. Стрелялись уже не из дуэльных пистолетов, а из револьверов системы наган.

— Можете стрелять, Виталий Сергеевич! — взволнованно выкрикнул поручик Григорьев.

Гантимуров долго целился, пока у него от волнения не запрыгала мушка, он опустил руку и, передохнув, снова прицелился.

Клочков, бледный и страшный, расставив широко ноги, стоял к стреляющему анфас и смотрел прямо перед собой.

— Да стреляйте же, черт вас побери! — рассерженно крикнул он. Гантимуров нажал на курок и разочарованно выдохнул.

Пуля просвистела рядом, ротмистр услышал, как она рассекла воздух рядом с головой. Молодца, Виталий Сергеевич!

— Ваша очередь, Павел Михайлович! — объявил поручик Григорьев.

Гантимуров встал боком и скрестил на груди руки

Ротмистр поднял револьвер и сразу выстрелил. Противник упал. Шумилин с Григорьевым бросились к нему, склонились, чтобы проверить попадание.

— Жив, слава богу! — закричал Шумилин, оборотясь к Клочкову. — В плечо, в плечо попали!

— Ну и хорошо, — вздохнул Клочков и пошел по каменистой кромке назад.

Когда он вернулся домой, Рашель Бутон сидела в кровати, как Ида Рубинштейн на картине Серова, и встревоженно смотрела на него.

— Где ты был?

— Служба, будь она неладна!

Буквально пяти минут не прошло, как в дверь постучались. Вошла горничная Мономаховых и попросила мадам Бутон к Софье Михайловне.

— Скажи, что придет тотчас как встанет.

— Да у них принято, чтобы к завтраку выходили все. А у тебя и завтрака нет, наверно, — с укоризненной улыбкой сказала мадам Бутон.

— Да, — серьезно сказал Клочков, — нынче я завтрака не планировал. Протокол протоколом, но разбирательства после любой дуэли было не избежать. Самое малое взыскание — домашний арест. Если без последствий. А Гантимуров все-таки ранен. Ему предстоит вылежать в лазарете дня три. Серьезно он ранен или нет, неважно. Хотя на пятидесяти метрах пуля не должна войти глубоко. И упал он скорее от страха. Но все равно реакция неминуема.

Так что, когда через час в дверь постучался Матвеев, Клочков уже был при полном параде.

— Ох, и натворили же вы делов, Павел Михайлович, ой, и натворили! — запричитал с порога городской.

— А ты что — не натворил?

— Мои-то еще доказывать надо, ваше благородие, а ваши-то наруже все. Так что пожалуйте к губернатору. Велели собираться сию минуту. Сильно разгневался, видать. И усы все крутил, то левый накрутит, то правый. И глазом вот так делает, — Матвеев показал, как часто мигает Николай Владимирович одним глазом.

— Тик, что ли?

— Во-во, он самый! — подтвердил городской.

Едва только Клочков переступил порог кабинета, губернатор, стоя к нему спиной, строго сказал:

— Извольте сдать оружие, милостивый государь, и отправляться в камеру.

— Может, под домашний арест, ваше высокопревосходительство? — осмелился спросить Клочков.

— Вон! — вдруг закричал губернатор. — Я сказал — вон!

Клочков положил револьвер на стол и, пятясь задом, вышел из кабинета.

В гостиной возле патефона собралась вся семья Мономаховых с детьми и Рашель с Фернандо. Софья Михайловна завела патефон.

Послышался необыкновенно низкий по тембру и редкой красоты и глубины голос.

— Кто это? — почему-то вздрогнула Рашель.

— Это наша Варя Панина, — сказал младший Миша.

— Божественно, — горделиво прошептал Николай Владимирович.

— Редкий голос. Отменное пение, — искренне поразились Лулу.

— Она умерла в тридцать девять лет от болезни сердца. Про Шаляпина слышали? Знаете?

— Да. Он приезжал в Париж.

— Он к ней в ресторан в «Стрельну» ездил, она ему за пять рублей песни пела.

— Она цыганка, — вдруг сказал Фернандо.

— С чего ты взял? — спросила Рашель.

— Что я, цыганку не узнаю?

— Да, она еще девочкой в цыганском хоре выступала, — подтвердил Николай Владимирович.

— Она и у нас бы знаменитой была с таким голосом, — сказал Томатито.

*Исчезли чудные мгновенья,
Угасли яркие мечты,
Трепещет сердце от волненья
И чувства мрачной пустоты.
С тобою, ангел мой небесный,
Расстаться я должна теперь,
Но светлый образ твой прелестный
Забывать не в силах я, поверь!
Прощай навек, моя любовь,
Прощай навек, моя любовь!*

— Про что она поет? — вдруг в волнении спросила певица.

Софья Михайловна перевела. Лулу переглянулась с Томатито и вдруг заплакала. Николай Владимирович кивнул.

— Да, до слез! Понимаю вас! Вот что такое искусство! Мне однажды посчастливилось слышать нашего знаменитого Давыдова в «Эрмитаже» Лентовского, где он впервые исполнял романс «Пара гнедых».

— А где я была в это время? — ревниво спросила жена.

— Не помню, неважно, — отмахнулся Николай Владимирович. — Так вот, в зале стон стоял. Артистку Гильдебрандт увели покачнувшуюся со сцены. Хористки плакали навзрыд. Мужчины сидели в зале с закушенными губами. Я взглянул в соседнюю ложу. Там сидела оперная артистка Тильда из гастролировавшей тогда в «Эрмитаже» французской оперы Гинцбурга. И я поразился. По щекам у нее текли крупные слезы!

— И что тут удивительного? — вновь спросила Софья Михайловна.

— В том-то и дело, что она не знала слов! — воскликнул губернатор. — Не понимала русский язык. Но понимала слезы, которыми пел артист, понимала человеческое сердце!

— Да, мне тоже кажется порой, что я уже начинаю понимать русский язык! — воскликнула с восторгом Лулу.

Семья провела у патефона весь вечер, пока не переслушали все. Последней Софья Михайловна поставила пластинку Рашель «Дурацкая любовь».

При первых звуках своей музыки французские гости встретились. Томатито с гордостью заговорил, тыча себя в грудь:

— Это я сочинил! Не верите? Мне было двенадцать лет!

— Да, да, это его песня! — подтвердила Лулу.

— Хорошие слова, — покачал головой губернатор.

— А слова мои. Я услышала его мелодию, а стихи уже сочинила давно. И они совпали. Это было такое чудо!

— И слова хорошие, умные, — снова покачал головой губернатор.

— Нет, нет, это плохо, сейчас я уже играю намного лучше. Давайте покажем, мадам Рашель.

И они запели. И, на самом деле, Фернандо сейчас играл по-другому, не демонстрировал свою виртуозность, как на пластинке, легко и изящно аккомпанировал, не выпячивая себя, а подводил к исполнительнице и умирал в ней. Когда же подошла минута импровизации, он вдруг так завихрил мелодию, что слушатели потянулись со стульев. И так и сидели допоздна, пока Рашель умоляюще не поглядела на Софью Михайловну.

— Ну, что ж, пора. Сашенька, Миша, прощайтесь с мадам Рашель, завтра рано утром она от нас уезжает.

Дети очень трогательно прощались с Рашель и Фернандо. Миша заплакал, Саша как взрослый прошептал ей какие-то слова на ухо и покраснел, Рашель засмеялась и погладила его по голове. Мальчики пожали руку манушу. Николай Владимирович пожелал Рашель спокойной ночи, потом тоже пожал Томатито маленькую, но умелую руку и откланялся, обещая проводить их завтра на пароход.

Когда все, в том числе и Фернандо, разошлись по своим комнатам, Рашель сказала:

— Дорогая Софья Михайловна, мне надобно проститься с Павлом Клочковым. Пароход отплывает в семь утра. Я не могу не проститься. Я вернусь к шести.

Софья Михайловна отвела взгляд — рубить так рубить! — и решительно проговорила:

— Милая Рашель, это невозможно. Павел Михайлович не далее как сегодня утром участвовал в дуэли и ранил человека.

Певица вскрикнула, пошатнулась, но устояла, схватившись за спинку стула.

— Я знала, что что-то произошло, я чувствовала! Это все из-за этой неприятной женщины!

— Увы, да. В данное время господин Клочков находится в карцере, проще говоря, в тюрьме. Увидеть его вы не сможете, хотя... — Софья Михайловна споткнулась на мысли, которая вдруг пришла ей в голову, и задумалась.

— Умоляю вас! — зарыдала бедная Лулу. Она и сама от себя не ожидала такой бурной реакции. Да, она понимала умом, что они завтра распрощаются и, наверное, больше не увидятся никогда, но не была готова расстаться немедленно...

В эту ночь они и хотели обсудить дальнейшее, как будут жить друг без друга. А если вдруг представится случай, возникнет волшебным образом какая-нибудь исключительная возможность, вероятность, подарок судьбы, и он придет к ней! Почему бы нет? Что его держит на этой ужасной Камчатке? Ни семьи, ни детей! Ужасная погода, к которой не привыкнуть! Где лето похоже на позднюю осень! И грязь, бездорожье, позавчера по склону ближайшей сопки рыскал медведь!!! А служить можно где угодно, в том числе и во Франции!

Она понимала это умом, но сердцем...

Сердце подсказывало, что этого не случится никогда, что он ни за что не уедет из этой страны, как бы к ней ни относился и ни ругал последними словами, для него это точно так же, как для нее ее милый и любимый Париж! Равновеликие параллельные миры, которые не встретятся даже в искривленном пространстве! И от этого в груди образовалась какая-то огромная больная яма, которая не давала дышать, и она знала, что эта боль ее будет мучить еще долгие годы... долгие годы...

В гостиную вернулась довольная Софья Михайловна и заговорщицки прошептала:

— Я сказала мужу, что задержусь в библиотеке, но мы с вами поступим иначе. Пойдемте, только накиньте что-нибудь на себя, на улице прохладно.

Клочков лежал на деревянном настиле. Одеяло и подушку Кузьмич умудрился всунуть Матвееву, несмотря на то что это было не положено.

Но арестанта снедал внутренний жар. Он снова раз за разом переживал то секунды дуэли, то последнюю ночь с любимой женщиной, то разговор с губернатором. Уж он-то, пожалуй, мог бы войти в положение. Ведь знал все обстоятельства случившегося, как никто.

И случись ему оказаться в подобной истории, поступил бы так же. В конце концов, сам губернатор это все и придумал. Арест неизбежен, да и через несколько дней разберутся, он получит взыскание, как-то это скажется на службе, уж Василий Осипович с Чуриным постараются, но все равно Клочков почему-то не мог с этим смириться... И все шагал и шагал по камере и находил все новые и новые аргументы в свою пользу.

Любовь к Рашель сидела в сердце занозой и бередила душу. Но тут уж ничего не поделаешь. В таких случаях надо рвать резко и решительно. Даже хорошо, что его посадили в тюрьму, что он ее больше не увидит. Поболит, поболит и перестанет. Заглушит, сорной травой зарастет, и места живого не останется.

Иногда надо самому так обустроить неминуемый разрыв, чтобы, с одной стороны, он казался обидным но, как ни странно, производил отвлекающее об-

легчение. Когда он выйдет из камеры, она уже будет на пути к Америке и ее не догнать даже на крыльях.

За окном камеры раздалось какое-то шуршание. Клочков испуганно затаился. Нет, это не Матвеев, он мог бы легко войти в камеру, у него есть ключ. И Кияшко тоже это не нужно, если есть городской. Тогда кто?

— Давайте подвинем бочку, — вдруг расслышал он фразу, сказанную на чистом французском языке. Сердце забилось, дыхание перехватило.

Окно наверху. Мебель в камере отсутствует. До решетки можно подпрыгнуть и повиснуть на прутьях. А за прутьями стекло. Мутное и грязное. Его можно выбить, но тогда можно замерзнуть ночью. В самой кутузке темно. То есть настоящая темница! С улицы ничего не видно. Не видно и не слышно!

Сняв с себя сапог, Клочков, ухватившись за прутья, подтянулся, затем, повиснув на одной руке, другой ударил по стеклу сапогом и тотчас спрыгнул на твердый пол. Стекло разлетелось вдребезги, и он услышал внизу возле стены голос Софьи Михайловны:

— Павел Михайлович, вы с ума сошли?

— Софья Михайловна, это элементарная необходимость, иначе мы не только не увидим друг друга, но и не услышим.

Наконец женщины подвинули бочку общими усилиями.

— Софья Михайловна, подержите бочку, пока я залезу и поговорю, хорошо? — раздался отрывистый голос Рашель.

— Конечно, конечно, становитесь сюда коленом, вот так, облокотитесь об меня... да, да, хорошо... теперь потихонечку встаем... Отлично!.. Хватайтесь за решетку, только осторожно, не порежьтесь об осколки.

На фоне темного неба в квадрате окна появилась Рашель. Лица ротмистр не видел, но слышал ее прерывистое дыхание.

— Клочков, ты где? — спросила она шепотом.

— Я здесь, внизу, смотрю на тебя.

— Я тебя не вижу. Возьми стул, чтоб я хотя бы чуть-чуть увидела тебя.

— Тут нет стула.

— Ну, стол.

— И стола нет.

— Боже мой! Что же делать?

— Не беспокойся, меня скоро выпустят. Разберутся и выпустят.

— Я завтра уезжаю.

— Я знаю. Через восемь часов.

— Да.

Рашель заплакала.

— Не плачь. Все обойдется.

— Да.

— Сюда идет кто-то! Спускайтесь, Рашель! — скомандовала внизу Софья Михайловна испуганно.

— Клочков! — позвала Лулу.

— Да?

— Поцелуй меня, — попросила Рашель сквозь слезы.

Чиновник по особым поручениям прыгнул на решетку, схватился за прутья, при этом осколки стекла вонзились ему в ладони, резко подтянулся, лица их едва успели соприкоснуться, за короткое мгновение он успел почувствовать на ее губах слезы, и упал назад в камеру.

— Клочков, — жалобно позвала Лулу из темноты.

— Я слышу тебя, любовь моя, — прошептал как можно мягче ротмистр.

— Я лублу тобья, — сказала Лулу по-русски.

— Это что здесь такое? — раздался грубый голос Матвеева. Вот что ему делать ночью в этой каталажке? Чего не спится? Днем играет в бильярд, ночью тащится охранять тюрьму! Что за идиот?

За окном послышался грохот падающей бочки, вскрик и шум удаляющихся шагов.

— Держи вора! — на всякий случай крикнул Матвеев в дырку забора, но к стене тюрьмы подходить в темноте поостерегся. Потом проверил запоры, такой бдительный оказался сторож, и ушел домой.

Клочков долго не мог заснуть. В придачу к душевной боли он сильно порезал обе ладони. Пришлось снять с себя рубаху, разорвать ее на полосы и перевязать раны. Притом один осколок в темноте он вынуть не смог, и оставил так до утра. Раны долго ныли, пока ротмистр не притерпелся.

Даже попробовал улечься, укрыться одеялом, но спать на Камчатке с открытым окном не всегда получается. В эту ночь уж точно. На почве начались заморозки. От ходьбы по камере раны болели еще сильнее.

Пришлось смириться.

— Смирись, гордый человек!

Клочков прислонился к холодной стене, обмотавшись одеялом, и стучал зубами. Этот процесс отвлекал, вытеснял приглушенную физическую боль. А затем и к холоду привык. Замер, словно умер, отключив жизненную силу.

«Так, наверное, на морозе коченеют», — подумалось ему. Он закрыл глаза, ему показалось, что на секунду, и услышал гудок.

Это отходил с пирса американский пароход «Бичимо» фирмы «Гудзон-Бей».

Даже если бы он вылез наполовину из решетки, то все равно не увидел бы парохода, потому что окно выходило в сторону от бухты. Яркое солнце узким горячим лучом светило в стену рядом с ним. Клочков с трудом передвинулся под луч и прошептал синими губами:

— Вот и хорошо...

На пароход мадам Бутон с Томатито прибыли в последнюю минуту. Вместе с ними на борт подняли с десяток новых чемоданов, набитых всяческими камчатскими подарками и сувенирами, с которыми гости даже не успели ознакомиться.

— В Америке поглядите! Там много чего интересного.

Софья Михайловна увидела в глазах певицы немой вопрос и с улыбкой сказала:

— И меха, да!

Фернандо прослезился. Николай Владимирович прижал его к себе, а потом, подумав, вынул брегет с цепочкой и вручил манушу.

— На, носи и не забывай Камчатку.

Опоздавших торопили. Только последний чемодан подняли на борт, капитан распорядился убрать трап.

Губернатор с супругой стояли на пирсе до последнего. Рашель и Фернандо махали им, пока судно не развернулось другим бортом.

На пирсе заметно посвежело. Софья Михайловна накинула на плечи теплую тужурку из овчины. Николай Владимирович шел первым, о чем-то глубоко задумавшись.

— О чем ты думаешь? — спросила его жена.

Николай Владимирович вздохнул, поднял высоко голову и проговорил:

— Это хорошо, что они сюда приехали. Такого на Камчатке никогда не было.

— И долго еще не будет после нас, — уверенно и заносчиво ответила супруга.

Навстречу из кривого переулочка выбежал полуодетый Кодылев. Всовывая на ходу руки в рукава, он, не стесняясь никого, матерился на всю округу.

— Вот она — наша матушка Россия! — сказал губернатор, остановившись и указывая на него перстом. — Здравствуй, Русь! Куда несешься, сломя голову?

— Ды-к... это, — неуверенно начал Кодылев. — Фернанду проводить, ваше высокопревосходительство.

— Да они уже уплыли! — махнула на него лебяжьим жестом Софья Михайловна.

Кодылев остановился как вкопанный посреди дороги и раскинул руки, как пугало в огороде.

— Как же так, ваше превосходительство?

— Потому что пить надо меньше, Корней Константинович! — мягко сказала Софья Михайловна, не останавливаясь.

— О-о, завела свою шарманку, — недовольно проворчал губернатор Камчатки и пошел дальше.

Начинался новый день.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Любознательному читателю всегда интересно, как сложилась жизнь наших героев в дальнейшем. Это естественное любопытство означает, что персонажи повествования полюбили читателя, стали в какой-то степени родными, а судьба близких всегда интересна и волнует как часть общей судьбы и истории.

Вообще наша жизнь в результате и очень часто кончается во многом логично, финал закономерен и суммированно вытекает из всего предыдущего, конечно, за небольшим исключением. Бывают случайности и нелепости, но мы говорим о правиле.

— Что хотел, то и получил, — говорят в народе. А если все-таки не получил, значит, не очень хотел и не старался, и винить тут некого, кроме самого себя.

Отец Дорофей вместе с епископом Камчатским Нестором оказались сначала в Харбине, где участвовали в возведении собора Святой Софии. После того как КВЖД отошла Китаю, Нестор был выслан в Россию, сидел в мордовских лагерях, а после освобождения вновь до самой своей смерти ревностно служил церкви.

Отец же Дорофей исполнил свою мечту, явившись основателем православной миссии в Сиаме. Но и там, в конце концов, писал грустные стихи о скверном климате, об обжигающем солнце и нестерпимой жаре. Ушел он светло и благочестиво, как и жил.

Месторождения золота и платины на реке Волчьей были все-таки найдены, их можно по праву сравнивать с американским Клондайком, они существуют и по сию пору.

Губернатор Мономахов самолично проехал на собаках две тысячи верст на золотой прииск «Дискавери» и был поражен его богатством. С примитивным инструментом браконьеры намывали за месяц до четырех фунтов золота.

Чурин с Настасьей уехали в Америку в Сиэтл, где открыли ресторан «Русский дом», который быстро разорился. Чурин запил и бывал очень собой нехорош. С Настей они расстались. Ее пригласили в другой ресторан петь русские народные песни, что она делала весьма успешно. Савелий Игнатьевич ревновал ее и караулил под окнами ресторана, пока его не избili неизвестные бандиты. Он попал в больницу для бедных, где и почил без ухода, не нужный никому.

Родунгены также эмигрировали. Сначала в Китай, оттуда в Европу. Где-то по дороге во Францию Василий Осипович потерял свою супругу. То ли в Бухаресте, то ли в Константинополе. Василий Осипович работал в Париже таксистом и однажды видел, как из ресторана «Максим» вышла в манто знаменитая актриса Рашель Бутон. Она прошла мимо, и он не решился окликнуть ее.

Виталия Гантимуrowa расстреляли большевики. Во время казни он вел себя мужественно и глаз не закрывал.

Николай Владимирович прожил на Камчатке с 1912 по 1916 годы, но память о нем не истерлась до сих пор. Здание театра, возведенное при нем, простояло до 1936 года, пока не сгорело. При нем в городе выстроены новый собор во имя Святых апостолов Петра и Павла, приходская школа, новая часовня над братской могилой защитников города от англо-французского десанта. Им утвержден герб города, который существует и поныне. При его участии появился городской телефон. Он основал высшее начальное училище, жан-дармерию, сейсмическую станцию, провел дорогу до нынешнего Елизово и многое, многое другое.

Дочь Наталья Мономахова писала стихи.

*Пусто здесь, тихо...
Не слышно ни звука,
Дом заколочен, стоит одиноко.
Грустно на нем отразилась разлука
С тем, кто уехал куда-то далеко...*

Младший сын Миша стал балетмейстером. Служил во Львове в театре оперы и балета.

В 1916 году губернатор во главе семьи уехал в Петербург в шестимесячный отпуск, тут грянули революции, сначала первая, потом вторая, еще более оглушительная. Просчитав все возможные варианты, Николай Владимирович порешил, что для семьи лучше будет, если они переждут эту смуту за границей.

И на этом следы их теряются...

Кабаре в театре Мономаховых в Петропавловске-Камчатском еще несколько лет собирало полные залы.

Фернандо Жозе Томатито стал всемирно известным музыкантом и композитором. Его произведения считают за честь играть все ведущие гитаристы мира. После Второй мировой войны, в течение которой ему пришлось скрываться из-за своего цыганского происхождения, он сильно подорвал свое здоровье, а тут, как на грех, поменялась мода, и на концертные и танцевальные площадки пришел агрессивный бибоп.

Конечно, Фернандо мог приспособиться и к изменяющемуся вокруг него миру, но физических сил не хватило. И в 1950 году он умер от инсульта. Недавно весь джазовый мир праздновал его столетие, и во всех концертных залах на всех континентах звучала его знаменитая «Дурная любовь».

Кодылев стал преподавать в открывшемся в городе художественном училище музыку и очень гордился, что играл в одном ансамбле с самим Томатито.

В 1919 году, когда к власти на Камчатке пришли большевики, бывший чиновник по особым поручениям Клочков Павел Михайлович, будучи в здравом рассудке и трезвой памяти, отменно погуляв напоследок в лучшем кабаке города, застрелился на пирсе из табельного оружия.

А через два года известная французская певица Рашель Бутон, жена модного адвоката, получила оказией письмо, пропутешествовавшее через Японию, Америку и Испанию.

Доставил ей его Яков Борисович Нейман. Какое-то время он жил в Нью-Йорке у брата, открыл собственную юридическую контору и вообще позабыл про само существование какого-либо письма. А когда пришла пора ехать по делам в Европу, вспомнил по простому совпадению про Рашель Бутон, прочитав о ней какую-то пакость в бульварной газетенке. Тотчас бросился искать письмо и, к своей радости, нашел его на дне старого саквояжа.

Мадам Бутон приняла его исключительно любезно, но, когда он сказал, что приехал с Камчатки, она чуть не упала в обморок. Письмо при нем она читать не стала, а, пригласив в гостиную, угостила кофе и расспросила обо всех знакомых, кого помнила. Весть о Клочкове приняла мужественно, но словно окаменела и не сказала более ни слова.

Якову Борисовичу пришлось извиниться и спешно откланяться.

Когда осталась одна, Лулу заставила себя сорвать с письма сургучную печать и прочла короткую записку.

«Здравствуй, Кнопка.

Так или иначе, но вести обо мне дойдут до тебя. Мир не такой огромный, как нам говорили в детстве отец и мать. И оказалось, что для меня в нем не нашлось места, но не грусти и не печалься.

Если ты меня уже забыла, тебе будет приятно знать, что где-то на краю света, у черта на куличках, тебя помнят и до сих пор поминают простые люди.

Уезжая с Камчатки, Софья Михайловна подарила мне твою пластинку, и я ее слушаю каждый божий день. Пластинка уже стерлась и, в трех местах поцарапанная, крутится на одном месте, но я все равно ее завожу, чтобы услышать сквозь шип твой голос. Тогда мне снова кажется, что ты рядом в моей комнате и нам стучит через стену Кодылев, который тебя тоже любит.

А если ты меня не забыла, знай, что всем сердцем я молюсь о твоём счастье и покое!

Да будет сияние над тобой, любовь моя!

Обнимаю тебя крепко-крепко, твой навеки Клочков».

Рашель Бутон, известная актриса, певица и автор собственных песен, прожила долгую жизнь и, как это часто бывает, новые времена, безжалостные к прошлым кумирам, не пощадили и ее.

Постепенно ее перестали приглашать в программы и концерты. Не имея ни семьи, ни детей, она быстро опустилась, начала пить, пережила череду публичных скандалов, ее фотографии не сходили с полос бульварной хроники в отделе происшествий.

После одного из таких происшествий старые товарищи-музыканты сбросились и устроили ее в дорогую клинику, где она лежала несколько месяцев.

Вышла из нее она окрепшей, и снова удача улыбнулась ей, несмотря на сложный, а иногда и просто невозможный характер. Ее пригласили в программу, где у нее был свой номер. То, что она всегда хотела и добивалась с детства.

Последнюю песню, которую она написала, в течение нескольких лет пела вся Франция.

*Где все мои любимые?.. Где все мои любимые,
Все те, которые так меня любили
В былые времена, когда я была красива?
Прощайте, неверные.
Они — я не знаю где. На других свиданиях.
А мое сердце все же не постарело.
Где все мои любимые?
В грусти и возвращающейся ночи
Я остаюсь одна, одинокая,
Без поддержки и помощи,
Безо всяких пут и оков, но и без любви.
Как выброшенный обломок, тяжело мое сердце.
Я в былые времена знала счастье,
Праздничные вечера, обожателей.
Я раба воспоминаний,
И это заставляет меня страдать.
Где все мои любимые,
Все те, которые так меня любили
В былые времена, когда я была красива?
Прощайте, неверные.
Они — я не знаю где. На других свиданиях.
А мое сердце все же не постарело.
Где все мои любимые?
Ночь кончается, и когда приходит утро,
Роса плачет вместе со всеми моими горестями.
Все те, которых я люблю, которые любили меня,
В бледном свете исчезли (растворились, изгладились).
Я вижу, как уходит туман с моих глаз,
Все эти куклы, которых я вижу, — это они.
Борясь вопреки всему, из последних сил,
Я верю, что еще обниму их. Где все мои любимые,
Все те, которые так меня любили
В былые времена, когда я была красива?
Прощайте, неверные. Они — я не знаю где,
На других свиданиях.
А мое сердце все же не постарело.
Где все мои любимые?*





Геннадий МИРОНОВ

«Солнце любит всех»

Письмо Сталину, или Ответ пианистки

Марии Юдиной

Бесконечная радость любви и добра, воплощаясь в торжественный звук,
из источника веры рекою текла и срывалась с порхающих рук.

Тихой скорбью клавирный шумел Иордан из «Рекорда» в московской глуши.
Эту музыку слушал усатый тиран, размышляя о тайнах души.

Кто же лирой посмел за живое задеть полубога грузинских кровей
и в Adagio высшие силы воспеть? Кто же этот бесстрашный Орфей?

На рояле одна из Христовых невест вдохновенно играла в ночи, —
пианистка Мария, носившая крест под хламидой из черной парчи.

Оркестранты ей вторили, дух затаив, и от страха дрожал дирижер,
повторяя в душе этот грустный мотив как расстрельной статьи приговор.

Звуки Моцарта тихо являлись на свет, шелестели, подобно дождю.
Лишь к утру записав этот слезный концерт, отослали пластинку вождю.

Он все слушал ее и три ночи не спал, — Ахиллес, пораженный в пяту,
то, как бес, хохотал, то надрывно рыдал. Видно, с совестью был не в ладу...

Пианистка играла, и виделось ей, что еврейскую дочь сам Христос
через залы искусства ведет в Колизей по ковру из нарциссов и роз.

На трибунах гудел возбужденный народ. Выступали с речами жрецы.
У арены, заполнив широкий проход, ждали казни святые отцы.

Тихо пели они, чтобы страх победить, чтобы муки их были легки,
и молили Христа милосердно простить неразумным врагам их грехи...

Сотни тысяч священников в алой крови на арене лежали ничком, —
над телами стоял беспощадный раввин и махал ритуальным клинком.

«Сколько будет еще человеческих жертв? — прошептала Мария в слезах, — Я боюсь, что теперь не увижу Твой свет в этом мире, где царствует страх».

«О, Мария, не плачь! — ей сказал Иисус. — Мы едины в несчастье земном. Славя Бога за все, утоляй свою грусть белым хлебом и красным вином...»

На прокатном рояле цветы и конверт, — из Кремля приезжал воронок.
Двадцать тысяч рублей за прощальный концерт пианистке прислал полубог.

Но Мария, живущая вечно в долгах, помогавшая ссыльным «врагам»,
не пеклась о квартире, болящих ногах и была равнодушна к деньгам.

В благодарность она написала тогда меценату Иосифу так:
«На ремонт старой церкви я деньги отдам. В этом вижу особенный знак.

Истребляя народы за ложную власть, тьма царила в грузинской груди.
Я просить буду денно и ночью за Вас. О, Господь! Просвети и прости...»

Бесконечная радость любви и добра, воплощаясь в торжественный звук,
из источника веры рекою текла и срывалась с порхающих рук.

Мимолетные розановские ямбы

Совсем недолго мне носить осталось
Дырявый золоченый портсигар
И новое пальто... Но где же радость?
И где печаль? От мира я устал.
В душе моей — пустыня среди скал.
Я вышел весь... Похоже, это старость.

Моя любовь к вещам, мои привычки
Осыпались, как старая листва.
Жизнь держится на мне едва-едва.
Я еду по Бассейной, сидя в бричке.
Ухабам в такт седая голова
Качается на шее, как на спичке.

Проходим людям я совсем не нужен,
И сам ко всем сегодня равнодушен.
Я выдохся... Покрыта пылью шляпа.
Какой-то гадкий тошнотворный запах
От портсигара и пальто из драпа,
Как будто их владелец мылся в луже.

Наверно, надо выбросить меня,
Как те цветы, что в третий день увяли?
Проходит жизнь, копытами звеня.
Куда она идет, в какие дали?

Зачем ей все любовные печали
И радости? — Представьте, знаю я...

Я браку посвятил бы лучший храм!
И пусть ханжи кричат, что это срам.
Меня пленяли Веста и Эрато,
Мужская сила в Аписе рогатом.
Я женским наслаждался ароматом
И Богу верен был, как Авраам.

Люблю красивых женщин и мужчин,
Боготворю зачатие и роды.
Но людям в наступивший век машин
Нужны, увы, не таинства природы.
Рекой течет по жилам сладкий джин,
И племя гибнет в омуте свободы.

С мольбой смотрю в небесное стекло
Глазами киликийского еврея,
В бессмертие души почти не веря.
И еду тихо, чтобы не трясло, —
Листочками изрядно облетел я.
Но Солнце любит всех, и мне тепло.

Говорил литератор в шутку

*Александру и Маргарите
Беляевым*

Говорил литератор в шутку перед смертью своей супруге:
«Заверните меня в газету. Я был верным слугой газет».
А супруга сидела рядом и его целовала руки.
Неужели они с супругом вместе прожили двадцать лет!

Сын священника жил в постели при безбожной советской власти.
Параличного все жалели. Видно, Ангел его хранил.
Маргарита ему открыла, что такое земное счастье,
что такое семья и дети... Александр ей открыл свой мир.

Фантастический мир иллюзий он творил, сочиняя прозу:
с Иктиандром нырял в пучину, с Гуттиэре роман крутил,
с Ариэлем летал по свету, силой мысли взмывая в воздух,
и главу оживлял без тела, чтобы к Богу найти пути...

Литератор лежал в исподнем, лишь прикрытый простышкой белой.
От голодного истощенья возвышался горбом живот.
За окном подвывала вьюга, погребальные песни пела.
Грохотал, точно бил в литавры, вдалеке Ленинградский фронт.

Сон о мертвом брате

Юрию Левитанскому

Мой брат пришел ко мне, но был он неживой,
с простреленной насквозь, поникшей головой.
Холодная ладонь легла в мою ладонь.
Меня сквозь сон пронзил его смертельный стон:

«Что сделали со мной, ты видишь, милый брат?!
Война тому виной, хотя я не солдат.
Я мирный человек, пришедший на майдан,
где ангел, почернев, застыл, как истукан,
а люди, озверев, забыли о любви
и утопили мир в пылающей крови.
Там в снайперский прицел на миг попал и я,
в затылок или в лоб ужалила змея.
И яд проник в меня стальным веретеном,
и радость бытия забылась мертвым сном.
Скажи мне, добрый брат, что делать мне теперь,
когда внутри меня семиголовый зверь?!
Я за грехи людей проказой поражен, —
за слезы матерей, сестер, детей и жен.
Моя душа горит и в клочья рвется плоть,
и змеями из дыр, шипя, струится злость.
Но это не конец, а дальше будет взрыв,
и выплеснется ад сквозь лопнувший нарыв,
и многорукий бес войдет в сердца людей,
чтоб башню до небес создать из их костей,
и кровь из ран рекой текла, текла, текла,
и, злобою горя, взрывались их тела,
и матери рожать отказывались впредь,
и мудрые отцы обожествили смерть...»

Сквозь сон я отвечал: «Христос — наш поводырь!
Он нас с тобой ведет в свой горний монастырь.
Ты для меня — и крест, и истина, и жизнь.
Прошу тебя, мой брат, на спину мне ложись.
На небо побредем по мукам бытия.
Мы вместе обретем свободу, ты и я.
Войдем под светлый кров Небесного Отца,
там ангелы печать тебе сотрут с лица...»

И теплая рука легла на спину мне,
как будто наяву, как будто не во сне...

Невоград

Игорю Царёву

Невоград священный стал Альма-матерью
для умов великих российской нации.
Вот и ты прошел здесь, хвала Создателю,
по ступеням высшей версификации.

Да, какие были поэты-щеголи,
из каких созвучий рядили маковки,
не цари, но царской походкой цокали
вдоль Фонтанки, Мойки, Невы и Карповки!

В Петербурге тучи висят над крышами.
Спиртом горе льется, мутит сознание.
Пес бездомный лает и лает виршами,
выполняя с чувством Небес задание.

Покидают Землю поэты-странники...
Запиши всех, Отче, в Твоем Помяннике!

Гипердактилический канон

Когда святым ставят памятники
и те становятся идолами,
которым молятся праведники,
руководимые риторамии...

Когда цинизм проповедуется,
войну народов развязывая,
и цель благая преследуется:
всем тварям — камера газовая...

Когда вокруг толпы верующих
в божков и листики фиговые,
найдешь ли к Господу ведающих
пути сквозь догматы фриковые?!

Когда же гроздь рябиновые
затмят все звезды рубиновые?

Наш век на земле чрезвычайно короток

Марине Цветаевой

Наш век на земле чрезвычайно короток.
Успела бы ты полюбить меня?
Так трудно найти в мутной речке золото,
Как остановить на скаку коня.

Любить одного — это скука жуткая
Для моря страстей, что бросают в дрожь...
Любить лишь одну, про тебя скажу-ка я, —
Сплошной моветон, впрочем, это ложь.

Когда от любви загудят миндалины,
Застрянет, как кость, слезный в горле ком,
Мы будем катком бытия раздавлены.
Но, знаешь, с тобой умирать легко.

Меня опьянил горький сок рябиновый.
Твой слышится стон, точно звон малиновый.

Лакримоза Равенсбрюка

Св. Марии Парижской

Я скитался по белому свету
И однажды увидел вдали
Яснооую Елизавету —
Мать Марию, Святую Мари.

Дуновение теплого бриза
Погрузило меня в странный сон...
Изможденная Лизонька-Лиза
Надевала воздушный виссон,
От тифозного падая жара,
Прислонившись к стене. Перед ней
В ожидании «чистки» стояло
Сто таких же печальных теней.
Она бросила в жерло геенны
Полосатый тюремный наряд,
Проглотила свой крестик нательный
И вдохнула миндалевый яд.
«Свято в газовой камере место, —
Пел им песни нацистский халдей, —
Фумигация — верное средство
Против вшей и ничтожных людей».
В душегубке их всех удушили,
В крематорный сарай отвезли,
Штабелями, как бревна, сложили
У печей... и сожгли до зари.

О несчастные жены вселенной!
Много горя испить вам пришлось.
Жизнь отравлена пеплом и тленом.
Царство Божье лишь там, где Христос.

Погостинская падь

Николаю Никулину

От Погостья до Погостища болота,
по которым ни проехать ни пройти...
На войне их замостили за три года:
триста тысяч тел на триста верст пути.

Батальоны шли стрелковые, штрафные,
погибая на последнем рубеже.
А комдивы и начальники штабные
пили водку, развлекаясь с ППЖ...

Голос властный громыхал из телефона:
«Расстреляю! Вашу мать! Атаковать!»
Ординарцы разносили рык проворно
по окопам: «Расстреляю! Вашу мать!»

Шли Иваны не за Сталина на дзоты.
Култ тирана был ужасней, чем фашизм.
Страх расстрела гнал вперед ряды пехоты.
Лишь в газетах цвел квасной патриотизм.

Запугали всю страну пахан и урки,
пропагандой отравили русский мозг.
Самых лучших в той кровавой мясорубке
превратили в человеческий навоз.

Гансов тоже полегло там очень много.
Но никто о них не будет горевать.
Над костями тихо шепчется осока.
Приютила ВСЕХ погостинская падь.

Контратака

Семену Гудзенко

Все было тихо
до утра. Лишь рассвело,
в траншеях — драка
и крики:
— Gott mit uns! Hurra!
— Проклятье. Это контратака?!
Вчера мы были
«со щитом» и водку ведрами
глушили, войну оставив
на потом... И вот они
нас окружили.

С похмелья разве
разберешь, когда ты жизнь свою
прохлопал. Как тошно гибнуть
ни за грош, под пулями,
на дне окопа.
Штыки сверкают и ножи,
но все решает вой
снарядов. И мы в смятении
бежим к заградпостам
заградотрядов.
Из пулемета офицер
в людей стрелял, считая
трупы. Но снайпер взял его
в прицел и верной пулей
приголубил...
От этой смертной суеты
мне хочется освободиться,
забыть все звезды и кресты,
кровавые от боли
лица.





Евгения БАРАНОВА

«Внутри себя»



Один уехал на Чукотку,
другой в израильской глуши
вгоняет теги-блоги-сводки
в репатриацию души.

Знакомый в Риме,
друг в Бангкоке
(но ждет билетов в Хошимин).
Как рыбу, глушат нас дороги,
не приводящие в один

из тех краев, где солнца муха
гуляет в чашке голубой...
Ползет История на брюхе,
переминая под собой.

Вожди сияют перламутром,
у подданных — стальная грудь.
Боюсь, боюсь однажды утром
на пражском кладбище уснуть.



Подержи меня за руку. — Пол трещит —
Поищи мне солдатиков или пчел.
В моем горле растет календарь-самшит
и рифмованно дышит в твое плечо.

Коктебельская морось, вино и плов,
пережитого лета слепой навар.
Подержи меня за руку.
Лишь любовь
сохраняет
авторские права.

Как наивно звучит!
 Так лиане лжет
 постаревший в радости кипарис.
 Все проходит/в прошлом/ прошло /пройдет —
 для чего торопить тишину кулис?

Так готовь же алтарь, заноси кинжал,
 доставай ягненка из рукава.
 Ты держал меня за руку! так держал!
 Показалось даже, что я жива.

1913

Мне нравится глагол «выпрастывать».
 Он жил во времени, когда
 неделю шли из Химок в Астрахань
 передовые поезда.
 Скромные сменялись постными.
 Крестьяне выбирали квас.
 — В Америке, ну право, Господи,
 не то что, батенька, у нас.
 — Ты глянь, Егорий, там искусники...
 — Сережка, к гильдии гони...
 — А Маркс, я говорю вам...
 — Мусенька!
 Как вы прелестны, мон ами!
 — У Елисеева собрание...
 — Париж несносен, entre nous.
 И сумерки сгорали ранние,
 почуяв, кажется, войну.
 И, поддаваясь аллегориям,
 грустил на столике Вольтер,
 что все закончится историей
 в четыре миллиона тел.



Адам уходил на службу к семи утра,
 читал Кортасара,
 с другом делился пловом.
 А Ева любила сына. Ее дела
 проистекали меж прачечной и столовой.

А Ева любила сына, любила и
 сушила молочные зубы в смешной шкатулке.
 Не важно, где они жили и чьи огни
 не освещали улицу с переулком.

Не важно, чем они жили и сколько зим
сбивалось в снежинки снеговиком мохнатым.
Сразу — малина. Позже — инжир, жасмин.
Осенью — грузди, дождевики, маслята.

Красивая Ева. Долгий, добротный брак.
Красивый Адам собирает пластинки Брамса.
«Ты будешь хорошим, очень хорошим, так?»
И маленький Каин радостно улыбался.

Libertango

Мое кольцо ко мне вернулось.
У ивы кожица срослась.
Моя мучительная юность,
Моя решительная страсть.

Из бронзы профилем кошачьим —
на километры затаюсь —
между чужим и настоящим
идет невидимая связь.

Идет — сквозь времени портьеры.
Идет — контроллеры круша.
Как неопознанная вера,
идет на цыпочках душа.

Как снег! как выдох осторожный!
как ждет охотника фазан!
Между живым и невозможным
Его глаза.
Мои глаза.



Не уповай на ближнего. Не спеши.
Внутренняя Монголия подождет.
Ближнему хватит бледной своей души.
Ладные души нынче наперечет.

Не доходи до сути, не шулай дна.
Перекрестился в омут — да не воскрес.
Омулем-рыбкой пляшет твоя струна
в солнечном масле, выжатом из чудес.

Ты себе лестница,
лезвие да стекло,
редкий подарок,
изморозь,
ведьмин грех.
Ближний спокоен — ближнему повезло.
Не заслоняй пространства! Послушай всех.

Жадным камином совесть в тебе трещит:
Хватит ли дара? Хватит ли дару слов?
Не уповай на ближнего. Сам тащи
светлую упряжь невыносимых снов.



И вдруг я поняла, что не нужна.
Не нужен Даль, раз существует wiki.
Не нужен:
Пруст,
и хруст,
и крест зерна.
Не нужен вкус и запах ежевики.

Не знать необходимости во всем,
во всех, ко всем —
на паперти склонений.
Офелии не нужен водоем.
Чукотка не нуждается в оленях.

Молись,
лукавь,
сходи от суеты,
возглавь восстание — хотя бы для игрушек.
Мой славный,
слабый,
кропотливый,
ты,
однажды ты не будешь больше нужен.

спокойнее

внутри себя спокойнее. там лес.
и попугая розовые перья
и поцелуй в 2007-м
(какая малость, а хотелось плакать).

внутри себя есть порт, аэропорт
и кукол приснопамятные кельи

и аромат смородины во рту
и туфельки, подернутые лаком.

внутри себя уютно, хорошо,
коробкой спичек управляет лоцман
и пахнет утро «Красною Москвой»
и снегопад, и санок торжество.

какая глупость — локоть ободрать.
идет бычок, качается, смеется.
идет, уходит, мало ли — вернется.
чего там только ни было
чего.

Свекла

Зачем это время выбрало нас?
Зачем это время, а, впрочем, снег
ложится на бочку с рисунком «Квас»,
на плотных детишек, на двор, на век.

И темные тени разят плотвой,
и жители спят, притаив пятак,
и повар с резиновой головой
трет красную свёклу (свеклу, буряк).

Свекольная кровь протекает сквозь.
Так страшно дышать, тяжело уснуть.
Зачем это время, в ботинке гвоздь,
отсутствие света, любви, минут.

Где дом с колокольцем? альпийский луг?
молочные реки? кисельный мир?
И жители спят, притаив испуг,
в сиреневых складках своих квартир.

И летят голоса

И летят голоса, что птицы с твоих карнизов.
Мир суров, как Суворов.
Как Пушкин на полотне.
Не печалься, котенок,
ты тоже не будешь издан,
потому что героев — не издают вдвойне.
Потому что герои — плывут и плывут наружу,
как вексель под жабрами скапливая века.
И если ты
- болен,

- жалок,
- смешон,
- не нужен,
то в этом есть скрытый смысл.
Наверняка.
Он спрятан на дереве, в море, под облаками.
Его стережет Горыныч, друзья, ОМОН.
Тебя наградят — не справками, так венками.
Тебя наградят — коронами из ворон.
И будешь ты свят.
Оэкрашен самым Сизифом.
И будешь ты — рекламировать кофе. чай.
Когда ты уйдешь,
тебя тоже испортят мифом.
Не думай. Не кайся. Не сплетничай. Не прощай.



Ни пагуба, ни олово объятий,
ни терпкая покорность осетра.
Любить тебя, как избранный из братьев
и как сестра.

Стрелять в тебя, откладывая на старость,
глядеть, галдеть,
предсказывать сюжет.
И понимать, что время не осталось
на чай —
скучать от воплощенных бед.

И родинка, и Родина двурогим
осенним месяцем присела на крыльцо.
Не надо только говорить о Боге,
поскольку у него твое лицо.

Живаго

Я знаю о боли больше, чем собиралась.
И если считать светилом луну-усталость,
то я понимаю, что значит стоять у цели,
ее ненавидя, точнее, ее бесценя.

Я знаю, что люди, как правило, переменны,
что жизнь составляет лишний поток Вселенной.
Никто не спасется (...делаю его коемуждо) —
и в этом побольше искренности, чем в дружбе.

За прошлую зиму я застудила что-то.
По нежным посевам замерзшая шла пехота.
Взлетали, сбивали, плакали и горели —
музей преполнялся эскизами Церетели.

И каждая вера, лишь перед тем как сгинуть,
об острые взгляды больно колола спину.
И в темном окошке дымно свеча горела.
Я знаю о боли, я ее не хотела.

Ходасевичу

Где я? где я? где я? где я?
Кто из этих — точно я?
Диктофон, афиша, плеер,
Мила, Машенька, Илья?

Где та девочка-лисичка
(не боли, болиголов),
что вскрывала жизнь отмычкой
свежевыструганных слов,

четко мерила и знала,
где вершок, а где аршин?
Почему-то стало малым
то, что виделось большим.

Затерялось в панораме,
скрылось Чеховым в саду.
Где же Женя, та, что к маме
шла с пятеркой по труду?

Ромашки

Во мне живут ромашки. Белый лист
прозрачен, как движенья стрекозы,
которую Набоков-гимназист
все ловит крепдешинным сачком.

Во мне живут ромашки. Их глаза
напоминают цветом мушмулу,
которую успеет облизать
дворняга-дождь шершавым языком.

Во мне живут ромашки (турмалин,
румыны, Ромул, Рим) и аромат

горячей горки собранной земли....
Не важно, что с собой не унесешь.

В моей душе так много (чур-чуть-чуть),
почти что жарко, вроде бы простор
для каждого, кто хочет заглянуть.
Не потому ль, что ты в ней не живешь?

Не смотришь

Не смотришь в зеркальных карпов.
Не желай себе лисенка,
вкус крапивы, стук черешен,
солнце — море — каравай.

Потому что память — снится,
потому что память — пленка,
под которой остывает,
облетает голова.

Не играй с героем в шашки.
Не купи себе журнальчик.
Не кривляйся,
не ломайся,
спи спокойно, как Бальзак.

Вырастает даже репка,
папа, мама, одуванчик.
Вырастает даже кожа,
из которой шьют рюкзак.

Не смотришь в зеркальных карпов!
Не проспи. Не будь занудой.
Не приглядывайся чаще
к отражениям простым.

А иначе сам увидишь
полколоды, четверть чуда,
треть коробки, часть рисунка
и разбитые часы.

Бар «Инжир»

Убежище святых и пьяных
с кирпичной кладкою стены.
Мне одиноко, как Татьяне,
в Онегина забредшей сны.
(Девичник в обществе кальяна.

Смешно взлетают пузырьки.)
Я одинока, как Татьяна! —
незаживленный Арлекин.
Какая недолга, какая
игра божественных щедрот!
Лишь рифмы тонкие растают
и чудо чудное взойдет,
как я внесусь пушистым пеплом,
коротким всполохом ружья...
Шаги по солнцу, бег по беглым —
худая, маленькая я.

Посвящение Крыму

Вспоминай меня, отрава,
насмешник, ухарь, птичий крик
(и нежный говор Донузлава,
и караимский запах книг).

Вспоминай меня, живую,
с корнями-пальцами волос,
в соленых капельках лазури
и в босоножках на износ.

Я — только дерево, я — слово,
произносимое в горах.
Какая разница с какого
мы переводимся как «прах».

Как порох-пламя. Мед-гречиха.
Как вой бездомных Аонид.
Креманка Крыма. Очень тихо.
И чувство Родины саднит.





Максим ЧИН ШУЛАН

Утро приходит вовремя

Рассказ

— Возможно, стоит еще немножко повременить, — сказала женщина. Ее муж, до этого момента старавшийся сохранять спокойствие и пытавшийся доесть ужин, помрачнел и отодвинул тарелку с едой подальше. Теперь он был абсолютно уверен, что последние полчаса, которые он потратил на объяснение причин, почему он больше не может оставаться в полиции, его не слушали. И сейчас его терпение все-таки кончилось. Начинался скандал.

Вдруг кто-то позвонил в дверь. От неожиданности он и она одновременно вздрогнули и как по команде посмотрели друг на друга. «Ты кого-нибудь ждешь?» — одним своим видом спросила женщина. «Нет», — отрицательно мотнул головой он. Тогда женщина перевела взгляд на часы, висевшие над входом: ровно двадцать три часа — подсказали те.

Снова звонок, а за ним еще один и еще. Не вытерпев, женщина поднялась первой.

— Иди открой, — сказала она. — А я пойду проверю, как там ребенок.

Не говоря ни слова, он медленно поднялся. Вытер жирные после еды пальцы и только потом пошел открывать дверь.

— Мама! — не сдержав удивления, выкрикнул он.

Вместо приветствия или объяснения ночная гостья перешагнула порог и передала ему два пакета продуктов.

— Мама, что ты здесь делаешь? — спросил он, наблюдая за тем, как мама безуспешно пытается справиться со старым дверным замком.

— Подожди, дай я, — он подвинул ее в сторону и после небольшого усилия замок оказался закрытым. — Мама, почему ты здесь? Ты же должна быть сейчас в больнице, — повторил он тот же вопрос на другой лад.

— Должна, должна, — тяжело дыша, ответила женщина. — Что мне там одной в воскресенье делать? — с этими словами она опустила на стул отдышаться.

— Здравствуйте, Галина Николаевна, — раздался у него из-за спины голос жены. — Вас отпустили? Вам лучше?

— Привет, Надя, — все еще тяжело дыша, поприветствовала невестку пожилая женщина. Она даже попыталась улыбнуться, но улыбка, не успев появиться, моментально сменилась глубоким и болезненным вдохом.

— Лестница, — попыталась объяснить она, мотнув головой в сторону двери. — Захотелось пройтись. Семь этажей, и, надо же, как прихватило.

Она привычным движением приложила три пальца к запястью и принялась считать пульс. Один, два, три — считала она, беззвучно шевеля губами.

Повисла пауза. Все ждали.

— Сколько? — не дождавшись конца, спросил он.

— Восемьдесят, — подвела итог мама

— Это нормально? Так ведь и должно быть? — не знала невестка.

— Для вас нормально. А для меня не очень.

— Может вам скорую вызвать?

— Для чего? Чтобы они снова увезли меня в больницу? — заулыбалась мама, и в этот раз улыбка у нее получилась почти такой же, как до того момента, когда она заболела. — Не беспокойся, птичка моя. Не нужно никакую скорую. Я и на такси прекрасно передвигаюсь, — она успокаивающе дотронулась до Надиной руки, той и вправду стало полегче.

Он заметил это движение и подумал: «В последнее время они стали лучше ладить между собой». Жаль, что так было не всегда, а только после того, как начались первые проблемы со здоровьем.

— Внук уже спит? — спросила мама, успевшая встать и посматривающая теперь в сторону детской.

— Только-только уложили, — поспешно отозвалась Надя.

Мама изменилась в лице. Ее взгляд все еще был прикован к широкой черной полосе, проглядывающей из-за неплотно запертой двери. Внутри спали.

— Можно я гляну? Одним глазком. Будить я не стану.

— Мам, о чем ты говоришь? Ему уже восемь, будет не страшно, даже если ты его и разбудишь. Уверен, увидев тебя, он обрадуется, — сказав это, он моментально ощутил на себе неодобрительный взгляд жены, но сделал вид, что не заметил его.

Мама исчезла. Они молча ждали ее на кухне. Вскоре она вернулась.

— Спит, — с неоднозначным видом объявила она. Все трое сели. Неяркий кухонный свет от одной единственной лампочки тускло освещал невеселые лица людей, делая их похожими на восковые фигуры.

— Теперь ты скажешь, почему ты не в больнице? — спросил он.

— На выходные отпустили домой, — не вдаваясь в подробности, ответила мама.

— А врач знает?

— А кто мне, по-твоему, разрешил?

Он недоверчиво посмотрел в ее сторону.

— Ты не сбежала? Нет?

— Сбежала? — оскорбленно заявила она. — Думаешь, мне в первый раз было недостаточно ясно, что так делать не стоит.

— Не отходи от темы. Они бы выгнали тебя, если бы...

— Если бы у меня была сломана рука или нога или у меня было бы сотрясение мозга, — закончила она за него. — Но, слава богу, я нужна им, их чудным ножам и любопытным студентам.

— Галина Николаевна, признаетесь, вы снова сбежали, да?

— Нет, нет и еще раз нет. Сколько еще раз вам надо сказать, чтобы вы поверили? Отпустили меня. Ненадолго.

— Почему? — продолжал допытываться он. — У тебя же операция через три, нет, четыре дня. Там же подготовка наверняка необходима. Не могли ж тебя взять и домой отправить.

— Я знаю, вам страшно, — вставила слово жена. — И вам хочется домой. Но поймите, мы за вас беспокоимся.

— Беспокоитесь, я знаю. И понимаю тебя, дорогая. Прекрасно понимаю.

— Мам. Ответ на вопрос. Что случилось?

— Ничего... — она сделала паузу, подняла со стола тряпку и положила обратно. — Операцию отложили.

— Как отложили? — в один голос воскликнули они.

— Не знаю. Взяли и отложили. Подробностей мне сообщать не стали. А я и не уточняла, — мама взяла со стола тарелку и понесла ее к остальной посуде, зачехленной в раковине.

Надя, до этого момента сидевшая смирно, подскочила и через мгновение поравнялась с мамой.

— Оставьте, — произнесла она, едва не преграждая ей дорогу. — Я сама завтра помою.

— Что ты, мне совсем нетрудно.

— Нет, лучше будет, если вы отдохнете.

— Я совсем не устала. Напротив, я так соскучилась по домашней работе.

— Все же дайте мне.

— Нет, я.. — мама потянулась включить воду, и тут..

Он не знал, кто из двух женщин был виноват в случившемся. Была ли это случайность или, может, на то был умысел. Однако тарелка выскользнула из маминых рук, перевернулась в воздухе и разбилась, осколками раскатившись по полу. Повисла гробовая тишина. Молчание. Все трое замерли, не сводя глаз с осколков, так, словно то было не стекло, а семейное счастье.

— Я соберу..

— Это моя вина..

В конечном счете обе они опустились на колени и принялись собирать остатки разбитой посуды. Он присоединился к ним. Вместе они тщательно подобрали с пола осколки, а потом Надя почувствовала внезапную усталость и ушла. — Пойду я ложиться, — сказала она напоследок. — Поправляйтесь.

Ни мама, ни муж не стали ее отговаривать.

— Что случилось? Почему отложили операцию? — спросил он, как только они с мамой остались наедине.

Закатив рукава, та принялась мыть посуду.

— Что за ерунда? Я точно договорился на четверг. Какие еще могут сложности?

— Не знаю.

Она поставила перед ним чистую тарелку, затем еще одну и еще.

Он сидел, молча наблюдая за тем, как его лицо волнами расплывается на блестящей поверхности. Пока наконец мама не накинула ему на плечо полотенце, сказав: «Вытирай».

В состоянии безразличной задумчивости, больше похожей на сон, он принялся за дело.

— Как же так получилось, что ее не будет, — размышлял он вслух, не переставая работать руками. — Мы же с твоим врачом все решили. Неужели ничего нельзя сделать по-человечески. Бардак один. А деньги? Про деньги тебе что-нибудь сказали?

— Какие деньги?

— Что я заплатил, для того чтобы тебе хорошо и пораньше сделали.

— Нет, про деньги они мне пока ни слова не говорили.

— Ну, конечно.

— Сын, ты бы лучше думал над этим поменьше. Перенесут на ближайшее число, куда они денутся. Мне сегодня, когда я уезжала, так и сказали. А сейчас, если закончил, принеси продукты из коридора и выложи. Пропадут же.

Он вышел из комнаты, затем вернулся, в каждой руке у него было по туго набитому пакету с едой.

Боже, сколько всего оказалось куплено: овощи, фрукты, мясные полуфабрикаты, консервы и даже хлеб. Шелестя пакетами, он сперва разложил содержимое вокруг себя, а затем стал укладывать все добро в холодильник.

— А может, есть что-то, что не дает им начать операцию? — не отвлекаясь от дела, произнес он. — Как ты себя в последнее время чувствуешь?

— Так, как и должен чувствовать себя больной человек: неважно. В этом смысле у меня ничего не менялось.

— Нет, я серьезно. Нельзя же так взять и без объяснения причин оставить человека без лечения. Тебе нужна эта операция. И в самое ближайшее время.

— Нужна. А что толку? Ну, сделают, и что с этого? В моем-то возрасте новый сердечный клапан — это пять, максимум шесть лет жизни. А потом...

— А потом его опять менять надо?

— Боюсь, нет. Уже не надо.

Где-то далеко за окном завывала собака. Ее вой, обреченный и безутешный, случившийся так не к месту, казался не чем иным, как прощальной песней. От первых же его звуков мама вздрогнула и, кажется, даже немного побледнела, как будто кто-то коснулся ее холодными руками. А вой тем временем длился и длился, так долго, как бесконечный. Вдруг прекратился и начался опять.

— Вой на свою голову, — будучи суеверной, быстро сказала мама.

Он же, по собственной традиции считая, что бедное животное ни в чем не виновато, всегда говорил: «Вой на голову какого-нибудь преступника». Вот и сейчас, сказав свое: «Вой на голову преступника или другого плохого человека», он подошел и закрыл окно.

Собачья мелодия стала тише, а после исчезла совсем. И время пошло опять. Было слышно, как оно топает у себя в часах: тик-так, тик-так. И по мере того, как оно шло, его неизменно сопровождали звон посуды и шелест пакетов.

Он почти закончил разбирать гостинцы, как вдруг остановился и замер. У него на ладони лежала ярко-красная упаковка с шоколадными шариками внутри. Конфеты. Внизу лежали еще одни, уже в синей упаковке. А еще ближе полураздавленный йогурт. Он улыбнулся.

— Взяла попробовать. По-моему, мы такие еще не ели, — сказала мама, вынимая конфеты у него из рук. — Возьми себе две. А одну я заберу с собой.

— Тут всего две.

— Как две? — переполошилась она. — Должно быть три.

Он внимательнее покопался в пакетах, даже потряс один для полной уверенности. Все-таки две.

— Не может этого быть. Я помню, как брала три. Точно три. Еще подумала: один вам, один Саше и один мне. Неужели опять на кассе забыла? Эти ужасные очереди — кто-то давно должен был решить эту проблему. И кассирша, тоже мне, не могла напомнить, пока я рассчитывалась. Сейчас ест мои конфеты, наверное, и радуется.

— Да бог с ними. Зачем ты вообще столько всего набрала? Кто это есть будет?

— Ну ты же жаловался, что недоедаешь, вот я и купила, — обиженно заявила она. — Смотри как похудел. Щеки как у больного.

Вид у него, и правда, был уставший.

— На работе есть не получается. А дома продуктов и еды хватает.

— Ну, этого ты мне не говорил. Ты как сказал? «Не кормят». Я так тебя и поняла.

Он хотел было возразить, но осекся. Спорить было бесполезно.

А пока он молчал, мама закончила с посудой и теперь, видимо, что-то разыскивая, открывала одну тумбочку за другой.

— Ты уже убрал эскалоп? Да? Ну-ка, доставай его обратно. Сейчас твое любимое мясо будем готовить, — скомандовала она, продолжая стучать дверцами. — Сыр, лук, все вынимай.

— Мам, уже поздно. К тому же мы только недавно поужинали. Надя меня накормила.

— Где у вас тут сковорода? Что за привычка постоянно все переставлять. Никакой тяги к порядку.

— Слева от тебя.

— Слева, слева.. Я там, кажется, смотрела. А, все, нашла. Перекладываете, перекладываете.

— Мааам, — взмолился он.

— Слушай, мне кажется, она плохо помытая.

— Не может такого быть.

— Да вот. Точно тебе говорю.

Ослабленной рукой она поднесла сковороду прямо к его лицу. Два масляных подтека ржавого цвета вынудили его отвернуться.

— Ну, убедился? — торжествующе заявила она. — Спорю, это твоих рук дело. Бросил все так и ушел по своим делам.

Ему показалось, что за стеной кто-то ворочается.

— Вот как ты квартиру купишь? — продолжала мама. — Скажи мне? Когда у тебя дома такой беспорядок. Помнишь, как твой отец говорил, царство ему небесное: «Стыдно жить не в бедности, а в грязи».

— Мам, прекрати. Это совсем разные вещи.

— И в кого ты такой? Разве я тебя так растила?

Он стоял, не шевелясь, но внутри у него все так и кипело. Он чувствовал, что еще немного и будет предел, и он наконец-то взорвется. Повысит голос или даже накричит. А она все причитала и причитала. Ходила туда-сюда, мыла, терла, доставала и снова мыла. При этом постоянно жалуясь по любому, даже самому маленькому поводу, и ему стало вдруг до того смешно от всего этого, в особенности от самого себя, что злость, внезапно возникшая, исчезла.

— Ну что ты стоишь без дела, — повернулась она к нему, подперев бок рукой. — Принимай бой. Разморозь мясо и начни резать овощи, пока я тут приготавливаюсь. Знаешь, маленький ты был гораздо умнее, все сам делал, только подойдешь к тебе что-то помочь, а ты сразу: «Мама, я сам», «Уйди, мама, я сам». Такой самостоятельный, не на радуешься, а сейчас... — громкость ее голоса постепенно понижалась, слова теряли смысл, пока он наконец не понял, что мама больше не ворчит, а что-то тихо напевает себе под нос, наслаждаясь готовкой.

И все это: и воспоминания, и мамины причитания, и его злость, и даже пение напомнили ему о давно минувшем детстве, когда мама так же была постоянно недовольна его поведением и всегда говорила, что раньше он был гораздо умнее и лучше. Жаль, сейчас она этого, конечно, не вспомнит.

Первым на раскаленную сковороду было брошено мясо. Горячее масло довольно зашипело, забрызгало и тут же затихло в ожидании овощей. И тут готовка началась вовсю. Он попытался еще раз заговорить о ее болезни. О сроках. Но она его больше не слушала.

— Не отвлекайся! — прикрикнула она, раздавая приказы направо и налево. — Принеси, подай, выбрось, отойди.

Сама она между тем вертелась между столом и плиткой как маленькая карусель. Кухня ожила. Теперь это уже была не комната для откровений, теперь здесь радовалась и играла сама жизнь, от запаха которой ему снова захотелось есть, поскорее испытать наслаждение от еды... Ощутить вкус хрустящего мяса.

Неизвестно почему, но никто не готовит так, как это делает мама. Много раз приходилось ему наблюдать за процессом, и каждый раз он не мог разгадать, почему то, что у нее получается, напрочь лишено пустоты и кажется таким наполненным и целым, словно среди всех прочих ингредиентов мама добавляет нечто свое, абсолютно загадочное и невидимое для глаз.

Прячется ли тайна в многолетнем опыте или в том, что мама никогда не отлучалась во время процесса приготовления, стоя рядом, как солдат на своем посту, а может, секрет был и в том, и в другом сразу — точно он не может сказать до сих пор. Одно он знает наверняка: больше никто не умеет готовить так, как это делает мама.

Вот и сейчас, выглядывая у нее из-за спины, он пытается запомнить, сохранить у себя в памяти последовательность действий.

— Соль. Соевый соус, — кричит мама.

— Тише, Саша же спит, — напоминает он.

— Чеснок, — на полтона ниже говорит она. — Нет, ножом его раздави. Ага, вот так.

Штука в том, что мама никогда не готовит по рецепту, всегда есть что-то новое. Сама она называет это опытом. Он же, в шутку, алхимией.

Вот и теперь вместо корейской заправки в шипящее блюдо отправилась добрая ложка майонеза, с горкой.

— Песни не испортил, — заметила мама. — Давай, накрывай на стол.

— Тише. Ребенок, — повторяет он.

— Садись за стол, — шепчет она.

Мощный поток белого пара, подражая волшебному джину, взвился в воздух, стоило ей только снять крышку. Комната моментально наполнилась запахом жареного мяса, позолоченными кусочками лежавшего посреди еще кипящего масла. А сверху всего этого богатства белоснежной шапкой лежал майонез. Он сделал глубокий вздох, жадно вдохнул частицу горячего пара и ощутил, что ужасно голоден. Так сильно все в нем радовалось предстоящему празднику жизни, еде.

Теперь кухня больше не была алхимической лабораторией, а стала уютной, какой и должна быть. Он подсел поближе к краю стола, готовый приступить в любую секунду. А мама присела рядом отдохнуть. Сама она от еды отказалась.

— Я только и делаю в последнее время, что ем. Еще не хватало поправиться, — сказала она. Прямо перед ней, паря из последних сил, остывала кружка горячего чая.

Небрежно подув пару раз, он закинул первый кусок мяса в рот целиком и покраснел. Глаза его округлились. Горячее мясо, обжигая, каталось у него во рту из стороны в сторону, причиняя боль и никак не желая становиться прохладнее.

Быстро сообразив, что к чему, мама раскрыла перед ним салфетку, но он отрицательно мотнул головой, и, собрав волю в кулак, начал жевать злополучное мясо. Сперва он не почувствовал ничего, кроме жара, но потом из смеси огня и жжения вместе с соком начал появляться вкус. И с каждым следующим движением вкуса этого становилось все больше и больше, и лицо его расплылось в довольной улыбке. Он был счастлив.

— Как маленький, — заметила мама.

Он попытался что-то ответить, но не смог, надо было дышать. К тому же нечто теплое согревало его теперь изнутри и ему хотелось еще.

— Ну вот, ты говорил — сытый. Не надо, не надо. Кто тебя еще так кормить будет, когда меня не станет?

— Мааам, — произнес он с набитым ртом.

Все было, как в детстве, только вместо школы — работа, вместо мальчика — взрослый мужчина. И только мама так и осталась мамой.

— Не «мааам», а правда, — сказала она, кладя полотенце себе на колени. — Врачи думают, у меня на сердце инфекция.

Он остановился. Да что он, весь мир остановился.

— Всего лишь догадки, но операцию на всякий случай отложили.

Тяжелая и продолжительная болезнь приучает к плохим новостям. Меньше паники, когда не берут трубку. Не так пугают долгие гудки. Прощаешься с человеком каждый день и каждый раз, когда он молчит, и здороваешься снова, когда

тебе отвечают. Так постепенно, лишаясь и возвращая опять, ты привыкаешь терять человека. Привыкаешь, но никогда не будешь к этому готов.

— И что? Что теперь? — беспомощно пролепетал он.

— Не знаю, наверное, опять заставят трубку глотать. Как тогда, когда клапан чистили.

— И? И в чем проблема? Делай.

— Ага! Тебе легко говорить. Знаешь, как это больно? — возмутилась она. — В тот раз у меня даже слезы потекли. Не хочу. Там, скорее, нет ничего.

— А что, по-другому узнать нельзя?

— У нас в городе только так.

— Если других вариантов нет, то надо, конечно, сделать.

— Нет. Все равно нет. Не буду. Это все тот хирург. Если бы он в первый раз клапан хорошо сделал, то ничего этого бы и не было. Сволочь, — выругалась она. — Теперь из-за него надо целый клапан менять. Разрезать грудную клетку. Ты бы видел их инструменты, как у строителей...

Он слушал молча. В описании того, как будет выглядеть предстоящая операция, он не нуждался. Узнал все в деталях. Известны были ему и инструменты, и последовательность действий.

Открыть грудную клетку, подключить пациента к аппарату «искусственного сердца», удалить поврежденный клапан, поставить новый, отключить «искусственное сердце», зашить. Перечисление сухих фактов в его голове было похоже на фильм. Просчитанное до мелочей сухое документальное кино про родного человека. А он — зритель, который ничего не может сделать. Никак не может помочь. Только наблюдает и ждет. Да, ждет. А чего? Нет ничего хуже чувства бессилия, этого ощущения, что от тебя ничего не зависит. Ты злишься, кричишь, бьешься головой о стену, но ничего не помогает. Наверное, так и приходят к мыслям о Боге. Невидимым для мамы движением он медленно сжал и разжал кулаки.

— Ладно, что толку об этом говорить, — подытожила она свой рассказ. — Как дела у тебя на службе? Соседки в палате как узнали, что ты полицейский, так сразу заохали. Много теперь получают, говорят. А я им говорю, да, нормально. И мне так сразу гордо за тебя стало, ты не представляешь.

— Все нормально, — сдержанно ответил он. — Хорошо.

— Хорошо? Ты же хотел увольняться? Этого я, конечно, им не сказала. А теперь что, уже не хочешь?

— Мама, — недовольным тоном произнес он. — Давай я как-нибудь сам, без тебя разберусь.

— А что я такого сказала? — искренне удивилась она. — Ты погляди, — возмущается она. — Я просто хотела узнать, что тебя не устраивает? Зарплата нормальная. Гарантии. И, самое главное, стабильность. Знаешь, чем завтра семью кормить. Ты же помнишь, как нам с твоим отцом, царство ему небесное, тяжело было тебя растить. Образования нет, работы тоже. А у тебя все это есть — живи не хочу. И нет, не угодишь, не нравится.

— Так, слушай, не лезь не в свое дело.

— Да ты мне только скажи: почему? Я же не уговариваю тебя там остаться. Мне хочется знать: почему?

— Да мне все равно, что тебе там хочется. Я, кажется, ясно сказал, что не хочу говорить об этом.

— О чем?

— Да ты отстанешь, нет? — начал он выходить из себя. — Отвали.

— Как... Как... — растерялась она, подбирая слова. — Как ты со мной разговариваешь?!

— Сама виновата. Я же сказал ясно: нет. Закрыли тему.

— Я смотрю, ты решил довести меня, да?

— Ничего я не решил. Успокойся.

— Да что?! Да что я совершила такого? Ты совсем озверел, что ли?

— Да замолчи ты уже, наконец!

Его ладонь тяжело опустилась на стол, посуда испуганно задрожала.

— Сам замолчи. Заткнись. Замолчи. Еще слово и... о, Господи, — залепетала она, — довести меня хочет, стервец. Сердце, кажется, опять заболело. Хочешь, чтобы я померла?

— Ага, тут дождешься, — сказал он, не подумав.

— О, — выдохнула мама. — Нехорошо мне.

— Хватит. Чуть что — сразу сердце. Что, если сердце, то тебе и слова нельзя против сказать? Ага, щас.

Ответа не последовало. Почуввав неладное, он наконец посмотрел в мамину сторону, так как все время, пока они ссорились, он упорно глядел себе на руки, и... Мама сидела, откинувшись на спинку. Рука ее камнем лежала на запястье. Она глубоко и тяжело дышала. «Двадцать два, двадцать три», — считала она.

— Мама, — позвал, он. Потом громче: — Мама! Что с тобой?! Тебе плохо? Скорую вызвать?

Не отзываясь, она продолжала считать:

— Сорок шесть, сорок семь, сорок восемь.

Он кинулся набирать номер.

— Не надо звонить, — послышался слабый, но твердый голос матери. — Сто двадцать один.

— Но... — заикнулся он.

— Не надо, — медленно повторила она. — Сейчас пройдет. Я не хочу обратно в больницу, — лицо ее было бледным. На лбу выступили капельки пота. — Иди ко мне. Сядь рядом. Сейчас мне станет лучше. Сейчас. Пару минут.

Не сводя с нее взгляда и не выпуская из рук телефон, он сел.

— Кажется, начало проходить. Что, испугался, да? — попыталась усмехнуться она. — Вот будешь знать, как мать доводить.

— Тебе лучше?

Она отпила несколько жадных глотков чая.

— Теперь да.

Воспользовавшись молчанием, он заново налил чаю ей и себе.

— Что случилось у тебя? На работе проблемы? — спросила мама другим, слабым и мягким, голосом. — Родной, я за тебя волнуюсь.

— А ты не волнуйся.

— Ну как я могу за тебя не волноваться. Я же твоя мама. Как ты переживаешь за Сашу, так и я за тебя.

Мысль о сыне вернула его к реальности.

— Разругался я там ко всем чертям. Знаешь, меня в третий раз с начальником отдела прокатали.

— Как? Опять?

— Да, назначили вообще никому не известного человека. Со стороны пригласили.

— Они же тебе обещали.

— Ну, мало ли, что кому у нас обещали. Жди, говорят, это родственник, сам понимаешь. А мне какой смысл ждать? Он младше меня на два года. Я и не выдержал, сказал все, что думаю. И заявление написал, только отнести надо. Хотя, может уже и не надо. Вот веселая жизнь будет.

— А извиниться никак нельзя? — осторожно заметила мама. — Нельзя же сплеча так рубить. Скажешь, вспылит, с кем не бывает.

— Да достала меня эта работа. За столько лет она у меня уже вот здесь, в горле сидит. И нервный я стал, раздражительный. Вскипаю по пустякам. Нет, иссяк я, мама. Не вижу там больше своего будущего.

Пауза. Теперь настал его черед утолить неумную жажду, до дна.

— И куда ты пойдешь? — спросила мама, дождавшись, когда он поставит кружку на место.

— Не знаю. Ты же у нас умная. Предложи что-нибудь.

— Опять начинаешь.

— Да разные есть варианты. Может, в другую структуру переведусь или займусь частной практикой.

— Частной практикой, — задумчиво повторила она. — А сколько тебе до пенсии осталось?

— Пять лет, — с хмурым видом ответил он.

— Может, потерпишь? Все-таки пенсия. Семья.

— Слушай, я же тебе говорю, не переживай ты так за меня. Как-нибудь выкрутимся.

— Ладно. Как сделаешь, так и сделаешь, — сказала она, а после добавила: — А форма тебе очень идет.

— Идет, конечно. Ты не беспокойся, — сказал он. — За лечение твое я полностью заплатил. И спешить тоже никуда не собираюсь.

— Значит, еще подумаешь?

— Подумаю, мама, конечно, подумаю, — тяжелый вздох оборвал его речь. — А ты иди на обследование. Это, правда, надо.

— Не хочу.

— Иди.

Вместо ответа она неопределенно кивнула.

Снова завывла собака. Ее неприятный вой, приглушаемый стеклом, кусками проникал в дом, как будто стучался снаружи.

— Вой на свою голову, — по привычке сказала она.

— Или на голову какого-нибудь преступника, — добавил он и поднял взгляд на часы. И ему показалось, что те идут слишком быстро, торопятся. Вот только недавно было одиннадцать, а сейчас уже половина первого. Слишком быстро.

— Надо позвонить дяде, чтоб ехал меня забирать, — сказала она.

— А ты разве не останешься?

— Нет. Я так долго лежала на больничной койке, что хочу домой.

— Оставайся. Мы себе в детской постелем. А ты в зале.

— Надя давно уже спит, должно быть, не станешь же ты ее будить?

Он почесал голову.

— Об этом я как-то не подумал.

— Поверь мне, я очень хочу домой. Соскучилась. Да, кроме всего, мне надо захватить в круглосуточную аптеку за лекарством. Свои я в больнице оставила. А без них мне нельзя. Пью эту гадость по четыре раза в день. И все никак не могу привыкнуть.

— И сколько тебе их пить?

— До конца жизни, сынок. До конца жизни, — она улыбнулась, хотя он не видел в этом ничего смешного. — Ну, давай звони дяде. Пусть забирает.

Он позвонил.

— Сейчас приеду к себе, посмотрю, как там дом без меня. Стоит ли еще? Может быть, его уже нет, — засмеялась она. — Почти месяц как без хозяйки. Старые люди, помню, говорили, что дом не должен оставаться надолго один. Что у него

душа есть. И я вот смотрю на дома у нас на улице, которые брошенные, где никто не живет. Стоят, бедненькие. Так жалко. Никто за ними не ухаживает. Покосились. Света в них нет. А ведь кто-то их строил, ухаживал. Столько сил отдал. А потом это все никому не нужным оказывается.

— С этим ничего не поделаешь.

— Дед, помнишь, который выше по улице жил, умер.

— Как умер? — растерялся он. — Я же его вот только, вроде бы, недавно видел.

— Так и умер. Как люди умирают. Так и умер. Инсульт. Внучка, вот, весной приходила, деньги на похороны собирала.

— Не верится даже.

— Этого все и боятся, что раз — и все. И «прощай» сказать не успеешь. Но я не закончила. Внучка его дом продала почти сразу и уехала, а новый хозяин все сломал, все, что дед строил: и дом, и баню, и сарай. Ничего не осталось.

— И что там сейчас будет?

— Магазин или автосервис, что у нас сейчас строят? Я к тому, что жил человек, жил, а как умер, так никому до его труда дела нет. Ты смотри, ухаживай за домом, когда меня не будет. Этот дом еще твой отец строил. Глядишь, тебе и твоим детям останется. Вдруг квартиру новую не купите, так в доме все вместе поселитесь.

— Мне кажется, мы с тобой постоянно об одном говорим. О смерти да о смерти. Никто же умирать не собирается. Все живы. Ты поправишься... И жизнь наладится.

— Да, ты прав. Ты, конечно, прав. Надо поправляться. Болеть нельзя. Еще столько дел, столько работы. А планов? Огород убрать, крышу сделать. Еще хорошо было бы ворота поправить, тогда вообще замечательно.

— Огород я уже убрал, — не без гордости сказал он.

— Когда это ты успел?

— Позавчера. Был у тебя и решил порядок навести. Сжег мусор и пару грядок вскопал заодно. Теперь в следующем году легче будет.

— Удивляюсь, что это на тебя нашло?

— И чему тут удивляться? Я и весной все сделал, — напомнил он ей. — Ты просто забыла.

— Помню я, помню, — мягкая улыбка просияла у нее на лице, пушинкой соскользнув ему в душу. — В этом году ты славно потрудился. Работник мой, — она потрепала его за руку.

— Кстати, ты еще не знаешь, но внук твой натанцевал на приз зрительских симпатий.

— Правда?

— Да, — со знающим видом сообщил он.

— И ты мне сразу не сказал?

— Он сам тебе похвастаться хотел. И, между прочим, он выступал не один, а в паре с девочкой.

— Да ты что? С девочкой? — всплеснула мама руками.

— Знал, что тебе понравится.

— Я так рада за него. И за вас. И за себя. Надо же, такой маленький и, вот, дружит с девочкой. А ты мне скажешь, как...

Телефонный звонок не дал ей закончить. Это был дядя. Пришло время прощаться. Они встали. Две горбатые тени, одетые в черное, встали и пошли вслед за ними.

Кнопка вызова лифта горела красным, как стоп-сигнал, и расставание затянулось. Не зная, что сказать, потому что, кажется, все было сказано, он начал глядеть по сторонам. Потолок, стены, собственные ноги и, наконец, мама.

Она заметила, что он смотрит на нее, и улыбнулась ему в ответ своей ласковой и доброй улыбкой. Тут он вспомнил, каково это, опять чувствовать себя маленьким и любимым. И ему захотелось вместо бесполезных, в сущности, слов сказать

самые главные. Но слова эти, давно непроизносимые, почти забытые, застряли у него в горле и никак не хотели выходить наружу.

— Мама, — запинаясь, произнес он.

— Что?

— Мама... Знаешь... Я люблю тебя, мама...

От такого неожиданного признания она сперва удивилась, а потом спросила: — Что это с тобой?

— Ничего, — не глядя ей в глаза, сказал он.

— С тобой все в порядке? Не заболел ли ты часом?

— Слушай, я завтра заеду к тебе.

Судя по грохоту, лифт был уже совсем рядом.

— Приезжай. Конечно, приезжай, — сказала она и обняла его на прощание, добавив: — Я тебя тоже люблю. И не забудь убрать со стола. Не ложись так.

Он вернулся назад. Квартира показалась ему чужой и оставленной, словно прошло не десять минут, а неделя. Он молча сгреб все со стола, потушил везде свет, а после опустился на стул, на котором только что сидела мама. В голове у него крутилась однажды услышанная формула: «Счастье — это когда тебе шестьдесят и ты все еще можешь позвонить маме».

— Как она? — послышался голос жены, стоило ему войти в спальную комнату. Она не спала, а значит, все слышала.

— Как всегда, не хочет лечиться. Ты же ее знаешь, — ответил он садясь с краю.

— Она не сбежала?

— Из больницы? Нет. Ей сказали обследовать сердце на инфекции или что-то в этом духе. А она боится. Сперва операции, теперь еще это.

— Но это же надо? — спросила жена, придвигаясь поближе.

— Обследование, как и операция очень болезненны... А самое главное, ни то, ни другое не сделают человека здоровым. В сущности, это и не лечение, а своего рода отсрочка. Год, два или пять.

Тут он почувствовал, как ее рука начала гладить его по спине. Он взял эту руку в свою, но сжимать не стал, а оставил лежать у себя на ладони.

— Вы поэтому поругались?

— Нет. Там другое.

Ее тонкие пальцы ухватили его за ладонь.

— Все будет хорошо, — сказала она.

— Конечно, — ответил он и поцеловал ее в лоб.

— Папа, папа, — неожиданно для всех позвал его голос из детской. Он посмотрел на жену. «Иди», — беззвучно ответила та.

— Мучение, а не ребенок. И что ему не спится.

Ее рука остановилась, молча повторяя: «Он тебя зовет. Иди»

Двигаясь в темноте подобно кошке, он медленно приблизился к детской кровати.

— Что случилось? — спросил он, зажигая свет и улыбаясь натушно. — Уже так поздно, а ты не спишь. Детям давно пора спать, да? — в подтверждение своих слов он кивнул.

Половинка детской головки, потому как вторая была закрыта одеялом, кивнула ему в ответ.

— Тогда закрывай глаза и спи, — он потянулся было выключить свет, но остановился.

— Я боюсь, — сказал мальчик.

Он внимательно посмотрел на ребенка. В его глазах, в каждом из которых, казалось, было по небу — такими большими, ясными и голубыми они были, он увидел что-то похожее на тень страха.

— Я боюсь, — снова сказал мальчик сквозь плотную ткань, подтягивая одеяло еще немного повыше.

— Чего ты боишься? — искренне спросил он.

Мальчик молчал.

— Ну, мне-то ты можешь сказать, — он присел на корточки рядом с кроватью так, чтобы они были на равных. — Чего ты боишься?

— А ты никому не скажешь?

— О чем ты хочешь, чтобы я не говорил?

— Что мне страшно, — мальчик посмотрел на него укоризненно. Ведь это же было так естественно и понятно, бояться не чего-то, а самого страха. И того, что кто-то об этом узнает.

— Никому, — с полной уверенностью произнес он.

— Обещаешь?

— Обещаю.

— Я боюсь злого духа, — медленно произнес он.

— Злого духа? — переспросил он.

— Даа. Сегодня мы были на озере. И ребята сказали мне, что надо собрать все камни и кинуть в воду, а не то дух придет и заберет тебя.

— Подожди. Что ты делал на озере?

Озером дети называли затопленный котлован неподалеку от школы.

— Ты опять убежал с физкультуры?

— Я не сбегал. Учитель не пришел, и нас отпустили.

— Все равно. Я же тебе говорил не ходить туда. Там опасно.

— Нас было несколько, я и...

— Все равно. Ты мне обещал.

— Прости, — дрожащим голосом произнес мальчик.

— Еще раз так сделаешь, я тебя накажу, — сказал он и выпрямился, намереваясь уйти, но тут из-под мягкого панциря донеслось еле слышимое:

— Пап, не уходи. Останься. Злой дух. Я боюсь.

— Какой еще дух? А, да, дух...

— Я забыл выкинуть один камень, — сказал мальчик. — Вдруг из-за этого он придет и заберет меня.

— Послушай, что я скажу тебе: никаких злых духов не существует, — стараюсь быть как можно более убедительным, произнес он. — К тому же, здесь ты в полной безопасности.

— Правда?

— Хочешь, чтобы я проверил?

Мальчик кивнул.

Тогда он опустился на колени и для начала заглянул под кровать. Пусто. Не оказалось духа и в шкафу, и в двух верхних ящиках тумбочки.

— За дверью, — подсказал мальчик. Он посмотрел и там. Никого.

— Вот видишь. Все нормально. Ты напрасно боишься.

— А если оно придет после? Когда ты уйдешь?

— В таком случае закрой глаза и скажи про себя как заклинание: «Этого нет». Ты должен верить в эти слова и его не станет. Взрослые всегда так делают.

— Хорошо быть взрослым, — осторожно заметил мальчик.

— Теперь давай спать, — с этими словами его рука потянулась обратно к светильнику.

— Бабушка приезжала, да?

— Да. — Свет, остался включенным. — Как ты узнал? Понятно, ты не спал. Ты не спал, когда она к тебе заходила?

— Я думал, она догадается.

Он лег рядом, привлекая сына поближе.

— Думаю, она поняла.

— Ее уже выписали из больницы? Когда мы к ней поедem? — продолжал спрашивать мальчик.

— Скоро. То есть, нет, наверное, не скоро.

— Ей стало лучше? Она выздоровела?

— Не до конца. Но ей лучше.

— Бабушка ведь умрет, да?

— Умрет? Нет, кто тебе такое сказал? — начал он говорить под испытующим взглядом ребенка. — Нет, бабушка обязательно поправится. Врачи ей обязательно помогут, и мы снова будем ездить к ней на выходные, как раньше.

— Но она все равно когда-нибудь умрет?

Какими холодными и серьезными показались ему детские глаза в этот момент.

— Да. Но прежде чем это произойдет, пройдет много и много лет.

— И ты тоже умрешь? И мама?

— Да, — признался он. — И я, и мама. Но даже так мы всегда будем рядом.

— А как вы будете это делать после смерти?

— Как духи. Только добрые, — он легонько толкнул в плечо сына, а потом еще больше прижал его к себе поближе.

— Пап?

— Чего?

Мальчик задумался.

— Пап. А ты можешь не умирать?

— Постараюсь.

— Мама говорит, нельзя говорить «постараюсь».

— А как она говорит?

— Надо говорить «сделаю».

— Сделаю, — сказал он и потрепал сына по головке. — Ты молодец, надо слушаться маму.

— Не оставляй меня, — произнес ребенок, перед тем как заснуть.

— Не оставлю, — эхом отозвался он. Время шло. Он подождал, пока дыхание мальчика окончательно не станет спокойным и ровным. Потом аккуратно вынул свою руку из-под головы ребенка, встал и погасил свет.

В дверях он остановился, чтобы еще раз оглянуться назад. Мальчик лежал неподвижно, но так, словно обнимал кого-то во сне, кого-то, кого уже нет. Он бесшумно закрыл за собой дверь и вышел из комнаты.

— Спит? — спросила жена, когда он вернулся.

— Да.

— Не притворяется?

— Нет.

— Ты уверен?

— Да...

Голос его был подавлен. Ему хотелось молчать. Наверное, почувствовав что-то, она обняла его. Заглянула в глаза. Два ничего не выражающих камня.

— Верю, мама поправится.

Он повернул к ней лицо. Кажется, впервые за то время, что они вместе, она назвала ее мамой.

— Мы же семья.

— Да. Ты права.

Надя поднялась с постели и надела халат.

— Я пойду посмотрю, не притворяется ли он. А ты ложись. Уже должно быть два или три. А тебе рано вставать.

— Слушай, Надь, я, наверно, задержусь на работе еще немного, хотя бы до пенсии...

— Позже об этом поговорим, — сказала она и ушла в детскую, оставив его одного. Сквозь туман мыслей он едва заметил, что, перед тем как уйти, она потрепала его за кончики пальцев и только потом удалилась. Он знал, сегодня ночью ему придется спать одному, она не вернется. Чтобы не сомневаться в том, что ребенок уснул, она ляжет рядом. И мама и сын будут спать вместе всю ночь. Она всегда так делала, когда были сомнения в том, спит Саша или нет. И ему придется принять это.

Он лег. Попытался уснуть. Через три часа бесплодных попыток он встал. Нади рядом не было. Он вышел на балкон. Холодный ветер встретил его прикосновением миллиона холодных иголок. Он поежился, но возвращаться не стал. Перед его глазами на бесконечной равнине неба начиналось утро. Он видел, как раскачиваемый первыми лучами солнца задвигался неподвижный воздух, из бледно-серого превращаясь в нежно-голубой. Видел, как пролетели первые птицы, сначала одна, затем еще две и еще одна, целое семейство. Темнота возвращалась обратно в космос. Мир оживал.

Его лицо скривилось от горькой ухмылки. Утро он не любил. Точнее, перестал любить, когда узнал, что люди чаще всего уходят именно на рассвете. Умирают с восходом солнца. Стена света, которая сейчас неумолимо движется ему навстречу и вот-вот накроет его с головой, поднимает одних и забирает других. От неаккуратного блика, запрыгнувшего ему прямо в глаз, он зажмурился. Возможно, именно в этот момент чей-то дух навсегда покинул землю.

Не любил он утро еще и потому, что как бы мрачно ни было у него на душе, какое бы ни случилось страшное горе, оно всегда приходило вовремя, а значит — ничего не остановилось, значит — безразличное ко всему завтра все-таки наступило.

Он не любил утро и не любил себя. Вспомнил свое недавнее признание маме, и ему стало стыдно. Как привыкает человек быть грубым с теми, кого любит, и еще грубее с теми, кто любит его. А ему бы хотелось подняться над всей этой обыденностью, как солнце, стать выше, научиться искусству ценить время, проведенное вместе, а не злиться, что его так мало осталось. И самое главное — чаще говорить близким слова любви, но так, чтобы они не были пустыми. Ему бы очень этого хотелось.

В третий и последний раз завyla собака.

— Чтоб ты сдохла, — сказал он и зашел обратно в квартиру, плотно задернув за собою шторы. Но свет не оставил его в покое, желтовато-алым пятном продолжая наблюдать за ним сквозь закрытые занавески. Чтобы не встречаться с ним взглядом, он повернулся на бок и закрыл глаза. «Если представить, что этого нет, то ничего нет», — сказал он себе как заклинание. Ничего нет. Он долго лежал, и наконец уснул, и видел сны, а за окном бесшумно свершалось чудо каждого дня, чудо рассвета.





Лауреат конкурса
им. И. Царёва

Клавдия СМИРЯГИНА

«Нежность этих междустрочий»

Стрельчиха

Стрельчиха караулила зарю, синицею застыв оцепенелой: ей утром обещали выдать тело, подвешенное в пыточной на крюк, обрубленное катом неумелым и брошенное сверх сырых дерюг.

Соколик, разве был он виноват? Опутали царевнины посулы, она их, горемышных, всколыхнула. . .

Мол, каждый будет волен и богат. Да дух стрелецкий требовал разгула. . . Вот сдуру и ударили в набат.

Детишки на подворье у кумы. Наплакались, меньшому только годик, одела впопыхах не по погоде. Куда податься, кто возьмет внаймы? Все сгнуло, беда одна не ходит. Увидим ли теперь конец зимы?

Стрельчиха караулила зарю. Но кровью напоенное светило, упавшее за кромку, как в могилу упившийся до чертиков бирюк, на небе появляться не спешило — оно давало выспаться царю.

А царь не спал. Зарывшись с головой в лавандовую немкину перину, все видел и не мог прогнать картину: Матвеева на копьях над толпой, за матушку убитого невинно, раззявленные рты да бабий вой.

Сестра. Змея. Родная кровь. Сестра. С тяжелыми мужицкими шагами, искусно раздувающая пламя, забывшая про бабий стыд и срам, играющая пешками-стрельцами. Так выжечь зло! Пора. Давно пора.

И Софья в Новодевичьем не спит, последние надежды провожая. Навек замкнулась клетка золотая. Какой позор? Какой девичий стыд? Повисла жизнь на ниточке у края. Монашеский клобук и мрачный скит.

Она ли затевала эту прю? А братец рвался к трону, как волчонок, настырный и припадочный с пеленок. Пригрел вокруг себя рваньё, воруго.

А ей смотреть из окон на казненных. . .

Стрельчиха караулила зарю. . .

Про кота

Детей у них не было, видимо, Бог не дал,
а может, не больно хотели, хотя сначала
она колыбельку частенько во сне качала.
Потом перестала. Устала. Прошли года.

Он стал ей и мужем, и сыном, но вышел срок,
и он не проснулся обычным осенним утром.
Она на поминках не плакала почему-то.
Друзей проводила, защелкнув дверной замок.

Отчетливо зная, что утром к нему уйдет,
легла на кровать, примостившись привычно с края.
И вспомнила вдруг, окончательно засыпая,
что завтра голодным останется рыжий кот.

С тех пор миновало двенадцать протяжных лет.
И кот вечерами на кухне мурлыкал звонко.
Когда схоронила кота, принесла котенка.
Зовет его мальчиком. Гладит.
И в сердце — свет.

Сначала из дома ушли тараканы

Сначала из дома ушли тараканы,
шушукались с вечера где-то за печкой,
а ночью исчезли внезапно и странно,
включая детей, стариков и увечных.
Хозяин на радостях хлопнул рюмашку,
хозяйка засиженный пол отскоблила.
Лишь дед, озабоченно сдвинув фуражку,
под нос пробурчал, что пора, мол, в могилу.
По осени вместе с антоновкой спелой
попадали как-то на землю синицы.
И встать на крыло ни одна не сумела.
Зарыли. Забыли. Подумаешь, птицы.
И только старик, опираясь на палку,
подолгу бродил по листве облетевшей
и, морщась, шептал: «Внучку малую жалко,
расти бы, расти ей да кукол тетешкать».
А в марте, открыв зимовавшие ульи,
хозяин увидел, что гнезда пустуют.
Выходит, что пчелы из них улизнули,
оставив без меда ребят подчистую.
В тот вечер старик, похороненный в Святки,
приснился хозяину с речью туманной:
«Ищите, покуда не поздно, ребятки,
дорогу, которой ушли тараканы...»

Про пианино

А и правда, как без пианино,
если ходит девочка в кружок.
Доченька, единственная, Нина...
Доченьке двенадцатый годок.

Вот в многотиражке на заводе
 дочкин напечатали портрет.
 Пишут, что талантливая вроде.
 Жалко, инструмента в доме нет.
 Клавиши рисует на газете
 да играет в полной тишине.
 Пальчики испачканные эти
 видятся родителям во сне.
 А девчонке снятся песни Грига,
 Сольвейг на заснеженной лыжне.
 Толстая растрепанная книга
 дремлет рядом с ней на простыне.
 И однажды утром на рассвете
 в доме появился наконец,
 перебудоражив всех соседей,
 новый удивительный жилец.
 В Стрельне у немецких колонистов
 куплен и доставлен, как хрусталь,
 вымечтанный, красно-золотистый
 беккеровский сказочный рояль.

Мне бы вас порадовать, да нечем.
 В сорок первом, где-то в декабре,
 выменяли «Беккера» на гречу,
 слезы мимолетно утерев.
 Пальцы огрубели от работы,
 ссадины, мозоли, волдыри...

А без пианино в доме, что ты!
 Все мечтала внукам подарить...

Не плачь, мама

Когда от глухой канонады подрагивал воздух густой, и с запада шедшее стадо
 мычало, топча хлебостой, когда вы вгрызались упрямо в суглинка горячую твердь,
 тогда ты боялась ли, мама, в шестнадцать свои умереть?

Держа неумело лопаты,
 на лужском сквозном рубеже
 вы были еще не солдаты,
 и были не дети уже.

Когда в недорытых окопах от бреющих травы атак вы прятали лица, а попы укрыть
 не умели никак, и белый от страха инструктор кричал про измену и долг, кто именно
 этим маршрутом направил ободранный полк?

Ощерившись зло и щербато,
 сипел почерневший комбат:
 — Паскуда, погибнут ребята!
 Немедля назад в Ленинград!

Когда пробиралась болотом навстречу голодной зиме, буржуйке, цинге и налетам, и штампу на сером письме, когда, посев за неделю, навстречу подкинулась мать, как свято вы верить умели, надеяться, верить и ждать...

Тебя не касается скверна
журналов, сетей, передач?
На небе не плачут, наверно...
Пожалуйста, мама, не плачь...

В. Д.

*В медном подсвечнике сальная
Свечка у няни плывет...
Милое, тихо-печальное,
Все это в сердце живет...
И. Анненский. «Сестре»*

Ночь кудель сонливо тянет, перематывая дали,
заполняет сном корзинку, на скамеечку присев.
Под пушистыми кистями вижу кружево педали
и литые буквы «Зингеръ» на чугунном колесе.
По зеленому жаккарду бродят уличные тени,
звон последнего трамвая вязнет в плотных облаках.
И мурлычет песни барда наш приемничек настенный,
сам себя перебивая позывными Маяка.
Стол, ночник, на гриб похожий, две кровати по соседству,
между ними дверь в кладовку, пола узкая межа.
Сладко-сладко, не тревожась, спит твое смешное детство,
сдвинув узенькие бровки, мишку бережно прижав.
Спи, малыш, пока мы вместе. Сон с годами все короче.
Жизнь таких узлов навяжет без раздумий и стыда!
Пусть тебе послужит вестью нежность этих междустручий.
Может быть, прочтешь однажды. Может, вспомнится когда...

Перевал

Попавшее в оконный переплет,
сырое небо бьется грудью в стену
гостиной, где безмолвно и степенно
сто лет столетник бабушкин растет,
где ходики воркуют в тишине,
где вазочки на вязаных салфетках,
где кенар спит в накрытой пледом клетке,
присвистывая тоненько во сне.
И бабушка, вздыхая, прилегла
на круглый валик старого дивана.
В студенном ноябре темнеет рано,
и сделаны домашние дела.

И снится нашей бабушке вокзал,
 прощанье на заснеженном перроне,
 а после — степь, дорога, сани, кони,
 и ночь, и узкий горный перевал...

Ее нашел наутро старший внук,
 когда принес продукты, как обычно.
 (Она с годами стала склеротична —
 обычный в этом возрасте недуг).
 Что дальше было, что там за дела,
 не помню... помню только снег и дали,
 и теплый свет на синем перевале,
 который я когда-то перешла.

Про деда

Подумаешь, каких-то двести лет —
 три жизни... ну, не три, пускай четыре —
 прошло с тех пор, как мой безвестный дед
 любил жену, сидел хмельной в трактире,
 пахал. Да-да, конечно же, пахал!
 Не зря меня весной на грядки тянет.
 Встав затемно под пенью петуха,
 шел к озеру с рыбацкими сетями...

Все было так. Дрожит тугая нить
 длиной в четыре выгоревших следа.
 И мне сегодня шага не ступить,
 не отозвавшись эхом песне деда.

Вон он — сидит у Бога на виду,
 устало свесив жилистые ноги,
 на облаке, как сиживал в страду
 на сметанном любовно пышном стоге.
 У нас одна небесная стреха,
 и шар земли, катящийся по блюдцу.
 А двести лет — такая чепуха,
 пройдут — и не успеешь оглянуться...

ПМЖ

Ей — двадцать два, а ему — пятьдесят четыре
 Он неопрятный, рыхлый, уже с брюшком.
 В их захлавленной, как старый чулан, квартире
 пахнет прокисшим пивом и стариком.

Молча терпеть и сносить все его капризы,
 гогот и брань, шлепки поперек спины

будет она, пока продлевает визу,
чтобы ее не выгнали из страны.

Будет уборщицей, няней, ночной сиделкой,
зубы сцепив, зажмурив на все глаза.
— Это ведь сделка, голубушка, просто сделка, —
будет твердить, а что ей еще сказать?

Что написать постаревшей до срока маме,
как объяснить, что красный диплом — фигня?
Хочешь стать фрау — своими учись руками
жареное вытаскивать из огня.

Старый очаг на приснившейся в детстве дверце
жжется и больно — выяснилось теперь.
Если родители делали выбор сердцем,
дочери просто ищут другую дверь.

Дверь, за которой мерещится Эльдorado,
сытая, словно гусь к Рождеству, страна.
Только не надо задумываться, не надо,
будешь ли ты кому-нибудь там нужна.

Да и вернуться домой никогда не поздно,
маме на гроб успеть положить цветы.
Кто там уронит раскаянья злые слезы?
Ты это будешь или уже не ты?

Вертится вихрь озарений и мыслей горьких,
сыто рыгает муж. За окошком — мрак.
Девушка засыпает в своей каморке.
Дверь заперта. Горит на двери очаг.

Про малину

Потирая уставшую спину,
я люблюсь на стриженный ряд
тонких прутьев, измазанных глиной.
Вот, в саду посадили малину.
Без малины — какой же он сад?

А денек-то! Не день, а подарок!
На неяркой холстине небес —
рыжий профиль сосны сухопарой
да берез облетающих пара —
это наш одомашненный лес.

Здесь, на узкой лоскутной полоске
не желающих сохнуть болот,

все, что вне, представляется плоским,
время капает с крыши на доски
и густеет, как липовый мед.

Где-то в воздух летят эшелоны,
мир стремительно сходит с ума.
А у нас по-осеннему сонно;
дождь пророчит седая ворона,
и за осенью будет зима.

Ну, послушайте! Это же просто:
я вплетаюсь, вырастаю сосной
в эту почву и медленный воздух,
как в надежный, незыблемый остров
посреди круговерти земной.

...А сегодня сажали малину —
будет радость для наших ребят.
Гуси тянутся правильным клином...
Жизнь становится длинной-предлинной,
если дети приходят в наш сад.

Август. Этюд

Небо выгоревшей бязью
накрывает мокрый луг.
В тишине вечерней вязнет
электрички дальний стук.
Из низинного тумана
стадом призрачных слонов
выплывают караваны
легких августовских снов.
Тихо-тихо, только звякнет
где-то дужка о ведро,
припозднившийся гуляка
пустит басом матерок.
И опять покой прохлады,
мятный холод росных трав...
Осень бродит где-то рядом,
губы горестно поджав.

Майское

Майский дождик копытцами легкими
по асфальту и крышам процокал,
развернулись побегии пилотками,
засверкали полотнища стекол.

Вышел дед на умытую улицу,
 дед слегка под хмельком и наряжен,
 он идет и почти не сутулится,
 и кивает степенно и важно
 всем, кто нынче ему улыбается,
 с уважением глядя на планки —
 и надменной холеной красавице,
 и веснушчатой рыжей пацанке.
 Он сегодня не ездил до Ладожской
 в магазин под названием «Народный»,
 дочь пирог испекла и оладушки —
 помянули братишек из взвода.
 Кто от пули полег, кто от старости,
 захлебнувшись незваной свободой.
 Много ль их по России осталось-то?
 Дед живет. Он из крепкой породы.
 Вновь под праздник повысили пенсию.
 (Отчего же теперь не помочь им?)
 Дождик кончился. Солнечно, весело.

Только страшно за внуков и дочу.

Тише, девочка

«Мерзнет девочка в автомате...»

А. Вознесенский

*«Простите, вы не могли бы
 позвонить и позвать к
 телефону одного человека?»
 (реальная встреча на улице)*

Что ты, девочка, не дрожи, не ломай голубые пальцы. Это просто старуха-жизнь
 плотно небеленой лжи натянула на старых пальцах. Он тебе, говоришь, не лжет,
 просто вас разлучили люди. Ах ты, милая, знать бы брод, ломок первый осенний
 лед, а тепла до весны не будет.

Кто его караулит? Мать? Ну, давай телефонный номер. Как назвать его, как по-
 звать?..

Мне ответили:

— Что, опять? Он для вас, потаскушек, помер.

Тише, девочка, не дрожи. Это поле — не поле битвы. Значит, больше не ворожи,
 спрячь подальше свои ножи, иглы, игры, таблетки, бритвы. Умер, стало быть —
 хорони! Проживи эту боль, как ломку. Знаешь, годы летят, как дни. Ты за шкирку
 себя возьми, ты — сама для себя соломка.

Ты — сама для себя вокзал, самолет и дорога в небо. Ты забудь все, что он сказал,
 губы, руки, его глаза. Ты реши, что он просто не был. Слезы, девочка, не в цене.
 И цена у любви иная.

Он придет. И не раз. Во сне.

Ты поверь, дорогая, мне. Потому что я знаю.

Знаю.

О баловстве

Я балую подросших моих сыновей,
потому что не знаю, надолго ли это.
В сизом небе рудой отливают рассветы,
и темнеют кресты златоглавых церквей.

В желтый дом сентября угодила земля,
но шныряет по лоджии та же синица,
и пруду за окном в страшном сне не приснится,
как горят под Донецком ржаные поля.

Дышит дом за спиной, половицы скрипят.
Слышен девичий смех, рокот кофемашины.
А в окне монитора — мундирчик мышиный
и седого ребенка затравленный взгляд.

Как сложить это в бедной моей голове?
Рассыпается мир на осколки и фразы.
Я сметаю их в синюю мамину вазу,
я свой мир вышиваю по старой канве.

Где цветущая роза, живой соловей,
где в Каспийское море вливается Волга.
И не надо пенять мне за то, что так долго
я балую подросших моих сыновей...

Покров

Пахнет пыльным острогом
вечеров западня.

Теплым пальцем потрогай
срез холодного дня.
Там, за гладью оконной,
из-за облачных век
на перила балкона
первый катится снег,
собирается в лужи
на клеенке седой.

Между завтрашней стужей
и вчерашней бедой,
между сумраком ранним
и безмолвием крыш
ты на пару с геранью
на границе стоишь.





ВЯЧЕСЛАВ СУКАЧЁВ — 70 ЛЕТ!

Вячеслав Викторович СУКАЧЁВ родился в 1945 году, он автор двадцати пяти книг прозы, среди которых особенной популярностью пользовались «Любава», «Белые птицы детства», «По чистым четвергам», «Горькие радости», «Подлетьши». Автор нескольких пьес и киносценариев. Лауреат ежегодных литературных премий. С 2000 по 2011 год работал главным редактором литературно-художественного журнала «Дальний Восток». Заслуженный работник культуры РФ, член жюри международной литературной премии «Большая книга». Член Союза писателей России.

Живет в Сочи.

Редакция журнала поздравляет Вячеслава Викторовича с юбилеем, желает ему здоровья, творческих удач и новых книг. Слово юбиляру.

Вячеслав СУКАЧЁВ

О СЕБЕ

В Северном Казахстане, у самой границы с европейской частью СССР, привольно и весело раскинулись в равнинной долине перелески, осиновые колки, березовые опушки да тополиные рощи. А между этими релками да перелесками, и непременно по-над озером, стоят небольшие деревеньки, основное население которых — русские и казахи. В одной из таких деревенок, в семье учительницы начальных классов и ветеринарного врача, в самый разгар лета 1945 года родился я.

Сколько теперь я примечаю, много, пожалуй, слишком много, входит в литературу писателей с сиротской автобиографией. Да и что здесь мудреного, если случилась на земле одна из ужаснейших войн — Вторая мировая. Еще и на моей памяти умирали фронтовики от ран, а многие мои старшие товарищи ходили в безотцовщине, еще на моей памяти сладковато-приторный вкус жмыха и ломкий хруст жареной пшеницы. Но мать моя умерла в мирное время, в 1956 году, когда мне едва исполнилось одиннадцать лет. Однако, как знать, не приблизила ли и ее жизненный срок все та же война?

Лишь с возрастом, вступая в зрелость, я отчетливо начал понимать, сколько многого лишился, потеряв мать. Тогда же, в одиннадцать лет, потеря для меня была не столь ощутимой, так как попал я на воспитание к деду с бабкой — людям простым и добрейшим.

Дед — Сукачев Иван Яковлевич — прошел всю Первую мировую войну, в Гражданскую сражался в Первой конной и вернулся к мирной жизни только в 1922 году, женившись на крымской немке, будущей моей бабке, Марии Августовне.

Всю свою жизнь дед мой был связан с лошадьми: до действительной работал на извозе, служил в кавалерии, был конником Первой конной, конюхом в колхозе,

а затем и совхозе, и на пенсию вышел в этом же звании. И с самого раннего возраста, с каких пор позволено мне памятью ощущать себя в жизни, перед моими глазами дед и лошади, и еще — рассказы о них, и еще — вообще рассказы. Теперь трудно сказать, был ли дед мой мастерским рассказчиком или же это детство наше позволяет столь красочно, живо и одухотворенно воспринимать как вымышленную действительность, так и действительность вообще, но факт остается фактом: все его рассказы живут сегодня во мне гораздо реальнее, чем, увы, многие страницы личной биографии. Так, впервые, в шестилетнем возрасте я узнал, что бывают войны, что умирать больно и лошади любят хлеб. И еще, к сожалению, что дед мой не очень смелый человек: бабка курицу могла зарубить, а вот он — нет...

В шестилетнем же возрасте я написал свое первое стихотворение. Конечно же, назвать это стихотворением можно было лишь с очень и очень большой натяжкой. Но меня интересует другое — что потянуло меня, деревенского мальчишку, с горем пополам овладевшего азбукой, стихов не читавшего, к «изысканной словесности»? И опять же приходит мне на память, что дед мой, а следом и отец любили импровизировать стихами, особенно, когда способности их к сему чудачеству подогревались отнюдь не горячим молоком.

Стихотворение опубликовали в школьной стенной газете, и на следующий год перешагнул я ее порог довольно-таки известным поэтом. Таким образом, с первого класса я стал бессменным членом редколлегии нашей стенгазеты и первым поэтом нашего села.

Когда мне исполнилось десять лет, родители мои предприняли большое путешествие — на родину бабки, в Симферополь, — во время которого, в Москве, я сбежал и целый час катался в метро на эскалаторе. Катание это обошлось мне дорого (дело не в деньгах), и когда я сел писать первый в своей жизни рассказ о моем походе в метро, я все еще сидел на табуретке чуть боком. Но тем не менее рассказ получился, и его даже опубликовали в районной газете. Факт этот, возможно, и поспособствовал тому, что отец уже более никогда не посягал на определенную часть моего тела. Так вот, в муках, и шел я к своему творчеству.

Лет с пятнадцати проснулась вдруг во мне неодолимая страсть к путешествиям. Первый мой выезд, в школьные каникулы, был на крыше вагона в Караганду, где я хотел устроиться работать на шахту. Шахтера из меня по возрасту не получилось, и я подался далее, в Ташкент, убирать хлопок и есть яблоки. Объявился и друг, Коля, с которым мы предостаточно намаялись на наших «сверхплацкартных» местах, прежде чем достигли желанной цели. Впрочем, в самый последний момент на пути к хлопку и яблокам встал милиционер. Обратный маршрут был не менее долг и тягостен, так что я едва лишь успел вернуться к началу занятий в школе.

В следующее лето я работал дома киномехаником, затем поступил в строительное ФЗО, получил специальность плотника, отработал год на стройке, уехал в Архангельск и там три месяца ходил матросом на морском буксире, вернулся домой, а уже через полгода числился сезонным рабочим отряда номер один в Улан-Удэ. А далее, как говорится, и пошло, и поехало. Был комбайнером в Казахстане и бурильщиком в Забайкалье, строил баклабораторию в Уссурийске и чистил порт Находку на земснаряде «Тихвинка», кочегарил, плотничал, освоил профессии каменщика, печника и докера. Весь этот калейдоскоп мест и профессий, менявшийся так же быстро, как меняются в юности друзья, остановился и замер лишь в 1964 году, с призывом в Советскую армию.

С этого момента и начинается более или менее осмысленное и упорядоченное творчество. Ибо, хотя я и накопил в своих путешествиях пять общих тетрадей стихов и три тетради с повестями и рассказами, все это, конечно же, почти никакого отношения к литературе не имело.

Литературное объединение, первые публикации, первая и вторая премии в литературном конкурсе гарнизонной газеты — все это не столько поддержало мое творчество, сколько заставило задуматься о той стезе, на которую я начинал выходить, путаясь в затесах литературных школ и направлений. И впервые пришло ко мне сознание — что впереди большая работа и что работать придется «без дураков»...

Сразу после армии, лишь три дня пробыв дома, я вновь отправился на Дальний Восток, ибо уже не мог без этого просторного края, ибо уже стал он для меня второй родиной. Окончив курсы парашютистов-пожарных, сезон работал на пожарах, затем ушел литературным сотрудником в газету и с этой поры уже осознанно и всерьез стал осваивать многотрудную школу литературного мастерства, к истокам которого вышел я когда-то в шестилетнем возрасте.

Первая серьезная публикация — повесть «Огненный десант» в журнале «Дальний Восток». Первая серьезная школа — семинар В. П. Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году.

Мне остается только добавить, что первая моя книга «У светлой пристани» вышла в 1975 году в Хабаровском книжном издательстве. Что герои мои — люди разных профессий и поколений, ищущие, сомневающиеся, счастливые и несчастные, но непременно — Любящие.

Александр УРВАНЦЕВ

НИКАКОГО СПУСКУ НЕТ И НЕ БУДЕТ

Слово о друге

Передо мной вступительная статья Вячеслава Сукачева, опубликованная в газете «Хабаровские известия» и посвященная моему юбилею. Читаю с волнением и грустью: «Трудно, почти невозможно поверить, что моему другу, сотоварищу по ранним стихам и дальним дорогам — 50 лет». Кажется, совсем недавно встретились мы в газете «Молодой дальневосточник», а уже минуло с той поры ни много ни мало — тридцать лет. Целая жизнь прошла! Встреча та оказалась определяющей. С тех пор прошли годы. Эту статью я пишу в преддверии семидесятилетия Вячеслава Сукачева и могу смело говорить, что мы знакомы с ним всю сознательную жизнь.

О творчестве Вячеслава уже говорилось и писалось много и многими, поэтому я упустил эту тему.

Итак, я уже сообщил, что познакомились мы в редакции газеты «Молодой Дальневосточник». Произошло это в 1967 году. Про «Молодой дальневосточник» той поры хочу сказать особо. При редакции газеты существовало литературное объединение, куда приходили все, кто пробовал себя в поэзии и прозе. В основном это были молодые авторы, но часто посещали объединение и те, кто, по всей вероятности, давно перешагнул «за пятьдесят». Разборы «полетов» проходили без всякого снисхождения на возраст. Некоторые после первого же обсуждения навсегда забывали дорогу в редакцию. Я и сам не понимаю, где брал силы, чтобы ходить в «клито» и быть его постоянным членом.

Во время первого посещения «Молодого дальневосточника» я встретился с Александром Бродским, однофамильцем известного ныне поэта, лауреата Нобелевской премии. После анализа моих стихов я шел из редакции, не чувствуя под

собой дороги. Все замечания и критика мне показались несправедливыми. Но оставалась надежда. И эту надежду мне дал Александр Бродский, пригласив на занятие литобъединения, которое должно было состояться через пару дней.

На одном из таких занятий появился Вячеслав Сукачев. Мы даже не успели толком познакомиться. Очередная встреча произошла только через год на семинаре молодых поэтов и прозаиков, который проходил в июле 1968 года в Хабаровске. По слухам я знал, что Вячеслав пишет прозу, что и подтвердилось на семинаре. В то время он не расставался с поэзией. И, кто его знает, в каком жанре Вячеслав добился бы больших успехов. Во всяком случае, руководитель творческого семинара поэтов Павел Халов очень по-доброму отзывался о стихах Сукачева, в качестве примера он зачитал одно из них перед участниками.

Я помню его, поэтому хочу привести здесь полностью:

*Еще тот миг недосыгаем,
Когда шагнешь в открытый люк,
Но ты — весь нервы, поправляешь
К прыжку готовый парашют.*

*Шаги томительно коротки,
Ныряют в люк мои друзья,
И рвется страхом крик из глотки,
Да только здесь кричать нельзя.*

*Но вот, осилив круг сомнений,
Шагаешь в царство облаков,
И под тобой горят созвездья
Уже раскрытых куполов.*

Мы тогда не знали, что Вячеслав уже отработал сезон парашютистом-пожарником и стихотворение написано под впечатлением этой профессии. В дальнейшем именно она легла в основу повести «Огненный десант».

Осенью 1968 года я был призван на службу в армию, а (о, счастливая неожиданность!) через год попадаю в командировку в село Троицкое, где в то время в местной газете работал Вячеслав. Я знал об этом, и уже через два-три дня после моего приезда мы встретились. Месяц моей жизни в Троицком пролетел мгновенно. Мы общались почти каждый день и, можно сказать, именно здесь зародилась наша дружба.

«На чужой сторонushке рад своей воронushке» — смысл этой поговорки был близок и мне и Вячеславу. О прозе и поэзии, о творчестве, о труде писателя и его предназначении — такими были темы наших бесед, которые затягивались порой за полночь. Но все имеет свое начало и конец. Обратное, на Камчатку, где я проходил службу, меня отправили так неожиданно, что я не успел предупредить Вячеслава о своем отъезде. Выкроив минутку перед отлетом, я побежал попрощаться с Вячеславом, но ни дома, ни на работе его не застал. Его жена Люба сочувственно развела руками и дала мне в дорогу два яблока. Мне кажется, я до сих пор помню их вкус.

Уже на следующий день я был в своей части на Камчатке. Затеяли переписку, которая стала продолжением наших разговоров. К сожалению, письма Вячеслава той поры не сохранились, но те, которые получал после службы, я бережно храню по сей день. И по ним можно проследить творческий рост Сукачева как писателя. Я демобилизовался в ноябре 1970 года, а уже в феврале 1971-го получил от Вя-

чеслава письмо, где он сообщил: «Я написал две повести. «Огненный десант» у Халова и Русскова, но что-то они долго не отвечают. Вторая повесть пока лежит».

Да, была такая повесть, и называлась она «Меня мои ветры найдут». Кстати, она мне понравилась больше, чем «Огненный десант». Но, переработав ее в повесть «Беглец», в первоначальном варианте Вячеслав ее нигде и никогда не публиковал. Доработанный вариант был опубликован в сборнике «Великие версты», который, как сообщается в предисловии, «можно воспринимать как одну из первых попыток художественно осмыслить трудовой подвиг советской молодежи, работающей на «магистрале века» — Байкало-Амурской магистрале». Я не выдам большого секрета, сообщив, что перерождение повести «Меня мои ветры найдут» в повесть «Беглец» было вынужденным. Это был отчет перед ЦК ВЛКСМ за командировку на БАМ в составе группы писателей.

Не представляя своей жизни без литературы, мы задумали вместе поступать в Литературный институт: вопрос, который бойко обсуждали в своих письмах. Даже, как пишет в письме Вячеслав: «Если получим вызова (пройдем конкурс), надо бы выехать вместе».

Но неожиданным признанием для меня стало его сообщение, что «подаваться в Литинститут» он решил с прозой. Как? Почему с прозой? — задавал я себе вопросы, ответ на которые получил довольно скоро. Выдержка из моего дневника за третье декабря 1973 года: «Сегодня получил от Славки Сукачева письмо и два рассказа «Память сердца моего» и «В той стороне, где жизнь и солнце». Несомненно, Славка станет большим писателем. К этим двум рассказам у меня нет никаких претензий. Они мне очень понравились».

Поступление в Литинститут отодвинулось, так как в жизни произошли некоторые изменения. И главное — Вячеслав переехал в Николаевск-на-Амуре. Это хоть и далеко от Хабаровска, но зато — город, районный центр, где есть своя газета и литературное объединение, которое возглавлял наш общий друг поэт Рутен Аёшин. Осенью 1972 года я заезжаю на короткий срок к Вячеславу. Мы не успели наговориться и обсудить все наши творческие дела, но домой я уехал с кипой рукописей его прозы и сразу засел за чтение, удивляясь и возмущаясь, почему его не печатают. Обмен рукописями стал традиционным: он мне — свои рассказы, я ему — их полный разбор.

В январе 1973 года Вячеслав сообщает приятную новость: «В марте в журнале идет «Огненный десант», но и это меня не радует. Все как-то приелось и обрыдло». Я не сомневаюсь в искренности признания, если учесть долгий период ожидания, умышленного затягивания публикаций нашими «классиками». Иначе, как можно объяснить такое признание Вячеслава, взятое из писем: «Огненный десант» у Халова и Русскова. Что-то они долго не отвечают (15 февраля 1971 г.)».

Седьмого июня 1971 года Вячеслав пишет: «Сдал их (повести) Богоявленскому в надежде получить какой-то отклик, ибо «Огненный десант» у Халова лежит около полугода и — ни слуху, ни духу».

А через год уже из Николаевска: «Передай привет Коле Кабушкину и поинтересуйся, пытался ли он спасти роман от Халова». На мой вопрос, как дела с подготовленной книгой, Вячеслав двенадцатого декабря 1972 года отвечает: «Дела мои складываются неважно. В издательский план 1973 года я не попал по простой причине, издательство не располагало моими рукописями. В этом отношении меня очень и очень здорово подвел Н. М. Рогаль (главный редактор журнала «Дальний Восток»), забравший повести из издательства. Боюсь, что опоздал я и на 1974 год. А это значит, что книга отодвигается на 1975 год, с чем ты меня можешь и поздравить».

Так оно и вышло. Книга «У светлой пристани» была издана только в 1975 году.

А в письме от двадцать первого декабря 1973 года Вячеслав сообщает мне: «Литературная Россия» дает мой рассказ «Деревянные кружева». Ты его читал. Разумеется — я цвету и пахну».

Итак, лед тронулся. Но сколько надо было потратить сил и нервов, чтобы добиться хоть маленького, но признания. «Москву я «штурмовал» более десяти лет. Как все встает на свои места», — пишет он мне.

Все встало на свои места, пожалуй, именно в 1974 году. Здесь нелишне будет привести несколько цитат из письма В. П. Астафьева от шестого января 1974 года. Это был ответ на рукопись с рассказами Вячеслава: «Наконец прочел все скопившиеся рукописи. Ваша была последней и, слава Богу, прочел я ее, единственную, с удовольствием». А ниже: «Человек Вы очень даровитый».

Летом в Иркутске проходило совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. И (о, счастливое стечение обстоятельств) руководителем одного из семинаров был В. П. Астафьев, а Вячеслав, приглашенный на совещание, попал как раз в его семинар. Состоялось судьбоносное знакомство, переросшее в дружбу.

Книга Вячеслава «У светлой пристани», вышедшая в самом начале 1975 года, была издана уже с предисловием В. П. Астафьева, где было сказано: «Пишет парень светло и чисто». Радовало утверждение Астафьева: «... столь уверенно владеющий словом молодой писатель не затеряется в потоке современной молодой беллетристики». Так оно и вышло. В 1976 году он становится членом СП СССР. Был взят сложный барьер, как у сверхзвукового самолета.

Я рассказал о самом сложном и интересном периоде творчества В. Сукачева. А что же дальше? — спросит меня любопытный читатель, догадываясь, что двери всех редакций спокойно раскрывались перед Сукачевым-писателем.

А дальше началась работа, кропотливая, упорная. Работа, о которой предупреждал В. Астафьев: «Отпуска в этой работе нет и не будет до самой смерти». Впрочем, Вячеслав и сам понимал это отлично, поэтому трудился, как говорят, «по-черному». «Летом я пишу вяло и неохотно, — признается он мне в одном из писем. — Люблю длинные зимние вечера. Когда в семь часов садишься к столу и впереди у тебя целая вечность». Это признание двадцатипятилетнего писателя, а не умудренного жизненным опытом старца.

Вообще о творчестве и труде писателя Вячеслав рассуждал часто и много. Да и сам я как-то стал свидетелем его работы. Случилось это во время совместной командировки в г. Комсомольск. Накануне он много рассказывал мне о своей юношеской любви к эстонке Елене Тауткуте. А рассказчиком он был великолепным. Я и сказал тогда ему: «Да ведь это настоящая готовая повесть». В Комсомольске он и засел за эту повесть. Командировка была короткой, но все свободное время он отдал работе. В Хабаровск вернулся с готовой вещью, которую назвал «Повесть о любви».

Иркутское зональное совещание и издание книги «У светлой пристани» многое изменило в жизни Вячеслава Сукачева. Уже в 1975 году он становится участником совещания молодых писателей в Москве. Он переезжает на постоянное жительство в Хабаровск. О нем пишут, его издают. Он не только плодит, но главное — плодотворен. В 1977 году Вячеслав становится слушателем Высших литературных курсов в семинаре прозы, который вел В. Солоухин в Литинституте им. М. Горького в Москве. В то время я как раз был студентом четвертого курса этого института и был, можно так сказать, свидетелем его триумфа среди столичной творческой интеллигенции. Никто из его почитателей не предполагал, что он, такой успешный молодой писатель, вернется в Хабаровск.

Даже близкие друзья-хабаровчане говорили: «Все, Славка остается в Москве». Но он вернулся. И, может быть, так бы и прожил до сих пор в Хабаровске, если б во время отдыха в Приморье не познакомился с одной девушкой, а вернувшись домой, сыграл свадьбу. Татьяна, так звали новую жену, была с Алтая, поэтому (помому) особого труда ей не составило соблазнить его на переезд в Барнаул. Так и поступили. И начались скитания. Не вдаваясь в подробности, сообщу, что после Барнаула — переезд в Орехово-Зуево, потом в Германию (во Фрайбург), оттуда опять на Дальний Восток в Хабаровск (ностальгия потянула).

Казалось бы все: осел основательно и надолго, тем более что был назначен на пост главного редактора журнала «Дальний Восток». Но и на этот раз не задержался и опять уехал в Германию, где оставались жена, дети, братья, отец. Похоронив в 2014 году отца, он вернулся опять в Россию, где и проживает сейчас, занимаясь активно, как и в молодости, творчеством. По его признанию, он наверстывает время, упущенное в те годы, когда редактировал чужие рукописи в журнале «Дальний Восток».

Александр ЛОБЫЧЕВ

ВОЗВРАЩЕННАЯ ПРИСТАНЬ ДЕТСТВА

Из предисловия к «Избранным рассказам» В. Сукачева

Что и говорить, крепко запомнил Вячеслав Сукачев слова Астафьева о своих рассказах, прозвучавшие на семинаре молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в 1974 году в Иркутске: «На мой взгляд, в психологическом плане написаны они филигранно точно. Особенно удаются Вячеславу женские характеры». Согласитесь, что все последующие критические замечания на том же семинаре уже не могли омрачить сказанного, но ведь и опускать планку, поднятую Виктором Петровичем, было уже невозможно. Суровое испытание для человека, только-только опубликовавшего первые рассказы. А перед этой встречей с Астафьевым было и первое письмо от него. В своих недавних воспоминаниях, названных «Книгой памяти», Сукачев пишет: «Именно после этого письма я вдруг понял, что все мои литературные опыты — это серьезно, а коль так — за каждую написанную строчку рано или поздно надо будет отвечать. И с этим чувством ответственности перед словом живу я и по сей день».

Оценок разного рода и советов на долю начинающего писателя вообще-то хватает, по крайней мере, в советские времена он не был ими обделен, поскольку всегда чувствовал профессиональный интерес со стороны старших собратьев по перу и жадное внимание как литературных сверстников, так и читателей. Счастливая пора первых пьянящих успехов, горьких обид от непонимания, приступов бессилия перед неподатливым словом. И как же эти молодые творческие метания может организовать одно доброе напутствие, если оно принадлежит Мастеру.

Сейчас, когда мы держим в руках книгу избранных рассказов В. Сукачева, своего рода итог тридцатилетнего писательского труда, становится ясно, что если и есть у человека, присягнувшего на верность русской речи, заветные амулеты, то

это слова, подобные астафьевским. И не на груди их носит Сукачев, а в сердцевине своего таланта и совести. Не берусь говорить наверняка, но думается, что автор не раз, отворяя первой фразой двери новому рассказу или перечитывая с карандашом в руке написанное, мысленно возвращался к этому щедрому, но и требующему полной отдачи творческому авансу.

В «Книге памяти» Сукачев со справедливой гордостью вспоминает не только известный семинар в Иркутске, но и вообще ту литературную волну, что мощно вошла в русло отечественной прозы в начале семидесятых — В. Личутин, А. Ким, А. Плетнев, В. Крупин... Такому творческому окружению можно только позавидовать, хотя бы в том смысле, что своеобразная, каждый раз отмеченная личным стилем, проникнутая живым чувством современности проза этого поколения сразу же стала известной, то есть читаемой — ее ждали, на нее откликались. Нынешним молодым писателям, к сожалению, едва ли известно, какую энергию, какое оправдание одинокому ремеслу прозаика придает этот животворный контакт. Не оттого ли произведения этих авторов были изначально разомкнуты, обращены творческим устьем к человеческим судьбам, из которых и состояла плоть времени и кровь его — там было начало творчества, туда же оно и возвращалось. Так существовала литература тех времен, в таком ритме она дышала.

Причем прозаики этого поколения, в отличие от сугубо соцреалистической литературы, что мертвым заученным языком преподносила читателю забальзамированные идеи и некий сусальный образ народа, напрямую обращались к герою конкретному, со своим особым складом характера, не влезавшему ни в какие заранее приготовленные рамки. Жанр рассказа позволял сосредоточить внимание на отдельной личности, пристально взглядеться в нее, не закрывая глаза на неожиданные, даже шокирующие движения души, чтобы увидеть наконец реального современника. Не для того ли и срастается писатель со своим героем, чтобы прояснить, протереть затуманенное общим горячим дыханием зеркало жизни, различить не толпу, а лица.

Мастерские, стилистически отшлифованные рассказы Юрия Нагибина, книги Василия Шукшина с его своенравными «чудиками», проникнутые ладом традиционной народной жизни «Плотничьи рассказы» Василия Белова, копившийся по отдельным главам-рассказам «Последний поклон» Виктора Астафьева — все это бесспорное доказательство того, что авторитет, удельный вес этого малого жанра был в прозе той поры поистине велик. Но первым в этом ряду все же необходимо назвать Юрия Казакова. Правда, он обреченно замолчал в семидесятые годы, но его присутствие в литературе ощущалось и писателями, особенно начинающими, и читателями необычайно остро. Рассказы Казакова были тем камертоном, по которому выверялось собственно художественное звучание прозы.

Хочется подчеркнуть еще раз принципиальный поворот в жанре рассказа второй половины шестидесятых — начала семидесятых годов. Там обжился и все сильнее, все ярче стал проявлять свой характер, заявлять о своих сердечных пристрастиях, выкладывать как на духу накипевшее и наболевшее не просто «советский человек» с его проштампованным цензурой кодексом литературных черт, а обитатель городских предместий, плохо известный читателю поселковый житель, наконец, сибиряк и дальневосточник со своей собственной, как оказалось, уникальной судьбой. Реакция читателей была мгновенной — они увидели внимание к себе, почувствовали, что интересны миру, их существование обрело смысл. Литература перестала быть некой отчужденной от них территорией, она стала пространством живых людей, где есть место каждому.

Вячеславу Сукачеву было за что полюбить рассказ, было на чей литературный опыт опереться, но все-таки главное вот в чем: сконцентрированная на сжатом

поле рассказа история человеческой жизни, исповедальность повествования, проникнутого щемящей грустью утрат, мелодия любви, которая может просто встать в воздухе, оборваться по причине душевной слепоты героев, сердечной их неосторожности или по воле случая — вот что завораживает писателя, вот его литературные палестины, где ему вольно дышится как прозаику уже четвертый десяток лет. Казаков в одном из интервью так объяснил свое понимание любимого жанра: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни. И слово каждый раз иное». Рассказы Сукачева ясно говорят, что такой взгляд близок и ему.

Писатель, как и положено живому существу, родился в купели боли и терзаний, естественно, личных. Крушение первой семьи словно очистило путь творчеству. Сам автор так пишет об этом: «И вот именно посреди этих страданий вдруг что-то во мне сдвинулось, рухнула какая-то последняя заграда, и я вдруг записал рассказы — легко и свободно». Эти-то рассказы и вошли в первую часть нынешней книги. Ощущение легкости и свободы, испытанное автором при появлении рассказов, и сегодня передается читателю.

Такие рассказы, как «Деревянные кружева», «Никто не смеялся», «У реки», хранят холодок и чистоту первоначального погружения в жизнь, когда любовь еще только прикасается к сердцу, заставляя его торопиться и замирать, открывает глаза и обостряет слух. Так происходит у деревенского парня Кольки Вострухина и приезжей студентки Настеньки, которые вошли в любовь, как в туман, слепыми, а расстались всем своим существом открытые миру, когда печаль и горечь разлуки только придают им силы, открывают горизонты. Это случается с Люсей, которую мимоходом соблазняет бродячий человек Гошка, заскочивший погостить к брату в амурский поселок. Походя он пробуждает в ней истинную любовь, испытывая при этом лишь азарт ухаля-затейника. Жутковато становится от полной душевной бесчувственности его, когда он за бутылкой рассказывает напарникам по работе о заключительном аккорде своих походов. Уезжая из поселка, он обещает прийти к Люсе на утес, и уже с теплохода с удовольствием наблюдает за картинкой: «Как подошли к утесу, выглянул я в иллюминатор, смотрю, стоит моя кроха на утесе. Принарядилась, в руках букетик цветов, должно быть, для меня насобирала, и стоит. Ум-мо-ра...» Но не по себе становится и от одиночества, на которое не Люся, а как раз Гошка неминуемо обречен: «Гошка закинул назад русую голову и громко расхохотался. Но, видимо, что-то насторожило его. Он резко оборвал смех, выпрямился всем своим мощным, красивым телом и медленно обвел мужиков взглядом. Промысловики не смеялись».

Понятно, что нравственная коллизия рассказа «Никто не смеялся», как и ряда других, не открытие автора: столкновение деревенского человека, «природного», как иногда определяли критики, с личностью, деформированной прессом городской жизни, разрушительный бег по чужим судьбам героев, лишенных всяческих корней и устоев, по социальным причинам или внутренним, — все эти темы в литературе семидесятых-восьмидесятых были в центре внимания. И прежде всего в «деревенской прозе», которая всей кровью, задолго до девяностых годов, чувствовала разрывы животворных тканей в судьбе народа и отдельной человеческой душе. Другое трогает в рассказах — сохранившееся обаяние влажного в своей лиричности слога, не анатомический анализ характеров, а та бережно переданная мелодия, которую герои в себе несут.

Уже в первых рассказах появилась особая примета авторского стиля, точнее, даже не примета, а атмосфера повествования, когда движение темы, развитие любовного сюжета тонко отражаются в природе, окружающей героев. Дело не в

каких-то намеренно прочерченных параллелях, искусственных переключках между переживаниями персонажей и временами года в амурском селе, а в том, что сами герои тревожно вслушиваются в тайную, не всегда понятную им жизнь внутри себя, которая в силу своей естественности сливается с жизнью природы. Того же Кольку Вострухина, который еще и сам себе не признается в любви к Настеньке, мир обнимает как влюбленного, то есть чуткого и способного ощутить нежность бытия как никто: «Был тихий вечер. Синий такой, с первыми паутинами и бабочками-однодневками. Зелененькие эти существа облепили лодку, садились на удилице и поплавок, мягко тыкались в лицо. Были они прохладными и легкими, и на лице после них оставалась зеленая пыльца».

Наташа в рассказе «У реки», живущая в городе с матерью, проводит целую зиму с отцом в селе и настолько входит в один ритм с бытием природы, что с приехавшей по весне матерью не находит уже общего языка: «Иди, — ласково сказал Назанов, — поговори с матерью. Она небось соскучилась по тебе». — «Мне скучно с ней», — пожаловалась Наташа...» Этой весной к ней пришла первая любовь, и она для нее неразрывно связана с этим местом, с рекой, утесом, с костром на берегу, в чьих отблесках «проносились мимо красные льдины». Автор так и видит, так чувствует первую любовь — как явление природы.

К ее возрождающей силе, человеческой теплоте, что не иссякают со временем, писатель возвращается не раз, например, в рассказе «Примак». Поистаскавшийся по свету Василий, проморгавший на стороне смерть матери, да много чего в душе порастерявший, вернувшись домой, тянется не к прежней любви — Марии, живущей в достатке, а к невзрачной Тасе, которая в своей обездоленной жизни сохранила первую любовь к «Васильку-мотыльку». И автор оставляет надежду, что неприкаянность героя, опустошенность его и поздний стыд найдут именно в Тасе понимание и жалость. Просто бабью жалость, которой многое излечивается...

Чуть особняком стоит в книге рассказ «Скорпион». Но образ мальчика, настоящего имя которого так и остается неизвестным, которого родная мать, деревенская почтальонша Нинка, называет сокращенно «Скоря», пожалуй, самая болезненная заноза, которая цепляет совесть и после того, как книга закрыта. Откуда, действительно, взялся этот маленький «прокурор», как его называет Нинка, кто воспитал эту жесткость в нем, упрямый характер? «Что же это за ребенок, который плакать не умеет?» — сокрушается мать. Автор не дает ответа, справедливо доверяя читательскому сердцу, которое подсказывает: а не взрослые ли тому виной? Нинка и ее муж Серега живут порознь, и разводит их, похоже, только личный эгоизм: это как раз тот случай, когда любовь в человеке замыкается на саму себя, ее не хватает для других, даже для собственного ребенка. И Скорпиону приходится брать на себя взрослые проблемы, он пытается стать связующим мостиком между родителями, коль уж у самих на это ума и души не хватает. Получается по-детски, то есть по-взрослому, — он держит их в строгости, выступая живым укором. Но чего стоит эта роль ребенка: «Наконец все стихло в Нинкином доме, и лишь тени от ветвей березы бесшумно передвигались по полу, да последняя капелька влаги, выкатившаяся из закрытых глаз Скорпиона, медленно скатилась на подушку. Нинка ошибалась: ее Скорпион плакать умел...»

Не скрою, у каждого, как и у меня, может возникнуть невольный вопрос: сколько же русская литература будет крепиться на слезинке ребенка? До каких пор завет Достоевского будет сдерживать идущую вкривь и вкось отечественную литературу? Хорошо бы вообще не получить конечного ответа на этот вопрос, потому что эта самая слезинка выдержит многое. Речь ведь не о художественной метафоре, а о той призме человеческого бытия, через которую непременно должна пройти словесность, чтобы на выходе все-таки возникал свет. Может быть, в этом

случае и нужно говорить о традиции, тем более что проза В. Сукачева существует в поле ее притяжения.

Автор, думается, вообще писатель поколения, не в том смысле, что он может за него свидетельствовать, а в том, что в его произведениях отразились и находки, и потери, и блуждания прозы последней трети века, той, что не закрывалась от жизни за окном. Рассказы семидесятых, сразу же отмеченные, как мы об этом уже говорили, классиками «деревенской прозы», завоевавшие читательское признание в стране, сильны были тем, что органично рождались и жили на мощной ветви именно этого литературного движения. Они были соприродны «деревенской прозе» все семидесятые, когда произведения Астафьева, Распутина, Носова — список можно продолжать и продолжать — составляли цвет российской прозы.

Сукачев в своей «Книге памяти» с добрым чувством вспоминает приморского, ныне живущего в омской деревне писателя Александра Плетнева. Между ними действительно немало общего, и причиной тому все-таки одна судьба, хоть Плетнев и старше на целую войну. Общее — приверженность традиции, опора на народный характер своих героев, на их изначально цельное мировосприятие, где нет разрыва между миром социальным и миром природным. У Плетнева есть фраза: «Я родился в прохладный полдень на жатве, можно сказать, с миром природы в глазах». Многие герои Сукачева с полным правом могли бы повторить эту фразу. В частности, в произведениях Сукачева «Подлетьши» и «Двор», напечатанных в журнале «Дальний Восток». По своей жанровой структуре это повествования в рассказах, по художественной сути — обращение на новом витке к лирической прозе, окрашенной сегодня в мягкие элегические тона. От нее Сукачеву никуда не деться, это его литературная родина, она подступает к сердцу писателя как талая весенняя вода, смывая с него ожесточение, возвращая к светлой пристани детства, любви, туда, где еще пульсируют истоки русской прозы.



Владимир ГРЫШУК

Морской олень

Очерк

25 апреля. Место силы

Ровная дорога на юг до озера Буссе — и за рекой Шешкевича джип начинает медленно лезть вверх на Тонино-Анивский хребет. Под колеса бегут весенние ручьи, а солнечные поляны с первой травой чередуются с сугробами выше машины. Лишь четыре дня назад два трактора освободили дорогу от снежного плена.

В горах всегда веселей, колея опасно идет над пропастью серпантином, мой приятель Зверобой вертит рулем, головой. Озирается:

— Какая дорога! Красивей не видел на юге Сахалина!

Я вспомнил, что севернее местного села Новиково есть дорога через перевал на Анивское побережье. Местные жители из-за красивых видов назвали ее «Итальянская». Я был в Италии, два раза. Некоторые итальянские дороги я бы назвал «Сахалинские». Вы понимаете, о чем я? Не надо сравнивать, Сахалин — своя красота.

С перевала увидели, что вечерний туман уже лег на берег Охотского моря. Мы не стали съезжать вниз в эту промозглую сырость и остались вечерять здесь, на весенних горах с великолепным видом на десятки километров окрест. Внизу сверкала солнцем линза залива, а на мысе Анива ясно был виден форпост горы Крузенштерна.

Глотая слюну, я запекал на костре жирную куриную ляжку, а мой молодой товарищ... От Зверобоя остался только ник: полгода назад он стал сыроедом. Очистил организм, похудел на одиннадцать килограммов.

Он аккуратно разложил на траве свои коробочки с белыми ростками пшеницы, с пророщенными в шунгитовой воде семечками подсолнуха, с миндалем, грецким орехом и фруктами, с сушеными навагой и корюшкой. Перед поездкой обещал, что выпьет со мной, но энергетика места и осветившая нас божественная красота солнечного заката предложили ему отказаться от моего вишневого самогона — и он выбрал красоту, а не друга...

Через два часа в машине мы уснули в этом «месте Силы» как два бога, старый и молодой.

26 апреля. День страстей

Утром съехали к морю, из дверей рыбацкого стана вышли двое.

— Можно здесь машину оставить?

— Можно. Куда собрались?

— Хотим прогуляться на север до мыса Великана. Там заночуем, завтра вернемся.

— А у нас вчера сторож из комы вышел, наконец-то. Медведь помял. Поэтому никуда мы здесь не ходим и вам не советуем.

Подумав, Зверобой достал из машины второй фальшфейер и дал его мне.

Позже другой человек рассказал нам версию конфликта: сторож увидел медведя, взял ружье и пошел в его сторону. Решил «посмотреть»... Медведь в три прыжка сел на него, укусил два раза за голову, подрал лапами. Сторож успел выстрелить в воздух, медведь убежал.

Так это было или не так... Мы уходили в медвежьи края без оружия, и нам хотелось верить, что это было не так. Сахалинский медведь крайне редко просто так, без видимой причины, нападает на человека.

За первым же мысом начались следы медвежьих лап на песке, и здесь же под прибойной скалой лежали останки погибшего оленя: четыре копытистых ноги, клочки серой шкуры. Второго изюбря нашли в лесу рядом с морем. Третий, довольно хорошо сохранившийся олень лежал в разрушенном домике безлюдного рыбацкого стана — явно не сам полез туда помирать. Рядом по черной, оттаявшей от снега земле проложил свой свежий след трак снегохода.

Идем дальше — еще кости, разбросанные по пляжу. После известия о стороже все это давило на психику. Вот так прогулка! Своеобразная энергетика кладбища не входила в наши планы. Как они все погибли? Предположили, что виновата прошедшая зима, на редкость снежная. Медведи. Ну и люди, конечно, — вольные стрелки Сахалина, охотнички-браконьеры.

Забегая вперед: примерно за десять километров маршрута мы нашли десять павших оленей.

Позитив весеннего ветра, солнца и волн уравнивает негатив, море дарит нам морских ежей, и я тоже становлюсь сыроедом. Вместе со Зверобоем едим их икру (вкусно, но много не съешь), перекусываем крапивой, выросшей на береговом склоне (невкусно) и морской капустой, весной она нежна и вкусна, съесть можно много.

Гав-гав! — три собаки бегут нам навстречу, у одной морда измазана кровью. Обляя нас, они ходом пробежали по пляжу на юг (мы знаем, они со стана на мысе Грозном), а мы увидели очередного оленя, лежавшего на левом боку.

— Смотри, он глазом моргает! — воскликнул Зверобой.

Это была еще живая олениха, судя по животу — стельная. Из обгрызенной собаками нижней челюсти фонтанчиком пульсировала кровь. Возможно, они и загнали ее. Втроем, после зимы ослабевшую.

— Она не жилец, надо облегчить ее страдания, перерезать горло, — сказал Зверобой.

Он достал нож, протянул мне:

— Сможешь?

— Ты что! Это ж не наваге голову отрубить... она мне потом год будет снится!

Он еще с минуту стоял над ее головой, потом сунул нож в ножны и молча пошел на север... я следом... говорить не хотелось...

Великан был уже рядом, и мы разделились: Зверобой пошел по берегу, а я по еще неезженной в этом году дороге в лесу, она вся в снегу. Как и на берегу, здесь тоже поверх изюбриных следов уже прошлепали когтистые лапы проснувшихся медведей. Опять увидел двух оленей, прямо на большой поляне мыса Великана — слава Богу, они были живые! «Наконец-то, Дарвина черт возьми... не все погибли!» — подумал я. Опешив от неожиданной встречи с человеком, изюбри секунд десять разглядывали меня, потом ускакали в лес изящными прыжками.

Сразу стало легче на сердце от живой красоты... надоел этот Дарвин, нерусский англичанин.

Пора ночевать. За мысом нашли уютное место вверху на утесе, с видом на море. Неподалеку лежал огромный чугунный котел (японский, времен Карафутто) — а севернее были видны плоский остров с колонией чаек и знаменитые каменные арки — одно из самых красивых мест этого побережья.

Зверобой быстро поставил свою легкую (меньше килограмма) двухместную палатку, я возился с барахлом...

— Вова! Косатки!

Он, не отрываясь, смотрел в монокуляр. В пятистах метрах внизу резвилась семья: здоровенный папа-кит, ребенок размером с дельфина, его мама, братья и сестры. Из их дышал струями летел пар. Уже много раз видел эти огромные плавники на переходах, как они синхронно и величественно вспарывают поверхность морей-океанов, но здесь было что-то другое, какая-то суета. Они все кружились на одном месте, беспрестанно ныряя-выныривая. Сквозь толщу воды угадывалось светлое пятно рифа — там они и кружили, над подводными скалами. Вдруг из глубины всплыл пузырь крови — и сразу закричали, заплакали чайки, полетели со своего острова справлять тризну по убиенной нерпе. Постепенно пятно крови приобрело форму большого сердца, чайки пикировали туда и хватали с поверхности какие-то красные куски... косатки медленно уплывали в открытое море. Через десять минут ветер растянул «сердце» в длинную и узкую полосу, чайки потянулись на берег, и когда я приволок последнюю сушину для костра и снова глянул вниз — там, как писали в старых романах: «Уже ничто не говорило, что здесь разыгралась трагедия».

Всю ночь хлестал холодный дождь. Упругий ветер-южак молотом вбивал волны в утес, порывами бил в стенку палатки, в меня — через пустой рюкзак, которым я загородился от конденсата, и сквозь сон чудилось, что это мертвые олени и нерпы тычутся в бок, командовал ими сторож с окровавленным скальпом. Просыпался, думал: «Вот страстей-то насмотрелся... впервые так плотно, все в один день...»

27 апреля. Морской олень

Утром я предложил идти назад не по приборю, а рядом с морем по полке в тайге.

— Вчерашняя олениха, скорее всего, погибла. Если пойдем по берегу, рискуем у ее тела нарваться на засаду медведя.

Зверобой согласился, и мы пошли на юг поверху. В лесу спугнули еще парочку изюбрей, потом Зверобой нашел старый череп оленя с двумя роскошными рогами в шестнадцать отростков. (Приглядчивый! Всегда все видит раньше меня.) Рога были тяжелей его рюкзака, и он решил оставить их там же, в лесу.

Сверху тщательно осмотрели песок вокруг вчерашней оленихи: медвежьих следов не было. Спустились на берег и, не задерживаясь, с досадой прошли мимо нее. Тело подвинул и замыл песком ночной прилив, смерть так и не закрыла ее правый, большой и печальный глаз.

А спустя километр увидели труп медведя. Вчера его здесь не было! Небольшого, килограммов на сто пятьдесят. Лапы с когтями обрезаны, вспорото брюхо и вынута желчь — и уходящие на юг следы квадроцикла... Потом нам сказали, что это были браконьеры с одного из местных станов.

На одном из мысов Зверобой достал свой монокуляр, стал разглядывать берег:

— Вижу одинокого оленя! Стоит на берегу, к нему бегут собаки.

— Вчерашние собаки?

— Да. Олень с маленькими рожками, самец... Давай скрадем его, «расстреляем» из фото в упор.

Опять поднялись на таежную полку и, стараясь не трещать валежником, пошли к оленю над морем меж деревьев. Осторожно с обрыва выглянули на берег — до оленя осталось пройти метров сто. Ниже нас, на травянистом склоне, стоял он, туда с пляжа загнала его белая лайка. Метров с десяти облаивала его, ближе подойти боялась.

Удивительно: был сильный шум от южного ветра, и грохот прибоя, и собака лаяла — изюбрь услышал фотоохотников! Спрыгнув вниз, он остановился на берегу. Уши вертелись как два локатора, он силился разглядеть нас сквозь заросли медвежьей дудки. Собака поднялась по склону и стала ласкаться ко мне, а олень... Олень поскакал прямо в море по обнаженному отливу — и с ходу бросился в волны, поплыл.

Прошло минут пять.

— Долго он не выдержит в весенней холодной воде, сейчас повернет к берегу, — сказал Зверобой.

Но олень плыл и плыл в открытое море, никуда не поворачивая. Прошло десять минут.

— На Хоккайдо заплыв делает...

— Нет, прямо по его курсу Курилы...

Уже и в десятикратный монокуляр я с трудом различал голову, плывущую в волнах.

— Сейчас крякнется наш олень, утонет от переохлаждения, — с сожалением сказал Зверобой. — Смотри, еще льдины плавают, вода около ноля градусов.

Было неприятно на душе — это мы его в мокрую морозилку загнали...

«Куда ты плывешь!» — думал я, напряженно вглядываясь в море. «На восток плывешь, с ума сошел... поворачивай, поворачивай... на юг или на север...»

В километре от берега он повернул. На юг. В монокуляр хорошо была видна его голова в профиль, как плывет он без усталости, с хорошей скоростью. Как каяк MaksimPetrovich-a. Описав полуторакилометровую дугу по штормящему морю, изюбрь вылез на островок возле берега.

Я уже хотел посмеяться над смертным прогнозом товарища, но он опередил меня:

— Вот видишь, налопался на склоне свежей крапивы — и все ему пофиг, даже Охотского моря хардкор. Вот такие мы, сыроеды! — и Зверобой с гордо поднятой головой начал спускаться к берегу. Я только руками развел: вывернулся, гад!

Мы шли по пляжу мимо изюбря, а он все стоял на островке в море, грелся на солнышке, потряхивал ушами. Ждал, пока мы пройдем мимо подальше на юг. За мысом я последний раз оглянулся. Нагретый солнцем воздух волнами поднимался с обнаженной литорали отлива, из-за него в монокулере олень двоился, троился, и мне померещилась тельняшка на нем и белая фурага с крабом меж рожек. Морской олень.



Генрих ИРВИНГ

Саламандры умываются огнем

— Ну как, Андрей Николаевич, следишь за курсом доллара? — входя в мой кабинет, спросил директор.

— За ним очень трудно не следить, если все выпуски новостей начинаются с котировки валют. Да что там новости! Вчера задержался на работе, пришла техничка мыть пол и с порога говорит: «Доллар-то как подросток за сутки!» Вы нашу новую техничку видели? Она ровесница черепахи Тортиллы, Буратино еще пацаном помнит, а туда же — за долларом следит.

— Жизнь такая, — вздохнул директор, — никуда мы от этого доллара не денемся.

Дальнейшие его рассуждения о падении уровня жизни в стране прервал звонивший у меня телефон.

— Братан, привет! — голос приятеля, подрабатывавшего таксистом, был бодр и оптимистичен. — У меня для тебя клиент есть. Через час сможешь принять?

— Твои клиенты, Серега, сплошь пролетарии да голодранцы, с которых проку, как с козла молока.

Заслышав разговор о клиентах, директор замер, как охотничья собака на болоте. Клиент для него — это святое. Упустить потенциального клиента — непростительный грех.

— Не, брат, этот клиент при деньгах. Цыган.

— Ну и что, что цыган? Ты что, думаешь, что цыгане все в деньгах купаются? Я пока начальником следствия в райотделе был, такой нищеты в их ауле несмотрелся! Веришь, у них в домах пол земляной был и крысы из одной миски с собаками ели. Не у всех, конечно, ветер в карманах свистел. Некоторые кучеряво жили. Барон, покойничек, помнится, ни в чем себе не отказывал.

Директор, не вмешиваясь в разговор, стал жестами объяснять мне: «Хватит из пустого в порожнее переливать! Заманивай клиента, заманивай!»

— Ладно, Серега, — внял я директорской пантомиме, — вези цыгана. Если я не смогу с ним переговорить, то...

— Он только с тобой будет разговаривать, — перебил приятель.

— Какая честь, однако! Серёга, твой клиент кто: бандит или наркоторговец? — консультации по уголовным делам были возложены на меня и бывшего прокурора города Охапкина. Экс-прокурор отсутствовал, так что цыган по-любому выпалал мне.

— Понятия не имею, но тебя он лично знает.

— Не мудрено. Я в свое время их, голубчиков, не один десяток пересажал. Короче, Серега, через час я вас жду. Устная консультация будет стоить пять тысяч, за меньшее даже разговаривать не стану.

Дождавшись, когда я отключу телефон, директор коротко посетовал, что бог не дал мне таланта работать с клиентурой.

— Так же нельзя, Андрей Николаевич! — сокрушался он. — Зачем же вы клиента голодранцем обзываете? А если он рядом сидел и все слышал?

— Виктор Константинович, мой приятель, который звонил, бывший мент. Он в жизни никогда в присутствии клиента разговаривать не станет, так что с имиджем нашей конторы все в порядке. А насчет голодранца — так у моего кореша за годы работы в милиции ушки огрубели. Он, даю вам слово, и не такие слова слышал.

Директор отмахнулся от меня и ушел. Чисто по-человечески я понимаю его: дела в нашей фирме шли неважнецки, каждый рубль на счету. Чем больше страна впадала в рецессию, тем менее востребованы становились юридические услуги. Если раньше по малейшему поводу люди рвались в суд отстаивать свои права, то теперь они предпочитали отложить свои обиды в сторону до лучших времен.

Пока есть время, я решил перекурить, но обнаружил, что сигареты кончились. На старом месте работы со мной такого не случалось. Будучи начальником следствия городского УВД, я хранил запас сигарет в ящике письменного стола и, бросая в корзину пустую пачку, всегда имел под рукой новую. Здесь же я не делал никаких запасов, так как считал работу юрисконсультантом в небольшой частной фирме временной. А если мое пребывание здесь продлится не более года-двух, то зачем обрастать личными вещами? Кружка из дома, ежедневник да наушники к компьютеру — вот, пожалуй, и весь мой скарб.

Накинув куртку, я вышел в коридор. На одном этаже с нами, ближе к лестничной клетке, располагались кабинеты нескольких фирм, занимающихся распространением косметики, книг и чудодейственных биологически активных добавок. Бродячие торговцы, одним словом.

Сегодня у них был день сдачи выручки и получения товаров. Дела у торговцев шли не лучше наших. Обстановка, чувствуется, была нервной.

— Да хрен-то там! — донесся мужской голос из-за приоткрытой двери. — Он нас всех в гроб загонит, а свой мундиаль проведет! Он зимнюю Олимпиаду в субтропиках провел и сейчас от своего не откажется. Ему-то по фигу, какой курс доллара. Он на любые траты пойдет, лишь бы иностранцам пыль в глаза пустить. А то, что народу жрать нечего, ему наплевать!

Проходивший мимо мужчина из процветающей консалтинговой фирмы недовольно поморщился. Свободолюбивые речи торговцев были ему не по вкусу. Ничего, дружище, в следующем году экономика России сядет на задницу, обанкротится твоя фирма, и ты точно так же запоешь. А когда узнаешь, что отпуск за границей стал тебе не по карману, то еще и матом добавишь.

С торца нашего офисного здания примостился бар «Нева», в котором полуполюгально, из-под полы, продавали сигареты. На крыльце бара курил неопрятный небритый субъект неопределенного возраста, неизвестно какой национальности. Звали его Алик. В баре он работал грузчиком, уборщиком и сторожем. Жил он тут же, в подсобном помещении. Алик влачил нищенское существование: не брезговал доедать остатки пищи со столов, допивать оставшееся в кружках пиво. После запрета на курение в местах общественного питания Алик лишился окурков в пепельницах и теперь бедствовал: посетители бара курили на улице и все, как один, швыряли окурки подальше от урны, в сугроб у тротуара.

— Здорово, убогий! — поприветствовал я интернациональное существо.

Алик что-то беззлобно пробурчал в ответ. С психикой у него были проблемы.

В полутемном помещении бара за двумя сдвинутыми вместе столами восседала компания бывших ментов, вышедших на пенсию или уволенных по различным обстоятельствам. Почему мои коллеги избрали местом схода именно бар

«Нева», я не знаю, но в каждый мой приход я обязательно встречал в нем кого-то из знакомых. То по одному, то по двое-трое, а то и большим коллективом, они день-деньской сидели в полумраке и тянули пиво, грызли сухарики, угощались стопкой водки. И каждый день, с утра и до закрытия бара, они вели одни и те же разговоры: как славно они работали в прежние времена, и как все рухнуло нынче. Какие бессмертные подвиги они совершали на поприще борьбы с преступностью и как все запущено теперь.

Я брезговал их обществом, как брезговал бы сидеть за одним столом с любыми маргиналами, независимо от того, связывали меня с ними годы совместной работы или нет. Уходя из полиции, я знал, на что иду. Они, похоже, нет. Они, болтающиеся по городу без работы и занятий, думали, что на пенсии будут достойными членами нашего общества. Что их бывшие заслуги и некогда привилегированное положение в социуме даст им право чем-то отличаться от других, гражданских пенсионеров. А не тут-то было! На пенсии все равны, как штакетины в новом заборе. Все, честно говоря, на фиг никому не нужны, кроме своих домочадцев. Ничего не напишешь, капитализм! Рынок. Свобода, равенство, братство.

На столе перед бывшими коллегами стоял полупустой стакан водки, накрытый кусочком черного хлеба. Поминки. Другого места, мать их, не нашли.

— Коршунов! Андрей Николаевич, присоединяйся! Помянем Стёпу Савельева. Славный был парень...

Я, сославшись на завал в работе, отказался, купил сигареты и быстро покинул бар.

Полковник полиции Степан Савельев, один из заместителей начальника Ленинского райотдела, уволился на пенсию двумя годами раньше меня. На гражданке Степан устроился в службу безопасности крупной компании. Через год он утратил бывшие связи в силовых структурах и был под благовидным предлогом уволен. На новом месте Савельев продержался еще меньше, стал здорово выпивать, и его попросту выгнали. В совсем уж крохотной организации он умудрился повздорить с директором и вылетел на улицу. К неудачам на работе примешались скандалы с женой, всплыла на свет история с давней любовницей. Утешение бывший полковник искал в вине и быстро деградировал.

Неделю назад Стёпа нашел выход из сложной жизненной ситуации — застрелился из пистолета «ТТ», происхождение которого было неизвестно. Есть у ментов такой негласный обычай: для самоубийства пользоваться оружием, которое нигде не числится. На моей памяти за двадцать лет службы только один воспользовался табельным Макаровым, остальные пускали в ход стволы, которые ненавязчиво заныкали в «лихие» девяностые. Бесхозного оружия тогда было навалом.

Приятель с цыганом явились перед обедом.

Новоявленному клиенту было лет около тридцати пяти. Одет он был с показной цыганской небрежностью: распахнутая кожаная куртка, алая рубаха, потертые джинсы, добротные зимние сапоги. Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы установить точный диагноз: недавно освобожденный из колонии и несколько дней отмечает сие примечательное событие.

— Справку об освобождении! — вместо приветствия скомандовал я.

Цыган оскалился частоколом золотых зубов, ухмыльнулся, достал завернутую в полиэтилен синенькую справку. Приятель, ожидающий получить свой процент за клиента, примостился в углу.

— Сколько отсидел? Восьмерик? А за что, за наркотики? Понятно, семейный бизнес.

Я посмотрел на анкетные данные клиента.

— Ты, Ян Борисович, часом, не пасынок Доброго Бориса, вашего барона?

— Я его приемный сын, а не пасынок.

— Цепь на тебе? Будь другом, покажи. Я столько о ней наслышан...

Цыган вновь ухмыльнулся, распахнул ворот рубахи. Я подошел к нему, пальцами ощупал цепь по всей ее длине. Что сказать, вещица была действительно уникальная: на всем своем протяжении эта золотая цепочка не имела крепления. Вообще не имела. Никакого. У нее не было ни начала, ни конца.

— А как ты в зоне с ней был? — любопытно спросил я. — Никто не потребовал снять?

— Так ее же снять невозможно, она же меньше, чем моя голова. Расстегнуть ее тоже никак нельзя. Остается только порвать. Ментам при аресте я сразу же сказал: «Если цепь тронете, я себе вены зубами разорву, кровью истеку, а вам за покойника отвечать придется».

— А зеки снять не пробовали?

— Андрей Николаевич, жить все хотят: и я, и другие арестанты. Зачем за кусок золота на нож нарываться? Я ведь не только своей крови, я и чужой не побоюсь.

— Интересно, как ее на тебя надели?

— Говорят, сразу же после рождения, через голову протиснули.

— Угу, с цепью все понятно. Что привело тебя ко мне, Ян Борисович? Опять влетел?

— Мне нужен паспорт, — цыган сел напротив, достал сигареты, но я жестом велел убрать.

— Я не спрашиваю тебя, где твой старый паспорт. Но ответь мне, на кой черт тебе новый?

— Как зачем? На работу устраиваться, прописаться. Ко мне уже участковый приходил, прописку требовал.

— Какую он мог с тебя прописку требовать, если у вас весь аул незаконно построен? У вас же в поселке ни названий улиц, ни номеров домов нет. Официально ваш поселок не существует.

— Один дом, который самый первый купили, имеет официальный адрес. Мы все там прописаны.

— Понятно, что вы все были прописаны в одном доме, но сейчас-то он сгорел. От него даже фундамента не осталось.

— Про то, что у нас «официальный» дом сгорел, нигде не сказано. Сестра проверяла, он до сих пор числится в реестре БТИ. В нем я и пропишусь.

— Я вижу, Ян, ты продумал этот вопрос.

— За восемь лет время было.

— И что же ты решил, пропишешься и пойдешь работать?

— Пойду, пойду. На завод слесарем устраюсь.

— Никогда в жизни не встречал ни одного цыгана, который бы хоть месяц где-то проработал. И я никогда не слышал, чтобы цыгане, даже при советской власти, работали слесарями.

— Я буду первым. Куда пойду, еще не знаю, но одно вам точно скажу — второй раз я в казенный дом не собираюсь. Клянусь этой цепью, живым меня на скамье подсудимых больше никто не увидит.

Я промолчал. Чего-чего, а таких речей от цыгана я не ожидал.

— Давайте о деле, Андрей Николаевич. Я плачу пятьдесят тысяч, вы мне даете новый паспорт.

— У меня не паспортный стол. И вообще, как ты себе это представляешь? Я беру твою фотографию, иду в ФМС, даю взятку и приношу тебе паспорт? Не пойдет. Я в казенный дом тоже не стремлюсь. Если хочешь, то я могу похлопотать за тебя по старым связям, чтобы паспорт восстановили без проволочек. Так пойдет?

— А сразу же нельзя? Тогда делайте, как сочтете нужным.

Он поднялся, достал из пазухи пачку тысячных купюр, перетянутых резинкой.

— Это задаток за работу и оплата за консультацию. Квитанций мне не надо. Я вам на слово верю.

— Польщен оказанным доверием! — я, не считая, сунул деньги в карман пиджака.

— Видал, Серега, как надо жить? — обратился я к приятелю. — Только с зоны человек вернулся, а пятаки уже есть. Все, Ян, по рукам! В конце недели заходи, я все разузнаю, со всеми переговорю.

Цыган ушел первым. Я отсчитал корешу тысячу.

— Мог бы набросить, — забубнил он. — Я тебе такого клиента подогнал.

— Не будьте алчным, друг мой, — я отстегнул страдальцу еще столько же и вышел проводить его на улицу.

Нашего цыгана у машины не было. Нигде не было. Он пропал. Исчез. Испарился.

— Мать его, куда он делся? Мне же его еще назад везти! — заметался вдоль дома приятель.

Но не прошло и пяти минут, как из дверей бара Алик вывел нашего подопечного. Ян Борисович был вдрабадан пьян, еле держался на ногах. Я даже представить себе не мог, что за считанные минуты можно так напиться.

— Как же я его повезу, — озадачился Серега, — он же лыка не вяжет?

Я помог приятелю загрузить бесчувственное тело в машину и пошел в «Неву».

— Чем вы напоили нашего клиента? — улыбаясь, спросил я барменшу.

— Вы верите, — женщина за стойкой картинно приложила руку к груди, — я ему налила кружку пива, вот залпом выпил и тут же окосел. Прямо на глазах потек. Бухал, видать, вчера, вот на старые дрожжи и развезло.

— Бывает, — охотно согласился я.

Из полученного от цыгана задатка я, как честный и исполнительный работник, пять тысяч рублей сдал в кассу фирмы, остальные оставил себе. Дома пересчитал. Хлопоты по восстановлению паспорта Ян оценил в пятьдесят тысяч. Недурно за документ, которым ты никогда не намерен воспользоваться.

Цыганский клан Лебедевых, выходцем из которого был мой клиент, обосновался в нашем городе примерно в конце 1980-х годов. Первым и последним их легальным приобретением на рынке недвижимости была ветхая избушка на окраине частного сектора Кировского района. Со временем жилой массив клана разросся до тридцати пяти — сорока домов, построенных по технологиям начала прошлого века: стены щитовые, пол земляной, отопление печное. Ни внутри домов, ни снаружи туалетов не было — по примеру кочевых предков цыгане справляли нужду где придется.

По вероисповеданию Лебедевы числились христианами. Из церковных обычаев они знали, что надо носить нательный крест, иметь дома икону и креститься, если кого-то уверяешь в своей правоте. Церковь Лебедевы не посещали, из религиозных праздников знали только о существовании Пасхи, на которую принято стучаться крашеными яйцами.

Все члены клана (неформального объединения семей) — с детьми больше двухсот человек — носили фамилию Лебедевы. Лидером клана, чьи указания подлежали беспрекословному исполнению, был Борис Лебедев по кличке Добрый Борис. Никакого титула между цыган он не имел. Бароном именовали его только мы, русские.

До начала 1990-х годов женщины клана Лебедевых попрошайничали на улицах, гадали, воровали. Мужчины сидели по домам, пьянствовали, купали краденое и промышляли мелкими грабежами в других районах города. С развитием в стране

наркомании все Лебедевы переключились на оптовую и розничную торговлю опиумом, а потом — героином.

Непримиримыми врагами Лебедевых были цыгане «мусульманского» клана Оглы, проживающие в соседнем районе. Род занятий, познания в религии и быт Оглы ничем не отличались от Лебедевых. Если называть вещи своими именами, то оба клана-племена были организованными преступными группировками, сплоченными между собой кровными связями.

В междоусобных войнах цыгане несли потери. Отстаивая свои рынки сбыта, «наши» Лебедевы, не задумываясь, пускали в ход ножи. Оглы отвечали тем же. Еще больший людской урон Лебедевым наносили действия сотрудников милиции. В клане не было ни одной семьи, в которой кто-то не отбывал наказание за преступления.

Но не межплеменная рознь и не сотрудники полиции сокрушили оба цыганских клана. Их погубил технический прогресс, главным образом достижения в сфере химии и высоких технологий — на смену традиционному опиуму и героину пришли синтетические наркотики. Товарооборот на рынке наркоторговли полностью изменился. Распространение синтетических, или дизайнерских, наркотиков, переместилось с улиц и задворков в интернет. Оплата стала происходить не наличными из рук в руки, а со счета на счет. Тут неграмотные цыгане ничего не могли поделать. Виртуальная реальность была им не по зубам. Кормиться стало нечем.

Первыми, поголовно, неизвестно куда, съехали Оглы. Дома за собой они сожгли, что породило в городе массу слухов о новой «мафии», выжившей цыган с насиженных мест. Следом, после смерти барона, рассосались Лебедевы. Они покинули город тихо, небольшими группками. Оставшиеся после них дома растащили на дрова местные жители. От двух улиц, где летом в грязи и пыли копошились полуголые детишки, осталось всего три жилых дома. Две или три семьи. Плюс вернулся Ян.

Чтобы поразузнать, на кой черт он нарисовался в наших краях, я направился к знакомым в городское УВД.

— Ты в курсе, что Ян Лебедев вернулся? — спросил я у Хомякова, оперативника, специалиста по цыганской преступности.

— Зачем? — насторожился опер.

— Женя, я, честно говоря, у тебя хотел спросить, зачем он после восьми лет колонии вернулся к разбитому корыту. Из их клана много народу осталось?

— Две семьи: его сестра с детьми и еще кто-то, толком не знаю. А ты, скажи на милость, с чего это вдруг стал Яном интересоваться?

— Он приходил ко мне в контору. Хочу, говорит, начать честную трудовую жизнь. Работать, мол, пойду.

— Фигня, никогда не поверю. Скажи, ты встречал хоть одного цыгана, который бы работал? Я лично нет. Я прекрасно знаю их обычаи. Цыган мужчина по статусу должен дома сидеть, водку пить да в карты играть. Добытчица в семье всегда жена: она и наркотики продаст, и прохожего обворует. Мужик в цыганской семье как племенной бык — только детей строгает. А ты говоришь, Ян Лебедев работать намылился. Чушь! Врет он все.

— Женя, не рассказывай мне прописных истин. Я сам прекрасно знаю цыганские нравы и обычаи. Скажу тебе даже больше: не может быть ассимилирована в современное общество нация, у которой до сих пор нет своей письменности. Язык есть, письменности нет. А нет потому, что она им просто на хрен не нужна. Они не хотят и не будут жить, как все. Если уж их при советской власти работать не заставили, то сейчас и подавно никто не заставит. Но есть одно «но». Всегда бывают исключения. Есть белые вороны, есть завязавшие наркоманы. Может же

быть один цыган исключением из правил? Представь, что он действительно решил пойти работать.

— Куда он пойдет, кто его на работу примет? И что он умеет? Воровать?

— Грузчиком устроится или дворником.

— Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Какой с Яна грузчик? И потом, не забывая про их родоплеменной строй и обычаи, которые у них вместо закона. Если мужчина из клана пойдет работать, то все соплеменники отрекутся от него. Он станет изгоем, посмешищем для всех цыган.

— А как же те, кто в ансамблях поет и пляшет? Они-то официально трудоустроены.

— Такие есть, не спору. Но их единицы, и все они в Москве тусуются. К тому же, петь и плясать у цыган считается незасорным. А вот улицу подметать тебе ни один мужик даже под дулом автомата не пойдет. Западло им руки марать!

— Хорошо, теперь давай зайдем с другой стороны. А если Ян в колонии освоил какую-то профессию и теперь решил пойти, скажем, столяром или электриком. Может же быть такое? Он, кстати, грамотно стал говорить. Книжки, видать, читал. А если читал, то грамоту освоил. Что теперь скажешь?

— Да не бывать этому никогда! Андрей, если он в обществе цыган заикнется о работе, то его все проклянут, а сестра родная, Катька, в лицо ему публично плюнет и скажет, что теперь он не мужчина, а тряпка половая! Что у него нет гордости. Что он позор для всего рода. И коли он добровольно решил стать изгоем, то должен жить отдельно от клана. От всех цыган на свете. Что скажешь, куда он жить пойдет, к тебе?

— Боже упаси! В подъезд не пушу.

— Помяни мои слова, Андрей, он никогда не сможет порвать родовых цепей. Никогда! Цыгане — это замкнутый мир, это круг, из которого нет выхода. Вход есть, а выхода нет. Никто еще не смог порвать цепей, и он не сможет. Забудь о нем. Не пройдет и месяца, как мы его посадим за наркотики или за воровство.

Мы помолчали. Из здания УВД дружной шумной толпой вывалили патрульные полицейские.

— С совещания прут, — пояснил Хомяков. — Им с сегодняшнего дня план спустили: каждый день штрафовать по сто человек за курение в неположенном месте. Ты, кстати, будь поосторожнее — сцапают, не отвертисься.

— Да я вроде бы не курю в помещении.

— В начале месяца областной Совет принял закон, запрещающий курить в радиусе пятнадцати метров от остановки общественного транспорта. Вон остановка, посмотри: от нее до тротуара метров пять, не больше. Пойдешь с сигаркой по тротуару мимо остановки и вяпаешься. Ничего не поделать, городская казна пуста, и власти идут на всё, лишь бы с народа лишнюю копейку стясти.

— Скажу тебе мое личное мнение: если ты сам бросил курить, то ты — молодец, волевой человек! А если государство тебя ростом цен или запретами заставило бросить курить, то ты после этого слизняк бесхребетный. Ладно, не будем о грустном. Скажи лучше, когда Яна арестовывали, на нем была цепь?

— Знаменитая цепь без швов? Была. Она у него вроде как амулет. Андрюха, хватит о цыганах. Расскажи, как ты там, на гражданке?

— С годик продержусь, осмотрюсь, адаптируюсь, а там, если и выгонят, то не страшно. Через год я уже войду в колею и найду себе работу получше. Я как-то прикинул, Женя, мы ведь в чем-то родственны цыганам. Мы тоже живем в замкнутом мире, только у них это клан, а у нас — система МВД. Не каждому дано вырваться из системы безболезненно. Некоторые ломаются, как спички. Стёпка

Савельев, слышал, застрелился? Вот он не смог. Женя, если нетрудно, пробей Яна по зоне: как жил, что делал, что планировал. Сможешь?

Хомяков позвонил на другой день.

— Андрюха, обалдеть! Я ничего не понимаю. Я разговаривал с его начальником отряда, с операми в зоне. Они говорят, что первые годы в колонии Ян бунтовал, несколько раз в карцере сидел, а потом его как подменили. Без всякой видимой причины он вдруг присмирел, стал посещать школу и успешно окончил ее. Работал на производстве, освоил несколько профессий. В последнее время был заведующим библиотекой. Ты представляешь Яна, выдающего зекам книжки? Бред какой-то!

— Кто были его друзья? Что он планировал после освобождения?

— Друзей не имел. После освобождения собирался вернуться домой и устроиться на работу... Андрей, я как не верил ему, так и сейчас не верю. И ты не верь. Темнит он что-то, маракует. И еще, его настольной книгой в зоне был «Граф Монте-Кристо». Может, он клад где-нибудь закопал?

— Ерунда. После барона наследства не осталось. А если где-то и есть клад, то для того, чтобы его откопать, грамоте учиться необязательно.

— Андрей, я выловлю его и посажу до наступления весны. Два месяца мне вполне хватит.

К стыду своему, несмотря на предупреждение, я попал в облаву прямо на следующий день.

Вечером, идя из офиса домой, я услышал оклик:

— Гражданин, одну минуточку, подождите!

Ко мне подошли два патрульных полицейских.

— Здравствуйте! Сержант Петров. У вас есть при себе документы, удостоверяющие личность?

— Естественно, нет. Кто же с собой документы носит? А что случилось, вы меня в чем-то подозреваете?

— Вы нарушили областной закон о запрещении курения табака вблизи остановок общественного транспорта.

Я посмотрел по сторонам — никакого остановочного павильона рядом не было.

— И где же остановка? — с вызовом спросил я.

— Вот! — сержант указал на столб. — Областной закон распространяется как на стационарные остановочные пункты, так и на специально установленные дорожные знаки.

До знака на столбе действительно было метров семь. Формально закон я нарушил.

— Согласен, знак стоит. Но, как бы я ни шел по тротуару, я никак не могу пройти от знака на расстоянии пятнадцати метров. Через десять метров кончается тротуар и начинается сугроб. Мне что, надо было по сугробу лезть?

— Вам надо было не курить или обойти знак по дворам, а не вдоль дороги.

— Погодите, я что, теперь должен идти по тротуару и рассматривать столбы?

— Вы должны не нарушать областной закон. Гражданин, вы пройдете с нами для составления протокола или нам вызвать наряд и отправить вас в районный отдел полиции?

Спорить было бесполезно. Эти бравые ребята пришли на службу в полицию не для защиты прав граждан, а чтобы получить хорошо оплачиваемую работу, гарантированную пенсию через двадцать лет, положение в обществе и власть. Власть над всеми, кто не имеет погон или депутатского мандата в кармане.

Как овца на заклание, я пошел за угол дома, где притаился полицейский автобус. По дороге нам повстречались двое ободранных бомжей, мирно смоливших прямо у остановки.

— Скажите, а вот этим двум господам можно курить где угодно?

Сержанты поморщились:

— Закончим с вами, займемся ими.

Ага, займутся! В лучшем случае прогонят от остановки, а в худшем — оставят как приманку.

В автобусе несколько полицейских составляли протоколы на таких же бедолаг, как я.

— У вас есть при себе документы? Нет? Назовите свои анкетные данные, мы проверим их через дежурную часть.

По радиостанции полицейские сверили мои данные и дали подписать протокол о штрафе в полторы тысячи рублей. Штраф совершенно ни за что. Но меня успокаивало, что материального ущерба я не понесу. Еще перед увольнением из полиции на всякий случай я наизусть выучил биографию некоего господина «К», моего ровесника. Получив уведомление о штрафе, господин «К» на меня не обидится. Он уже несколько лет, после страшной автокатастрофы, ни на кого не обижается. Даже на своих родственников, которые держат его по полгода в психбольнице.

Странные законы о борьбе с курением, на мой взгляд, породили в обществе больше скрытых врагов государства, чем все иностранные спецслужбы вместе взятые. Законы о борьбе с курением низвели на положение граждан второго сорта сорок процентов мужского населения страны. Я сомневаюсь, что эти граждане «второго сорта» выйдут на митинг отстаивать свои права или начнут расписывать стены домов антиправительственными лозунгами. Пока не начнут. А вот когда грянет в стране настоящая беда, они будут иметь полное право сказать:

— Э, нет, ребята! Пусть в окопы останавливать вражеские танки идут вначале граждане «первого сорта», некурящие. А мы, дефективные, в сторонке постоим, посмотрим, чем дело кончится.

Или ничего второсортные не будут говорить, а просто увильнут от мобилизации или трудовой повинности. Как государство к ним, так и они к государству.

Придя домой, с досады я выпил сто граммов и успокоился. Плетью обуха не перешибить. Впредь осторожнее буду.

— У тебя что-то случилось? — спросила жена, входя на кухню.

Я рассказал ей историю Яна Лебедева.

— Скажи мне, как человек, который не имеет к цыганам предвзятого отношения, он сможет вырваться из родового круга или нет?

— Предположим, что Лебедев действительно решил начать новую жизнь. Тогда ему нужна русская женщина, никоим образом не связанная с цыганами. Еще желательно, чтобы его она считала за кого-то другого по национальности: за татарина или за шорца. Представь, он, пока сидел в зоне, стал переписываться с женщиной из деревни. Наплел ей про тяжелую жизнь и все такое, надавил на жалость, пообещал верной любви до гроба. В деревнях мужиков не хватает, так что жену он по переписке найдет...

— Погоди, дальше сама доскажу. Ян оформляет себе паспорт и едет к «заочнице». В паспорте национальности нет. Фамилия и отчество у него русские, имя — не понять какое. Ну да, пока он не столкнется с соплеменниками, инкогнито ему обеспечено.

Лебедев пришел в пятницу, принес фотографии и справки для оформления паспорта.

— Послушай, Ян, — спросил я его, — а почему ты не освободился условно-досрочно? Почему руководство колонии не вышло с ходатайством о твоём досрочном освобождении?

Он криво ухмыльнулся.

— Андрей Николаевич, они-то вышли, а вот в комиссии по УДО освобождение с ходу зарубили. Как увидели в бумагах, что я цыган, да еще судимый за наркотики, так сразу же отказали. Мол, нет никакого смысла цыгана-наркотогровца на свободу раньше времени отпускать, все равно возьмется за старое. Начальник колонии второй раз посылать документы не стал, а предложил мне в качестве поощрения любую должность в зоне. Я выбрал библиотеку.

— Если не секрет, Ян, твой любимый литературный герой — граф Монте-Кристо?

— Мой любимый литературный герой, Андрей Николаевич, это аббат Фариа, сокамерник Эдмона Дантеса. Аббат Фариа, как и я, находился много лет в заключении, но не пал духом и занимался самосовершенствованием. У аббата есть чему поучиться. А вот Эдмон Дантес, он же будущий граф Монте-Кристо, это герой для обиженных людской несправедливостью подростков. С него не в чем брать пример. Он слабохарактерный. У нас в зоне он бы не выжил.

Я несколько смутился такой оценке персонажей Дюма и перевел разговор на другую тему:

— Ты где жить планируешь, Ян, не в ауле же?

— Пока у себя поживу, а там посмотрим. Когда паспорт будет готов?

— Я думаю, в конце января, не раньше. Сам понимаешь: Новый год, праздники, все отдыхают.

— Пусть отдыхают, я не спешу.

— Ян, а ты бабенку себе никакую не присмотрел?

— Из наших, что ли? Никого в городе не осталось.

— А русская что, не подходит?

— Русской я не подхожу. Нация не та, опасная.

— А ты не говори, что ты цыган. Кто знает, кто ты по нации? В паспорте же нынче нет графы «национальность», а фамилия, имя, отчество у тебя русские.

— Фамилия-то русская — морда цыганская.

— Трудно, однако, с тобой стало разговаривать, на все у тебя ответ заготовлен. Чувствуется, не зря ты библиотекой заведовал. Вот еще что, Ян, если придет участковый и спросит....

— Он больше не придет, — многозначительно улыбнулся цыган.

Понятно, откупился.

Оплатив мне остальную часть работы, Лебедев ушел. Больше я его никогда не видел.

Новогодние праздники пролетели, оставив чувство зря потраченного времени. Всегда на Рождественские каникулы планируешь переделать кучу нужных и полезных дел, но ничего в итоге не делаешь. Обычные выходные проходят гораздо эффективнее.

В первый же день на работе меня ждал сюрприз. Со мной конфиденциально захотел пообщаться владелец бара «Нева».

— Андрей Николаевич, тут такое дело, у нас Алик пропал. Не знаю, заявлять в полицию или нет. Вы, как человек, сведущий в таких делах, подскажите, что нам делать?

— Значит, так, — от жесткости в моем голосе хозяин бара выпрямился за столом, словно я начал допрашивать его. — У вас без трудового договора, за хлеб и кров, работал некто. Как его настоящие фамилия и имя, вы не знаете. Кто он по национальности, где раньше жил и чем занимался, вы тоже не знаете. Вполне возможно, этот человек — опасный преступник, скрывающийся от закона. А может быть, он иностранный разведчик, таким хитрым методом легализующийся на территории России. Так в чем вы хотели покаяться перед властями?

— Слава богу, что я с вами посоветовался, а то наматывал бы сейчас сопли на кулак. Мне что говорить, если спросят?

— Скажите примерно так: по доброте душевной мы приютили бродягу. На нас он не работал, а так, помогал по хозяйству. На работу мы его без документов устроить не могли, вот он и ушел искать другое место.

— Вообще-то, паспорт у него был, но, что в нем написано, я не смотрел.

— А когда он исчез?

— По дням получается, сразу же после Нового года. Спасибо, Андрей Николаевич, выручили!

Еще через день меня вызвали к следователю.

— Андрей Николаевич, вы были одним из последних, кто видел Лебедева Яна Борисовича. Что вы можете сказать о нем? Он злоупотреблял спиртным? Чем собирался заниматься?

В последнюю нашу встречу Лебедев был гладко выбрит, без малейших признаков похмелья. Но следователю я сказал совсем другое: мол, в каждый свой визит Ян появлялся с глубочайшего бодуна.

— Вам знаком этот предмет? — следователь выложил передо мной золотую цепочку в целлофановом пакетике.

Я достал цепь, прогнал и положил обратно.

— Данную золотую цепочку я дважды видел надетой на Лебедеве Яне. На мои вопросы Лебедев пояснил, что эту цепь он никогда в жизни с себя не снимал и не мог бы снять, так как она не имеет застежки. Теперь поясните мне, что произошло?

— В ночь на девятое января в доме, где проживал Лебедев, случился пожар. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Судя по всему, Лебедев лег пьяный спать и не закрыл дверцу у печки. Дом сгорел дотла. Труп Лебедева так обгорел, что мы смогли опознать его только по этой цепочке.

— Вы сняли эту цепь с трупа?

— Ну да, раскусили щипцами и сняли.

— А его сестра, она не пострадала при пожаре?

— Лебедев жил один в доме и никого к себе не пускал. Андрей Николаевич, а он что, действительно хотел устроиться на работу?

— Откуда же я знаю, что он хотел! Я ему паспорт помогал восстановить, в свои жизненные планы он меня не посвящал. Да и какой с него работник, если он всю жизнь или наркотиками торговал, или в зоне сидел? Если я все правильно сопоставляю, то Лебедев с самого момента освобождения ни дня трезвым не был. Разве человек, который хочет начать новую жизнь, работать, будет так поступать?

— Да, да, вы совершенно правы. Какой с Лебедева работник!

На этом проверка материалов по факту ненасильственной смерти гражданина Лебедева Я. Б. была закончена, материал списан в архив.

В субботу дети с утра ушли на учебу, предоставив нам с женой нечастое время пообщаться наедине.

— Андрей, а как ты догадался, что труп в сгоревшем доме — это не Лебедев?

— Цепочка — вся суть в ней. Когда я ощупывал ее на шее у Яна, то поверхность цепи была совершенно гладкая, без рубцов. Та же самая цепь у следователя имеет крохотный шов. Отсюда вывод: эту цепь дважды разрезали. В первый раз ее раскусили и аккуратно запаяли. Второй раз цепь перекусывали уже на трупе и, естественно, в другом месте. Визуально место нового соединения практически не видно, а вот пальцами оно прощупывается. Теперь мораль: Ян сказал, что с живого с него эту цепь никто не снимет, значит, снял ее сам.

— И ты решил никому об этом не сообщать?

— А в честь чего я должен делиться своими выводами с властями? У меня с государством был договор: я двадцать лет добросовестно служу ему, а оно мне за это по окончании контракта платит пенсию. Срок договора закончился, стороны обязательства выполнили. На мне нет сейчас погон, и я не обязан действовать, как полицейский. Я — частное лицо, обычный гражданин, который должен в своих действиях руководствоваться не уставом, а чувством гражданского долга. Так вот, я плевал на этот самый гражданский долг! Если государство считает меня гражданином «второго» сорта, то пускай оно, разлюбознейшее государство, как-нибудь обойдется без моих познаний в криминалистике. В конце концов, Лебедев мне штраф за то, что я шел с сигаретой по тротуару, не выписывал.

— Андрей, в тебе говорит чувство обиды.

— Отнюдь! Я не в обиде на государство, я просто не желаю ему помогать.

— Ужас, я не узнаю тебя! Ты решил оставить убийцу на свободе? А как же справедливость?

— Лена, о какой справедливости ты говоришь? Государство накручивает цены на сигареты и цинично заявляет, что вырученные средства пойдут на помощь малоимущим семьям. Все цыганские семьи, с которыми мне доводилось сталкиваться, официально малоимущие и многодетные. Это им, Лена, пойдут мои деньги. У них каждая вторая женщина мать-героиня, ни разу, ни дня, нигде не работавшая. И потом, мои деньги — это деньги моей семьи, деньги наших детей. Почему я должен спонсировать кого-то, обделяя собственную семью?

— Успокойся, расскажи лучше, как там все было?

— В колонии Ян понял, что выбор у него не велик: или он всю оставшуюся жизнь будет скитаться по зонам, или вырвется из родового круга и превратится в другого человека. Вырваться из круга он сможет только при одном условии — полностью разорвав все связи с цыганами, бросив всю родню и начав жизнь заново, с чистого листа. Чистый лист для него — это паспорт подходящего по возрасту и национальности человека. Например, такого, как Алик, которого в случае исчезновения никто искать не будет.

— А ты?

— Я был нужен Яну только для опознания цепи. В нашу первую встречу он чуть ли не до пупа расстегнул рубашку, чтобы я обратил внимания на цепочку. Продемонстрировав мне цепь, которую нельзя снять, не разрезав, он пошел в бар, где изобразил, что напился с одной кружки пива. Там же он заметил Алика. У Яна глаз на маргиналов наметанный, он сразу же понял, что Алик по всем статьям подойдет ему для будущей пьесы. Примерно через день или через два Ян пришел после закрытия «Невы» к Алику, познакомился с ним, втерся в доверие. В новогоднюю ночь он пригласил Алика к себе и или отравил его героином, или напоил до бесчувствия и бросил замерзать на морозе около дома... Пожалуй, отравил. Я бы на его месте отравил, а то при вскрытии выяснится, что потерпевший умер от переохлаждения, и вся затея с пожаром рухнет. Итак, мертвого Алика он оставляет на несколько дней во дворе, убеждается, что его никто не ищет. Замерзший труп он заносит в дом, снимает цепь с себя и запаивает ее на Алике.

— А как он...

— Лена, не спрашивай меня, как он это сделал! Я не силен в ювелирном деле и никогда не интересовался пайкой золотых цепей. Одно тебе могу сказать: на мертвом человеке можно при пайке цепи не бояться, что прожжешь ему кожу. Не забывай, Ян восемь лет просидел в колонии и мог за это время познакомиться с хорошим ювелиром, который посвятил его в тонкости своего ремесла. У Яна несколько лет была под рукой целая библиотека, в которой он не только Дюма читал. Кстати, насчет аббата Фариа я ему сразу же не поверил. Он не аббатом себя мнит,

а графом Монте-Кристо, который свою карьеру начал с подмены трупа. Ну вот, в принципе, и все. Ян сжигает дом и сжигает за собой мосты. Он, как саламандра, умывается огнем и выходит из пламени преображенный. Не пройдет и месяца, как у него на руках будет выданный в законном порядке паспорт с его фотографией, но на имя покойного Алика.

— Так просто новый паспорт сделать?

— Раз плюнуть. Я знаю, по крайней мере, три способа, как превратить чужой паспорт в свой. Думаю, Лебедев знает не меньше.

— Ты даришь ему свободу?

— Отчего бы нет? Я знаю, как тяжело вырваться из круга. Я каждый раз в «Неве» вижу тех, кто не смог этого сделать, кто не смог войти в колею гражданской жизни и добровольно идет на дно. Но наш круг, по сравнению с цыганским миром, это так себе, детская забава.

— Андрей, ведь ему, чтобы выжить, надо навсегда бросить всю родню, сестру, племянников...

— Лена, — я воздел руки к потолку, — он целый мир бросает и уходит в никуда! Он из параллельного мира переходит в наш, и я не тот человек, который будет ему мешать начать новую жизнь. Пусть попробует, может, что и получится.



культура и искусство

Александр ЛОБЫЧЕВ

На русских берегах Японского моря

Художественные метаморфозы Лидии Козьминой

Лидия Козьмина принадлежит к той редкой породе художников, которым достаточно лишь пяточка личной территории для мольберта, табурета и подставки для красок и палитры, чтобы заложить основание собственному художественному миру — с географией, мифологией и героями. В таком виде она и предстает перед зрителем в своей картине «Двойной портрет художников». Центр этого мира находится во Владивостоке, а пространство простирается на запад и восток, причем захватывая все новые и новые временные и культурные пласты. В творческой личности Лидии, ее искусстве удивляет многое, но прежде всего эстетическая смелость и твердая воля в утверждении своих художественных принципов, своей манеры рисования и письма. А, кроме этого, еще и свобода в использовании различных изобразительных приемов и образов, которые она неустанно находит в искусстве самых отдаленных друг от друга эпох и народов. Столь необычное, даже противоречивое сочетание обретенной и культивируемой индивидуальности и, по выражению Достоевского, «всемирной отзывчивости» по отношению к мировой культуре, придает творчеству Козьминой подлинное своеобразие, превращает ее живопись и графику в явление не только яркое, но и знаковое для современного русского дальневосточного искусства.

Последовательная и качественная академическая школа — художественное училище во Владивостоке, а затем Дальневосточный институт искусств, эстетический вкус, воспитанный на отечественном и европейском искусстве, воображение, склонное к волшебству и сказке, наконец, тонкая интуиция позволили Лидии установить свой мольберт в единственной точке, что предназначалась именно для нее, — на перекрестье западных и восточных традиций. Художница глубоко почувствовала и восприняла саму культурную ауру побережья Японского моря, где встречаются не только разные цивилизации, языки и религии, но и культурные мифы, персонажи библейские и буддийские, призраки старинных легенд и преданий. В пространстве ее произведений нет линейного движения времени, здесь царит мифическое время, время сновидений, в котором, словно в причудливом орнаменте переплетены воедино времена и народы. Творчество Лидии Козьминой уже сегодня можно рассматривать как единую мифологическую метафору, которая раскрывается перед глазами зрителя самыми неожиданными и необычными образами ее живописных и графических работ.

Вот почему библейские волхвы в одном из графических листов пробираются через сугробы и сопки приморского зимнего леса к рождественским яслям, а в другом — тибетские девушки в национальных нарядах наблюдают за турниром средне-

вековых рыцарей. В ее миниатюрах древнеегипетские крылатые сфинксы, словно у себя на родине, обитают на островах залива Петра Великого, а в деревенском огороде с городьбой и банькой приземляется явно восточного обличья дракон, на которого бредущий мимо мужичок и внимания-то не обращает — подумаешь, привычное дело. С начала девяностых годов, когда и началась самостоятельная творческая работа Лидии, ее искусство все больше приобретает облик чудесного сада, в лабиринтах которого силой мастерства и фантазии автора оживают волшебные птицы, рыбы и животные древних цивилизаций, герои средневековых европейских легенд, русских сказок, персонажи народных карнавалов и гуляний. И все больше в картинах появляется странников, плывущих и путешествующих именно в поисках эдема, райского сада. Похоже, они его обрели — здесь, на русских берегах Японского моря.

Всякий разговор о произведениях художницы невольно соскальзывает на пересказ сюжетов, на перебор многочисленных культурных ассоциаций, от этого трудно удержаться, настолько увлекают, затягивают в себя события, что разворачиваются в холстах и графике. Сюжеты отличаются необыкновенными — и поэтичными, и смешными одновременно — ситуациями и действующими лицами, каждый из которых представляет собой конкретного персонажа, начиная от одежды и заканчивая выражением лица. А композиция плотно заполнена историческим или волшебным антуражем, деталями пейзажа и сказочными существами, рассматривать которые можно с наслаждением, открывая все новые узоры, например, на хвостах русалок. Дело в том, что работы Козьминой при всех своих чисто художественных достоинствах обладают еще и несомненными литературными качествами — они всегда содержат в себе поэтический рассказ, едва ли не стихотворение в живописи и графике. Даже натюрморты, превращенные в декоративный плотно цвета орнамент, — это подробный рассказ о предметах, а через них о целой стране, как, например, это происходит в полотнах «Подарки Тибета» или «Сувениры Китая». И в этот рассказ включаются рисунок на тканях, резьба на шкатулках, барельефы на чайниках и расписанные цветами, птицами и животными дверки шифоньера. Такими внимательными и восхищенными глазами видят предметы настоящие исследователи, путешественники и поэты.

Интерес к национальному фольклору и литературе фантастического свойства, к средневековой книжной миниатюре, тяга к исторической и географической экзотике, особенно к восточным мотивам, наконец, графичность и орнаментальность изображения при ювелирной проработке деталей, — все это говорит о несомненной привязанности художницы к эстетике эпохи модерна конца XIX и начала XX веков. Но самое поразительное, что в ее творчестве нет и намек на повторение пройденного, это непохоже даже на талантливую стилизацию. Такое впечатление, что времена французских символистов и художников петербургского объединения «Мир искусства», английских прерафаэлитов и московских живописцев «Голубой розы», изысканная графика русских модернистских журналов, таких как «Золотое руно», «Аполлон», «Весы», — это и есть духовная отчизна Лидии Козьминой.

Произошла просто реинкарнация художника из прошлого рубежа веков в нынешний рубеж столетий, что, кстати, случается и вполне в духе восточной философии. Лидия принесла в современное дальневосточное искусство саму эстетическую атмосферу модернизма, а кроме этого, отточенное мастерство и фантазию. Более того, она словно осуществила мечту своих предшественников и родилась именно на Дальнем Востоке, чтобы объездить его с этюдником от Японии до Тибета и органично вплести культуру этих стран в собственное творчество, которое можно назвать ее личным Серебряным веком внутри современности, где правят бал рыночная продукция галерей и компьютерные технологии.

Если говорить о творческой эволюции Козьминой, то стоит отметить не только постоянное развитие тем и сюжетов, связанных с поездками в дальневосточные страны и в Германию, но и все более изощренную интерпретацию художественных

образов мировой культуры. Лидия не только географически расширяет территорию своего искусства, она погружается в культурные пласты — европейские, русские, восточные, чтобы найти там жемчужины для своей живописи и графики, собственноручно отшлифовать и обрамить их, заставить играть новым светом. Здесь о многих образах и героях можно сказать — и о возвращенных ею из средневековых легенд единорогах, и о волшебных рыбах и птицах русских сказок, и о персонажах старинного театра марионеток, и о ветхозаветных волхвах, но давайте посмотрим на три работы, посвященные образу ковчега.

Первый графический лист с ковчегом, выполненный с помощью туши, пера и акварели, был создан еще в начале двухтысячных годов и представляет собой прямое изображение мифического корабля, на палубе и в трюме которого люди и животные, а по бортам распластались сказочные саламандры, которые постоянно присутствуют в творчестве Лидии. Этот ковчег, окруженный к тому же каймой с виньетками в виде рыб, ракушек и крабов, словно приплыл из древности, он вполне мог бы украсить какой-нибудь средневековый пергаментный кодекс в виде заставки. По сути, это знак, эмблема ковчега, который никуда и не плывет, даже персонажи на двух концах палубы смотрят в разные стороны. Этот ковчег застыл в вечности. Хотя в графическом смысле рисунок, конечно, изобретательный и мастерский, в нем, как и всегда у Лидии, множество орнаментальных подробностей и деталей, которые как раз и отсылают зрителя к образцам эпохи модерна — от японских гравюр до рисунков Обри Бердслея и Ивана Билибина.

Второй графический «Ковчег» 2010 года уже настолько далеко уплыл от устоявшегося в веках образа, что его вполне можно назвать сюрреалистическим ковчегом, полностью рожденным воображением автора. Правда, в работе нет столь присущей сюрреализму болезненной фантазии, нет ни малейшего оттенка тревожной тайны, а есть веселая сказка, в которой в виде ковчега выступает то ли русалка, то ли сирена, уносящая к новым землям, наверняка райским, счастливым, не только целые толпы разного народа, а еще и священных индийских слонов. И действительно, одно это произведение способно стать источником настоящего мифа, можно рассказать целую историю о морской деве, новой спасительнице человечества. Но и этот образ не окончателен, поскольку произведения Козьминой — это череда метаморфоз, «ряд волшебных изменений», как сказал один русский поэт.

В последние годы художница вплотную занялась раковинами, которые и так постоянно возникают в ее работах как реальные приметы родного побережья, как одновременно декоративные и поэтические детали ее художественного мира, но сейчас она стала превращать их в полноценные произведения, в сложные образы, связанные с мировой культурой. Так появилась живописная серия, среди которой холсты «Улыбка песчанки», «Рождение Афродиты», миниатюры «Жемчуг тридакны», «Приморские устрицы» и работа, которая тоже называется «Ковчег». И если библейский ковчег сделан был из «дерева гофер», то у приморской художницы этот третий ковчег превратился в раковину, в перламутровое ложе которой она поместила пару, плотно укутанную золотым покровом до подбородка. Кто это? Новые Адам и Ева, рожденные океаном; влюбленные, в раковине, словно в куколке, спасенные для жизни, прекрасной, как крылья грядущей бабочки... Лидия создает настолько ясный, конкретный и в то же время настолько многозначный образ, который подобно поэтической метафоре способен раскрываться все новыми ассоциациями и смыслами. В том числе и культурными, поскольку глядя на ее живописные раковины, невозможно не вспомнить знаменитую «Жемчужину» Михаила Врубеля, который однажды сказал молодому художнику: «Я научу тебя видеть в реальном фантастическое, как фотография, как Достоевский».

Работы Козьминой с ковчегом хорошо отражают ее художественную эволюцию в целом, когда вместе с расширением тем, мотивов и сюжетов идет усложнение образ-

ной системы. Так, беря в свои руки вечный символ, художница создает собственный современный миф — ковчег двадцать первого века. Подобная метаморфоза произошла и с любимыми ею волшебными животными и птицами в новой серии «Пара», которая включает живописные и графические работы. Здесь появляются уже не сфинксы, не русалки, а супружеская пара — он и она — люди с головами странных птиц. И если в древнерусских книжных миниатюрах и народных лубках райские птицы Сирин и Алконост — это именно птицы с женским лицом, то у Лидии это человеческие фигуры с птичьими головами. Может быть, именно это и помогло ей создать не просто сказочные существа, похожие на ворон, а персонажей, которые, несмотря на свое фантастическое обличье, вдруг появились в нашем мире — в пригороде Владивостока, в самом городе, на островах — да и прижились. Сильнейшее эстетическое впечатление производит как раз сочетание фантастического сюжета и совершенно реального окружающего мира, причем мгновенно узнаваемого. Собственно, это мы с вами и есть.

Признаться, я и в реалистической сегодняшней живописи не могу сразу припомнить настолько живых, психологически точно созданных героев, можно сказать, героев нашего времени. Язык не поворачивается назвать их зооморфными существами, хотя с культурологической точки зрения таковыми они и являются. Перед нами возникают эпизоды самой, казалось бы, обыденной жизни, только вид на нее открывается словно из другого пространства. Причем жизнь этой пары подсмотрена и изображена с любовью и нежностью, иронией и улыбкой. Вот они, нарядно одетые, тесно прижавшись друг к другу, угнездились в кроне осеннего дерева; вот они, грустно опустив клювы, терпеливо сидят на берегу острова в ожидании паром: он в ушанке и с рюкзаком за плечами, она — в красном платочке; а вот эпизод их знакомства: примостившись на почтительном расстоянии друг от друга прямо в воздухе над заливом, они испытывают такие сильные чувства и такую неловкость, что не знают, какие слова найти — она вцепилась в свою сумочку, а он вертит в пальцах сигарету в мундштуке... Нет более человеческих персонажей, по крайней мере в приморской живописи я в последние времена точно таких не встречал. Да и в работах Лидии такое тонкое и сострадательное понимание человеческой природы, такое пронзительное чувство сопричастности к миру и к человеку в нем возникает, пожалуй, впервые. Так из пространства мирового искусства, мифологии и сказки она вплотную приблизилась к современному человеку, заглянула в его душу.

Но поскольку искусство Козьминой — это страна без границ, существующая во времени и пространстве, то вокруг мифических ковчегов, волшебных раковин и самых человеческих ворон в мире по-прежнему возникают все новые герои и невиданные прежде ландшафты. После многочисленных поездок в Китай, Вьетнам и Тибет у нее появилось немало работ, рожденных впечатлениями этих путешествий. Здесь сочные этюды с природы, реалистичные и конкретные, но все же очень характерные для ее манеры письма — с четким контуром, ярким пятном и немножко все-таки сказочные, то есть такие, какими и должны видаться русскому взгляду эти экзотические страны. Есть живопись и графика, среди которой два удивительных по графической красоте листа, созданные всего лишь при помощи цветной туши и пера, — «Тибет» и «Тибетское пастбище». Лидия безошибочно выбирает символ легендарной горной страны — это тибетские яки, самые почитаемые народом животные. Украшенные национальными узорными попонами, с рогами священных животных и глазами древних богов, в ее графике они становятся едва ли не повелителями тибетских гор, пришельцами из старых преданий.

А вот русский мир в последнее время в основном обживаетеся в миниатюрах художницы, хотя он присутствовал там всегда. Нужно сказать, что полноформатные картины и миниатюры, как живописные, так и графические, — это отдельные направления в ее творчестве, которые развиваются параллельно, хотя часто и

перекликаются между собой. Так, сюжет миниатюры может потом воплотиться на большом холсте или листе, а бывает и наоборот. При этом миниатюры никогда не представляют собой какие-либо подготовительные этюды или эскизы, это всегда совершенно самостоятельные работы, выполненные с изящным мастерством, когда работа размером чуть больше ладони способна вместить целый праздник русского Рождества, корабль с открывателями новых земель или чудо-рыбу, на спине которой уместилась деревня с домами, церковью и даже колодцем. Здесь стоит вспомнить, что первая персональная выставка художницы в 2000 году и была выставкой миниатюр. Уже тогда Лидия предстала состоявшимся мастером миниатюры, совершенно одиноким явлением на общем художественном фоне Приморья и оттого особенно драгоценным.

Уникальное искусство миниатюры сегодня практически исчезло из художественного процесса, в прошлом веке оно жило, пожалуй, только в народных промыслах — хохлома, палех, мастера и других. Но работы Козьминой имеют совершенно иные корни, и кроются они в средневековой книжной миниатюре, а еще в русской иконописи. Оттуда библейские темы, растительный и животный орнамент, которым она украшает не только миниатюры, но порой и большие работы, плотный горящий цвет, отсюда клейма, то есть совсем маленькие композиции, которые окружают основной сюжет, объясняя и развивая его. Конечно, со временем в миниатюры пришли и сюжеты из русских народных лубков, стали возникать переклички с живописью «малых голландцев» с их любовью к деревенским праздникам, зимнему катанию на коньках, появились сценки из современной жизни. Но отношение художницы к миниатюре как к чудесному образу мира, маленькой рукотворной драгоценности — это память о древнем книжном искусстве.

В миниатюрах Лидии, помимо волшебства и игры, много свойственной ей иронии, просто житейского юмора, который может проявиться и в самих сюжетах, и в деталях. Так происходит, например, в работе «Свинья в огороде», где пробравшуюся на грядки свинью пытаются остановить и баба с прутом в руке, и мальчишка, который оказался у нее на спине, но ничего поделать они не в силах. А порой озорство миниатюр вдруг окрашивается тонким лиризмом, как в работе «Дети и медведь», и тогда усевшийся на копну медведь с балалайкой, окруженный сельскими ребятами и освещенный малиновым светом заката, предстает уже героем какой-то доброй сказки или задушевной народной песни. Праздничность, веселье этих маленьких произведений обеспечено не только сюжетами, их многолюдностью, но и самой живописью, где преобладают яркие цвета, которые не спорят друг с другом, а горят согласно, как цветы на сарафане какой-нибудь русской красавицы.

Но, глядя на раздолье русской жизни в миниатюрах Лидии, мгновенно откликаясь на нее, настолько она родная, ты невольно начинаешь тосковать по берегам неназванных островов и земель, куда устремляются сказочные корабли, где в жемчужной пене прибоя ныряют сирены и русалки, на галечных пляжах дают представление бродячие акробаты, а под кустами прибрежного шиповника отдыхают фантастические существа в треуголках и с крыльями мифических птиц. Эти прекрасные видения, эти грезы о золотом веке человечества, пробужденные искусством Лидии Козьминой, настолько притягательны в своей художественной убедительности, настолько близко они соприкасаются с памятью детства, когда мир был чудесен и многолик, что лишиться всего этого — значит, оказаться в сумрачных границах современности, превратиться в марионеток, которые кривляются в чужих руках. Лидия предлагает нам опыт свободного существования в пространстве мировой культуры и собственной души, открывает выход к морю — и здесь, на побережье, начинается новая жизнь...



Владимир Бахмутов

Так кто же он такой — Ерофей Хабаров?

Ерофей Хабаров, пишут многие исследователи, весьма противоречивая личность русской истории. Вместе с тем внимательный обзор сохранившихся исторических документов показывает, что в его поступках нет никакой противоречивости, если не допускать купирования исторических свидетельств и исключить из художественных описаний его жизни надуманные и ничем не обоснованные предположения.

О начале жизненного пути Ерофея Хабарова мы почти ничего не знаем. Вся достоверная информация сводится к купчей на приобретение отцом Ерофея деревни на берегу речки Ленивицы и несколькими записям в сохранившихся писцовых книгах Сольвычегодского уезда и Устюга Великого. Эти документы относятся к 1626, 1646 и 1647 годам, то есть периоду, предшествовавшему поездке Ерофея и Никифора Хабаровых в Мангазею. Эти документы подробно описал и исследовал Г. Б. Красноштанов («Ерофей Павлович Хабаров» — Хабаровск, 2008).

Купчая говорит о том, что в марте 1626 года некая Наталья Аникиева дочь Гусева «продала Павлу по прозвищу Меньшик, Иванову сыну Хабарову в Усольском уезде в Олексинском стану Удимской волости деревне Ленивской жар, чистую землю орамую и под лесом с двором и дворищем. ... Во дворе две избы, три сенника с подклетями и заплотами, баня, гумна с овинами, ловищами и ездовищами, и со всеми угодьями... чем сами владели по купчей отца своего... А межи той земле по старым межам, по речке по Ленивице... до Мороженово болота, а с Мороженово болота по Петриловский ручей.

...Взяли у Павла на той деревне... на всем без вывода, что в сей купчей писано, сорок рублей денег московских ходячих...».

Видимо, где-то рядом, в деревне Петрилово (по все вероятности — по Петриловскому ручью), проживала и старшая замужняя сестра Ерофея. Это объясняет закрепившееся за Артемием, племянником Ерофея, прозвище Петриловский при настоящей его фамилии Кривошапкин. Во всяком случае, так утверждает Г. Б. Красноштанов, называя его родиной деревню Петрилово.

К немного более позднему времени того же 1626 года относится запись в переписной книге Сольвычегодского уезда: «Деревня Выставок Ленивцов, а в нем крестьяне: ...Микифорко Павлов Хабаров з братом с Ерофейком, да с ними половники Куземка Терентьев да Васка Иванов, владеют по купчей Натальицы Аникиевы дочери Гусева».

В самой ранней сохранившейся книге Устюга Великого за 1626 год записано: «Деревня Дмитрова на реке на Двине. А в ней крестьян: двор — Микитка

Меньшикова Хабарова да троецкого церковного дьячка Ортюшки Микитина...». Микитка Меньшиков Хабаров — видимо, старший брат Ерофея Хабарова. Далее опять следует запись: «Пустошь, что была деревня Святица на реке на Двине... дворы и треть ее поль сметало рекою Двиною... пашут наездом тое же волости крестьяне из деревни Часовницкое Васка Хабаров... да из деревни Дмитрова Меньшичко Хабаров».

Известно также, что Ерофей Хабаров тоже какое-то время проживал в деревне Дмитриево Вотложенского стана Устюжского уезда. Эта деревня находилась в восьмидесяти километрах от Устюга Великого на берегу Сухоны.

Никаких документов более раннего времени, свидетельствующих о проживании Ерофея, Никифора или Павла Хабаровых в этих местах, не обнаружено.

На основании приведенных выше документов исследователи сделали вывод о том, что Ерофей Хабаров родился в 1605–1607 годы в деревне Святица Вотложемской волости Устюжского уезда в семье крестьянина. Хотя, конечно же, эти материалы не дают оснований для такого утверждения, а лишь свидетельствуют о проживании Павла Хабарова с сыновьями в этом уезде в 1626 году. Когда именно семья Хабаровых поселилась в деревне Святицы, сколько времени она там проживала, тем более являлась ли она родиной Ерофея, никакими документальными свидетельствами не подтверждено.

После того как деревню смыло наводнением, Хабаровы какое-то время проживали в деревне Дмитриево, на подворье старшего из сыновей Павла — Микитки, но вскоре перебрались в купленную отцом деревеньку Выставок Ленивецв Алексинского стана Сольвычегодского уезда.

Как и во всем Поморье, пишут авторы исторических повествований, пашенные крестьяне Устюжского уезда жили хлебопашеством, промыслами и торговлей. Немало из них, оставляя насиженные места, становились промышленниками и уходили «за Камень» искать богатые соболиные промыслы. Когда Ерофею исполнилось двадцать, он тоже решил попытать счастья. Так или примерно так начинается любое повествование о Ерофее Хабарове. У читателя при этом невольно складывается представление о нем, как о простодушном деревенском парне-пахаре, рискнувшем пуститься в новую неведомую для него жизнь.

Не знаю, как для других читателей, но для меня в свете такого представления совершенно неожиданной явилась та опытность и знание промыслового и торгового дела, которые вдруг проявились у Ерофея с его прибытием в Мангазею. Он явно чувствовал себя «в своей тарелке».

Пытаясь разрешить возникшее противоречие, я стал внимательно изучать историю Русского Севера в надежде найти там хоть какие-то сведения о происхождении хабаровского рода и его необыкновенной фамилии. Вот что мне удалось обнаружить.

Как известно, подчинение новгородских земель Москве произошло в последней четверти XV века. Вплоть до конца столетия по всей новгородской земле совершались казни и «выводы» нелояльно настроенных к новой власти новгородских бояр, детей боярских, «житых людей» (общественный класс, стоявший между боярством и средним купечеством, то есть лучшие, богатейшие купцы), конфискация у них земель и имущества. До 1488 года, свидетельствуют историки, было переселено больше восьми тысяч семейств. На конфискованных землях Иван III помещал московских дворян и детей боярских. Действия московских властей совершались с отвратительной жестокостью, сопровождалось откровенным и разнузданным грабежом.

Летом 1499 года трехтысячная русская рать под командованием князя С. Ф. Курбского, воевод П. Ф. Ушатого и В. И. Заболоцкого-Бражника выступила

в сибирский поход. Прodelав нелегкий путь, она достигла низовий Печоры. Здесь ратники зимовали и «зарубили» город. Так возник Пустозерск — первое русское поселение на Печоре и первый русский форпост в Арктике. Под влиянием этих событий многие из состоятельных жителей новгородских земель стали покидать родовые земли, пытаясь укрыться от московских властей на дальних окраинах Руси, на территории заполярного Приуралья.

А. И. Шренк, исследователь европейских тундр, приводит сведения из Пламенной переписной книги Пустозерской волости за 1574–1575 годы. Там среди других жителей упоминаются некие Хабарка Степенов и Хабарка Кухнов, которые, по всей вероятности, и дали начало роду Хабаровых. Шренк полагал, что они вели свой род от заволочского чудского племени (А. И. Шренк. Путешествие к северо-востоку Европейской России — СПб., 1855).

Народник С. В. Мартынов, находившийся в начале XIX века в архангельской ссылке и участвовавший в экспедиции по исследованию естественных богатств Северного края, подтверждает происхождение пустозерского рода Хабаровых от чуди и уточняет: Хабаровы — первопоселенцы села Тельвиски, поселения на берегу Печоры выше Пустозерска. (С. В. Мартынов. Печорский край: очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. — СПб., 1905).

Чудью в те времена называли население, проживавшее в Заволочье, — области в бассейне Северной Двины, за «волоками», связывавшими Онежское озеро с озером Белым и рекой Шексна. В древности эта территория изобиловала пушным зверем и соляными угодьями, а проживавшее в Заволочье население занималось преимущественно земледелием, пушным и рыбным промыслами и торговлей.

Это языческие имена. О сохранении языческих культов на северо-восточных окраинах Руси вплоть до XV, а отдельных его очагов вплоть до середины XVI века свидетельствуют многие письменные источники. Исследователи писали о медленном слиянии православия и язычества: «Христианизация медленно шла... проникая в толщу народных масс, сливалась со старым, привычным образом мыслей и чувств».

Для средневекового жителя северо-восточных окраин новгородских земель лишь высшие силы были гарантом стабильности. Считали, что существует незримая связь между именем и судьбой человека, что имя печатью ложится на человеческую судьбу. Присвоение наследнику имени Хабарка было своего рода заклинанием, пожеланием ему родителями счастливой судьбы и безбедной жизни, поскольку старинное слово «хабар» означало счастье, удачу, доход, добычу, выгрыш, прибыль.

Впрочем, многие исследователи считают, что Хабарка — это всего лишь прозвище со смысловым значением «торговец». Такое утверждение небезосновательно. Так, например, в переписной книге Сольвычегодского уезда за 1647 год написано: «Деревня Выставок Ленивцов, а в нем: двор — крестьянин Ярофейко Павлов сын, прозвище Хабаров, с племянником с Васкою Яковлевым...» Ерофей Хабаров в это время находился на Лене, но, как видим, числился среди жителей Сольвычегодского уезда.

В XVI веке Пустозерск становится центром, откуда не только жители Пустозерского уезда, но и промышленники из северных районов Поморья предпринимали промысловые экспедиции в устье Печоры и на арктические острова: Колгуев, Новую Землю и Вайгач. Через Пустозерск шла меновая торговля с «самоядью». Отсюда торговцы-перекупщики отправлялись в тысячекilометровые путешествия «за Камень», за Урал, в низовья Оби и Енисея по так называемому «чрезкаменному» пути.

Со временем «пустозеры» — так стали называть жителей Пустозерска — стали покупать у самоедов и сами разводить оленей. Принадлежавшие богатым русским хозяевам олени стада в несколько десятков тысяч голов паслись в Большеземельской тундре, у Югорского Шара, на островах Колгуев и Вайгач, по берегу Баренцева моря. Промысловые угодья, рыбные тони, олени пастбища, места охоты на морского зверя считались семейными и переходили по наследству.

Среди наиболее крепких торговых людей и промышленников Пустозерска Шалашовых, Дитятевых, Сазоновых, Павловых, Сумароковых, Кожевиных, исторические источники называют и фамилию Хабаровых.

В Переписной книге Пустозерской волости за 1579 год можно увидеть уже целый родовой клан Хабаровых: «посадские люди Ивашка Кузьмин сын Хабаров с братьями с детьми 7 и 14 лет; Гаврилка Матвеев сын Хабаров, Федька Никитин сын Хабаров с детьми, Петрушка Васильев сын Хабаров с двумя сыновьями — Илюшкой и Сергушкой...». Есть основания предположить, что неназванный по имени малолетний ребенок Ивашки Хабарова и есть Павел — будущий отец Ерофея Хабарова. Во всяком случае, на такую мысль наталкивает и его возраст, и имя его отца и прозвище, которое за ним закрепится в будущем, Меньшичко.

К сожалению, исторические источники не донесли до нас сведений о содержании пустозерских переписных книг более позднего времени, где, возможно, мы встретили бы эти имена. Однако это не дает оснований исключить версию о том, что Никифор с Ерофеем были потомками пустозерского рода Хабаровых. Во всяком случае, такое предположение многое объясняет в жизни и деятельности Ерофея Хабарова.

Судя по всему, пустозерские Хабаровы занимали среди именитых людей того края далеко не последнее место. Об этом свидетельствует тот факт, что их фамилия закрепилась в названиях ряда географических объектов: река Хабариха, приток Печоры недалеко от Усть-Цильмы, село Хабариха в устье одноименной реки, становище Хабарово на берегу Югорского Шара. Впрочем, утверждать это с уверенностью нельзя. Вполне могло быть и так, что село получило название по реке, а сама река — по обилию в ней рыбы, что обеспечивало удачный промысел и немалую прибыль. О чем можно говорить уверенно, так это о том, что слово «хабар», означавшее успех, удачу, прибыль, как видим, было в широком употреблении в тех торгово-промышленных местах и могло явиться причиной рождения всех этих названий, включая и саму фамилию Хабаровых.

Побережье Югорского Шара в те годы являлось одним из главных сборных пунктов окрестных и большеземельских ненцев, которые ежегодно весной пригоняли в эти места на летние пастбища своих оленей и свозили все, что ими было добыто за время долгой полярной зимы. Все, что можно было продать или заложить приезжающим сюда торговцам: шкуры белых медведей, моржей, морских зайцев, нерп, моржовые клыки, сало морского зверя, рыбу, пух, шкурки песцов и лисиц, прочие продукты своих промыслов.

Местоположение ярмарки было вполне объяснимо — через Югорский Шар проплывали суда поморских и западноевропейских купцов, державших путь к устьям Оби и Енисея, а впоследствии и к «златокипящей Мангазее». Самоеды (ненцы) меняли здесь продукты своих промыслов на муку, калачи, соль, коровье масло, кожаную обувь, цветное сукно, домашнюю утварь, другие жизненно необходимые товары, в том числе и заповедные (запрещенные) — вино, порох, свинец, ружья. На ярмарки в Пустозерск, слободки Усть-Цильма, Ижма и к Югорскому Шару съезжались купцы из Архангельска, Холмогор, с Пинеги и Мезени, из Вологды и даже из Москвы.

Именно здесь, на побережье Югорского Шара, во второй половине XVI столетия появилось становище (так называли место временной летней стоянки), получившее название Хабарово. Неясно, какую связь имело это название с жившими в Пустозерске торговыми и промышленными людьми Хабаровыми. Названо ли это становище из-за удачного своего положения и смыслового значения слова «хабар», или оно получило такое название по фамилии Хабаровых. В принципе, это не исключено. Возможно, они были наследственными владельцами прилегающих к этому становищу промысловых угодий. К такой мысли приводит название неподалеку расположенного острова — Матвеев. Не по имени ли Матвея Хабарова, который упоминается в переписной книге, назван этот остров?

В любом случае Хабаровы, надо полагать, в полной мере использовали благоприятное расположение становища для собственного обогащения.

Шестнадцатый век был золотым веком для предприимчивых людей Пустозерска. Местные торговцы-скупщики непомерно завышали стоимость своих товаров, завозили сюда спиртное и, спаивая ненцев, приобретали их промышленную добычу за бесценок. Особенно изощрялись купцы, которые умышленно давали займы наивным и бескорыстным аборигенам рубля по два-три в полной уверенности, что те не смогут вернуть их назад. Расплата была натурой. Кредиторы отбирали у ненцев последних оленей, порою доводили дело до того, что лишали ограбленных людей возможности передвигаться по тундре. На этом быстро и крупно богатели. Вероятно, не были среди них исключением и Хабаровы. При этом, пишут исследователи, жители Пустозерска и Усть-Цильмы, не ограничиваясь промыслами в окрестных угодьях и на арктических островах, «в неключию баркасах... пускались они морем в Обскую губу и далее в р. Таз и в Мангазею». Как следует из царской грамоты 1607 года, русские торговые люди пользовались в те годы не только морским путем: «ходят они Печорою рекою на судах с великие товары, а с Печоры на Усу-реку (правый, самый крупный приток Печоры) под Камень в Роговой городок, тут они осеняют (зимуют), а как дорога станет, к ним приезжают пустозерская менная самоедь, их знакомые и други, и та озерная самоедь у тех торговых людей наймаютца и товары их возят за Камень по тундрам к ясашной кунной самоеди (лесным ненцам), которая приходит с нашим ясаком на Обдор...».

Пустозерцы одними из первых освоили этот путь и уже в XVI веке служили проводниками торговых и промышленных людей, привлекаемых пушными богатствами Западной Сибири. Промышленники активно сопротивлялись проникновению государевых людей в богатые районы пушных промыслов, вспоминали недавние вольготные времена, когда «Мангазея за государем не была, и соболи были за ними, за торговыми и за промышленными людьми».

Государева грамота извещает: «Пустозерцы-мужики воровством городок поставили, с самоедью торгуют и нашу десятую пошлину крадут, а в Носовом городке заставу объезжают ...от тех-де пустозерцев, от торговых людей, от их воровства по вся годы чинится в казне ясаку недобор; торговые люди, пустозерцы, ездют за товары своими с каменною самоедью на оленях и, не допуская кунную самоедь к ясатчику на Обдор, и в Казым и в Куноват, с ними торгуют воровством прежде нашего ясаку и сваживают их за Камень на Усу-реку, в Роговой острог; ...многая самоедь, с теми пустозерцы исторговався и не платя нашего ясаку, отъезжают назад по тундрам...».

По мере появления новых сибирских городов — Тюмени (1586), Тобольска (1587), Пельмы (1593, ныне — поселок городского типа), Березова и Сургута (1593), Нарыма и Мангазеи (1601) — значение Пустозерска как торгово-промышленного центра стало уменьшаться.

С началом XVII века английские и датские купцы стали осуществлять торговлю пушниной с местным населением, минуя русские порты Беломорья. В 1611–1613 годы агенты английской торговой компании даже попытались обосноваться в Пустозерске и захватить в свои руки весь торговый район от Цильмы до Урала. Иноземные купцы стали ходить в Мангазею, составив жесткую конкуренцию русским торговым людям из Архангельска и Мезени. Возникла угроза потери государственного контроля над пушной торговлей на Севере, что означало бы потерю третьей части доходов казны.

В связи с этим в 1620 году царь Михаил Федорович закрыл морской путь в северные города. На пути из Европы в Сибирь («Мангазейский морской ход») в устье пролива Югорский Шар на острове Матвеев появилась таможенная застава. В силу этих причин начался отток из этих мест русского населения, начался закат славы Пустозерска. Уход русского населения из Пустозерского уезда вскоре приобрел массовый характер.

Исторические данные того времени подтверждают, что после запрета 1619 года захирели города и села, расположенные вдоль морских и речных трасс. Почти половина жителей Усть-Цилимской слободы и Пустозера покинула места своего проживания и отступила в южные уезды.

Спасая положение, в 1624 году московское правительство официально разрешило отпускать промышленных и торговых людей «от Архангельского города и от всех поморских городов в сибирские города и на Березов город», дорогою «Собью рекою через Камень мимо Ижемскую слободку», то есть Печорским «черезкаменным» путем, через таможенные заставы. Вполне может быть, что в эти годы впервые прошел с отцом или дядьями по этому пути в Мангазею молодой Ерофей Хабаров, получив при этом так пригодившиеся ему опыт и знания.

В переписной книге Пустозерского уезда за 1679 год сообщается: «В Пустозерском же остроге на посаде пустых дворов и дворовых мест, которые посацкие люди померли и розбежались в сибирские и в ыные городы. А те их дворовые места лежат пусты, не владеет ими никто». Среди брошенных дворов и «мест» в книге называются «место Гаврилка Матвеева сына Хабарова: Гаврилка умре, а дети ево сошли в сибирские городы на Березов в прошлом во 178-м (1670) году... место Гаврилка да Максимка Артемьевых детей Хабаровых: Гаврилка збрел к Москве в прошлом во 186-м (1678) году, а Максимка умре...».

Подобно тому, как «розбежались в сибирские и в ыные городы» дети Гаврилки, «сошел», видимо, к Соли Вычегодской и Павел Хабаров со своими детьми. Произошло это, по всей вероятности, вскоре после закрытия морского «мангазейского хода».

Занимаясь в течение многих десятилетий торговлей, печорские Хабаровы, без сомнения, достаточно часто ездили в развитые поморские города — Устюг Великий, Вологду и Соль Вычегодскую для распродажи продуктов собственных промыслов и закупки товаров для обмена с самоедами. Было, наверное, и какое-то постоянное место, где они останавливались, вероятнее всего, место проживания родственников, может быть даже место, откуда когда-то в прошлом их деды-прадеды ушли на Печору. Очень может быть, что таким местом и была деревня Святица на берегу Северной Двины, недалеко от Соли Вычегодской. Отсюда и прозвище, закрепившееся за Хабаровыми — Святицкие.

Случилось так, пишут исследователи, что в 1625 году деревня Святица была смыта наводнением, в связи с чем Павел Хабаров с сыновьями перебрался в недалеку деревеньку Выставок Ленинцов. Об этом свидетельствует вышеупомянутая купчая и писцовая книга Сольвычегодского уезда за 1626 год. К слову сказать, упоминание в ней не связанных с Хабаровыми родством половников (так называли

в те времена зависимых крестьян, которые работали на землевладельца, отдавая ему половину урожая), свидетельствует о том, что сами братья Хабаровы хлебопашеством не занимались. По всей вероятности, они были заняты распродажей товаров, привезенных с Печоры, и закупкой товаров «с Руси» для предстоящей поездки в Мангазею.

Закупив товары, братья, видимо, вернулись на Печеру и уже оттуда весной 1627 года двинулись с караваном таких же, как и они сами, торговцев и промышленников по Печоре и ее притоку реке Усе к низовьям Оби. Путь действительно нелегкий, зато вчетверо более короткий, чем круговой путь через Верхотурье и Тобольск, а главное — хорошо изученный спутниками Хабаровых, пустозерскими торговыми и промышленными людьми. Похоже, как это и было заведено в прошлые годы, зимовали они в Роговом городке. Весной 1628 года вышли к Обдорску, а к осени уже были в Мангазее.

Таким образом, братья Хабаровы ничем не отличались от иных «устюжских купцов», вербовавших ватаги на соболиные промыслы, если они и сами наняли пятерых покрученников, закупили не только охотничье снаряжение на всю эту команду, но еще и кое-какой товар для обмена на мягкую рухлядь.

Но и это еще не все. Прибыв в Мангазею, Ерофей вскоре оказался в должности таможенного сборщика. Любому исследователю, мало-мальски знакомому с историей освоения Сибири, существовавшими в то время порядками и традициями, хорошо известно, что заполучить такую «хлебную» должность стоило немалых денег. За назначение в таможенню или сборщиком ясака мзда, взимаемая воеводами, достигала сотен рублей. Да и не стал бы воевода, даже и за взятку, назначать на такую должность человека, не имевшего опыта общения с аборигенами и своевольным племенем промышленников. Он должен был быть уверен, что этот человек в полной мере исполнит порученное ему дело, поскольку сбором ясака и десятинной пошлины оценивалась Москвой и деятельность самого воеводы. Стало быть, Ерофей, мало того, что уплатил немалые деньги за предоставленные ему права, был в глазах воеводы достаточно опытным для такого дела человеком.

В исторической литературе широко распространена версия о прибытии братьев Хабаровых в Мангазею с караваном новых мангазейских воевод Кокорева и Палицына. Однако исследования Г. Б. Красноштанова показывают, что это не так. На основе документальных свидетельств он пишет, что новые воеводы прибыли в Мангазею двадцать восьмого августа 1629 года, а через несколько дней состоялась их встреча с Хабаровым, который к этому времени уже вернулся с Пясида. Таким образом, своей должностью таможенного целовальника Ерофей был обязан не новым воеводам, а правившим ранее в Мангазее воеводам Тимофею Бобарыкину и Поликарпу Полтеву.

По прибытии в Мангазею новых воевод промышленным человеком Микулкой Петровым сыном Собининым государю был подан извет (донос), в котором Ерофей Хабаров обвинялся в незаконном приобретении соболей. К разбирательству этого дела активно подключился воевода Кокорев. В ходе сыска была опрошена большая группа промышленников.

Обвинение в значительной мере подтвердилось последующими событиями. Историки утверждают, что Никифору Хабарову с покрученниками удалось добыть за сезон восемь сороков соболей (триста двадцать штук). Вместе с тем известно, что братья зарегистрировали и вывезли из Мангазеи около восьми сотен собольих шкурок. Получается так, что большая часть пушнины оказалась в их руках в результате обмена привезенных товаров и деятельности Ерофея в роли таможенного целовальника. Более того, исследователи пишут, что Ерофей был уличен в «нецелевом использовании» казенных товаров, предназначенных

для подарков инородцам за своевременную и полную сдачу ясака — вероятно, он использовал их для обмена на мягкую рухлядь в собственных интересах. В качестве наказания воевода Кокорев отобрал у Ерофея семнадцать соболей и, судя по всему, лишил его должности таможенного сборщика, чем вызвал яростный протест Хабарова, выразившийся в его активном участии в разгоревшемся противоборстве двух мангазейских воевод.

В 1630 году, свидетельствуют документы, через Мангазею и Енисейский волок прошло две тысячи триста пятьдесят торговцев и промышленников, с которых городская таможня собрала десятинную пошлину — тысячу девятьсот восемьдесят четыре сороков шкурки соболей (семьдесят девять тысяч триста шестьдесят), то есть в среднем по тридцать четыре соболя с человека, в то время как на Хабаровых пришлось по сорок пошлинных соболей на брата.

Восемьсот соболей, много ли это? Средняя цена соболя в Сибири тогда составляла полтора-два рубля, а очень хорошего — в разы больше. В Москве, понятное дело, они ценились еще дороже. В то время на Руси за сотню рублей можно было купить дом, пару коров, четверку лошадей, полтора десятка овец или коз, еще и полусотню кур в придачу, то есть обзавестись полным хозяйством. Стоимость же мягкой рухляди, вывезенной из Мангазеи братьями Хабаровыми, составляла около двух тысяч рублей. Весьма немалая по тем временам сумма.

Все это никак не согласовывается с образом молодого Ерофея Хабарова, нарисованным исторической литературой — образом неопытного крестьянского парня, впервые занявшегося новым делом среди сотен конкурентов-соперников в незнакомых ему суровых условиях Крайнего Севера.

Предлагаемые вниманию читателя материалы дают основание считать, что братья Никифор и Ерофей Хабаровы были потомственными, достаточно опытными и состоятельными торговыми и промышленными людьми Пустозерского уезда. Их пребывание под Солью Вычегодской в 1626 году, по всей вероятности, было связано с торговыми делами и ни в коей мере не определяет ни место их рождения, ни принадлежность к сословию пашенного крестьянства. В Мангазею братья пришли «чрезкаменным» путем, еще на Печоре наwerbовав покрученников из числа хорошо знакомых и опытных промышленников.

Если изложенные в настоящей статье предположения соответствуют действительности, а считать так есть основания, то это в значительной мере меняет представление о раннем периоде жизни Ерофея Хабарова и во многом делает понятными все его последующие действия.

Родившийся и выросший в условиях Заполярья в удалении от правительственных властей, привыкший к полной свободе и воспитанный в духе активного предпринимательства, он критически, если не сказать враждебно, относился к любым запретам и ограничениям свободы, в том числе свободы предпринимательства, как и вообще чьей-либо власти над собой. Вместе с тем он с детства на основе опыта старших своих родственников усвоил, что кроме промыслов, которые требовали немало времени и физических сил, есть более эффективные способы обогащения — спекулятивный (то есть неравноценный) обмен товарами, торговля дефицитными продуктами первой необходимости, заповедными товарами и элементарный грабёж аборигенов.

Недолгое пребывание в Мангазее открыли для него новые возможности, возможности человека, облеченного государевой властью, научили использованию в личных целях казенных средств, многообразию форм, приемов и методов уклонения от налогов. Разумеется, ни о каких интересах казны, тем более интересах государственных в более широком понимании этого термина, он не помышлял да и не мог помышлять. Ни Хабаров, ни его деды-прадеды никогда в своей жизни не

получали какой-либо государственной поддержки, поэтому, как и большинство других промышленников и торговцев, на налоги и сбор ясака он смотрел, как на тот же грабеж, но под государевым прикрытием с целью обеспечения безбедного содержания властей.

Ерофею в это время было, считают исследователи, около двадцати лет. Судя по всему, он был человеком физически крепким, энергичным и весьма предприимчивым, с явно выраженной склонностью к поиску новых видов и форм деятельности, способных принести прибыль. Эта особенность его характера с годами закрепила за ним славу «старого опытовщика». Обладая практическим складом ума и смелым, рисковым, если не сказать наглым, характером, он действительно был удачлив в своих начинаниях, что привлекало к нему людей, тоже жаждавших наживы, но не имевших таких способностей. При этом его фамилия, которой Ерофей без сомнения гордился, создавала вокруг него ореол удачливого добытчика, пользующегося чуть ли не божьим покровительством в делах, связанных с прибытком, барышом, поживой.



Григорий ЛЁВКИН

За кулисами воссоздания памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому

Иногда приходится слышать, что благодаря труду почетного гражданина города Хабаровска Антонины Константиновны Дмитриевой в 1992 году был восстановлен замечательный памятник графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, а на мое замечание, что все было не совсем так, рекомендуют обратиться к личному фонду Дмитриевой в Государственном архиве Хабаровского края. Тогда, дескать, я буду знать все достоверно. Я обычно замолкаю, хотя в то время, когда восстанавливался памятник, был заместителем А. К. Дмитриевой, председателя общественного Организационного комитета по его воссозданию.

Однажды директор Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Николай Иванович Рубан решил заказать в Русском музее в Санкт-Петербурге модель памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому, чтобы она стояла в одном из выставочных залов, в экспозиции, отражающей историю российского Дальнего Востока до 1917 года. Но я сообщил ему, что такая гипсовая модель уже имеется в фондах музея. Сотрудники музея заулыбались и сказали, что такого быть не может. Тогда я рассказал, что модель эту в музей сдал лично, что она довольно долго стояла в центральном Выставочном зале еще до того, как музей возглавил Н. И. Рубан. Рассказал также о том, как воссоздавалась скульптура для памятника.

Николай Иванович немедленно отреагировал в том смысле, что необходимо под-

робно описать все эти события, поскольку это и есть история. Но мне не хотелось расстраивать тех, кто вносил свои деньги в осуществление идеи увидеть на Амурском утесе памятник, долгие годы бывший символом возврата России Приамурья, утраченного по Нерчинскому договору.

Но вот недавно в одной из хабаровских газет я прочитал довольно хорошую статью Тамары Семеновны Бессолицыной о деятельности Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), в которой тоже обнаружил две существенных неточности: во-первых, то, что основная заслуга в воссоздании памятника принадлежит председателю президиума Хабаровского отделения ВООПИК профессору Николаю Петровичу Крадину и председателю Организационного комитета по воссозданию памятника Антонине Константиновне Дмитриевой, во-вторых, что я, заместитель Дмитриевой, «активно подключился к воссозданию памятника» на последнем этапе.

Поэтому я и решил написать эту статью, пока живы те, кто может подтвердить, что в ней все — правда.

Во-первых, Н. П. Крадин, многие годы являвшийся бессменным председателем президиума Совета Хабаровского отделения ВООПИК, в то время не принимал непосредственного участия в этом деле (если не считать выступление при открытии

восстановленного памятника), поскольку не был членом Организационного комитета. Скорее всего, заслуживает похвалы и благодарности ответственный секретарь Хабаровского краевого отделения ВООПиК Лилия Степановна Григорова, так как все организационные вопросы на этапе воссоздания скульптуры решались при ее непосредственном участии, и она подписывала все документы.

А что касается меня, то на последнем этапе воссоздания памятника я практически самоустранился. Полагаю, что из нижеследующего читатель поймет, почему я так поступил.

При этом мне вспоминается старая военная присказка: «В армии всегда после серьезных дел проводят мероприятия по отысканию виновных, наказанию невиновных и награждению непричастных».

В воспоминаниях А. К. Дмитриевой добрая половина текста посвящена тому, как и кто писал о Муравьеве-Амурском до восстановления памятника, затем — кто сколько внес денег (очень нужная информация), как они потрачены (но эта информация в целом неверна). Объясняется это просто — функция А. К. Дмитриевой в основном заключалась в представительстве, публикации небольших заметок и выступлениях на телевидении, поскольку опыта какой-либо серьезной организационной работы она не имела. Практически работать пришлось другим, в том числе и не являвшимся членами Оргкомитета. Но была у Дмитриевой и «главная заслуга» — именно по ее рекомендации был заключен договор с кооперативом «Ротонда», принесший нам немало хлопот и неприятностей.

После того как краевые органы советской власти разрешили воссоздать памятник графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, в июле 1988 года при Хабаровском краевом отделении ВООПиК был образован общественный Организационный комитет. Председателем избрали А. К. Дмитриеву, так как она больше всех ратовала за воссоздание памятника, ее заместителем — Григория Григорьевича Левкина, так как у меня уже был опыт подобных работ: с членами краевого отделения я установил стелы около петроглифов Сикачи-Аляна и на Комсомольской трассе у поворота на Малышево (при реконструкции дорожки стелу перенесли на другую сторону).

Организационную работу следовало с чего-то начинать. Я попросил члена Орг-

комитета журналиста Юрия Васильевича Ефименко написать обращение к населению с призывом вносить деньги в фонд воссоздания памятника. Его текст мне не понравился. Обратился с этой же просьбой к Виктору Сергеевичу Шевченко, прекрасному знатоку истории Дальнего Востока. Его текст мне также не понравился. Тогда я сам написал «Обращение ко всем трудящимся, ветеранам войны и труда, молодежи, студентам, учащимся и воинам Дальнего Востока». Показал написанное Ю. В. Ефименко и В. С. Шевченко, они одобрили его содержание.

Под Обращением подписались: пенсионерка А. К. Дмитриева — председатель Оргкомитета; рабочий А. М. Жуков — прекрасный хабаровский краевед; Ю. А. Косыгин — академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии; Н. П. Крадин — кандидат архитектуры; Г. Г. Левкин — полковник запаса; Н. Д. Наволочкин — писатель; В. В. Онихимовский — доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии; Г. Д. Павлишин — народный художник РСФСР; М. И. Светачев — доктор исторических наук; В. С. Шевченко — заместитель главного редактора журнала «Дальний Восток» и А. С. Шейнгауз — доктор сельскохозяйственных наук. Называю всех подписантов специально, так как список отражает различные социальные слои населения, заинтересованные в воссоздании памятника.

С каждым из подписавшихся я беседовал лично. Особенно запомнился разговор с академиком Ю. А. Косыгиным. В институте, которым он руководил, секретарь предупредила, что мне может быть уделено не более двух минут, так как академик очень занят. Наш разговор длился более двадцати минут. Я рассказал академику об особенностях присоединения к России северо-востока Азии в XVII веке, создании системы управления, а также об утрате территории Приамурья, о роли Н. Н. Муравьева-Амурского в деле ее возврата и присоединения Приморья и Сахалина к России. Незадолго перед этим для общества «Знание» мною был написан «Бюллетень. Ответы на вопросы: 1. Из истории освоения русскими Дальнего Востока. 2. Роль и место Н. Н. Муравьева-Амурского в истории присоединения к России и освоения Приамурья, Приморья и Сахалина» (тридцать две машинописных страницы).

Затем вдвоем с Марией Федоровной Буриловой мы выбрали иллюстративный материал в виде фотографий различных объектов, в том числе фотографию памятника, открытого тридцатого мая 1891 года в присутствии цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Наше Обращение было подготовлено в виде плаката размером 85 x 63 сантиметра и издано бесплатно 488-й военно-картографической фабрикой (в воспоминаниях Дмитриевой нет ни слова о 488-й ВКФ, хотя именно ее рабочие, служащие и офицеры во многом помогли нам при решении разных задач).

В материалах Антонины Константиновны рассказывается о судьбе создания и об утрате первого памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Текст: *«Тогда говорили, что когда его сваливали канатами на землю, то одна рука взметнулась вверх и по крутому склону утеса полетела в Амур»*.

Безусловно, это вымысел досужего человека, предназначенный для негативного отображения советского периода истории. В действительности, в соответствии с Указом правительства демонтируемые памятники, имевшие художественную ценность, надлежало сдавать в музеи. Была сдана в Хабаровский музей и скульптура Муравьева-Амурского. Что касается *«одна рука взметнулась вверх и по крутому склону полетела в Амур»*, то обе руки на скульптуре сложены на груди и отлиты совместно, и оторваться ни одна рука не могла даже при ударе о землю.

Есть и такие строки: *«Проработавшая много лет в краеведческом музее Пая Абрамовна Говзман также подтвердила, что бронзовая голова Муравьева-Амурского валялась в парке еще в пятидесятые годы, потом исчезла. Наверное, ее тоже расплавили»*.

Я же могу утверждать, что лично видел эту голову в 1973 году у задней стены Хабаровского краеведческого музея (практически бюст, так как я прекрасно помню, что были эполеты). Кто и когда вынес ее из хранилища? Куда она исчезла?

А в Хабаровск я попал так. После окончания геодезического факультета военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева в 1973 году меня направили в город Партизанск, в 41-й топогеодезический отряд. Осенью меня вызвали в штаб Краснознаменного Дальневосточного военного

округа в Хабаровск для приемки и анализа аэрофотосъемочного материала. Дело в том, что у меня был опыт работы с аэрофото-съемкой: еще во время службы в Группе советских войск в Германии мне приходилось с немецким экипажем летать на аэрофото-съемку юга Германской Демократической Республики и по границе с Польшей, а затем принимать отснятый материал.

Знакомство с Хабаровском я начал с реки Амур у парка культуры и отдыха, Амурского утеса и Хабаровского краеведческого музея. Именно тогда я и видел голову от скульптуры Муравьева-Амурского. Что касается рук, то тогда я на это не обратил внимания и вспомнить не могу.

На первом же заседании Организационного комитета я сказал, что видел голову от скульптуры, но меня постарались убедить, что такого быть не может, потому что не может быть. Тем не менее с М. Ф. Буриловой мы объехали несколько предприятий, где могли голову переплавить или же сохранить в качестве ценного сувенира. Следов не обнаружили.

В октябре 1988 года А. К. Дмитриева побывала в командировке в Ленинграде, вернулась и восторженно сообщила, что нашла кооператив «Ротонда», готовый выполнить все работы по созданию скульптуры с модели автора скульптора А. М. Опекушина, включая и установку на пьедестале. С восторгом говорила, что руководитель кооператива Валерий Яковлевич Куриленко — бывший хабаровчанин, и он с энтузиазмом берется за благородное дело для родного города. В кооперативе есть скульптор Леонид Викторович Аристов, готовый воспроизвести опекушинское произведение, хранящееся в Русском музее. Мы согласились с Дмитриевой. А так как для решения финансовых вопросов необходимо юридическое лицо, то эту роль играла ответственный секретарь Хабаровского краевого отделения ВООПиК Лилия Степановна Григорова. Она и подписала привезенный Дмитриевой договор.

Члены Оргкомитета занялись сбором денег, добровольных взносов. В мемуарах Дмитриевой указаны основные организации края, перечислившие деньги на счет 700802 в Хабаровском краевом отделении ВООПиК. Приведены два документа: Список авторов, которые перечислили свои гонорары на восстановление памятника (двадцать один писатель и журналист — две тысячи четыреста сорок семь рублей

шестьдесят восемь копеек). В этом списке известные дальневосточникам литераторы, некоторые из них вносили деньги еще и по подписным листам. И Список стран, туристы которых опустили в копилку в Хабаровском краеведческом музее деньги на восстановление памятника. Всего восемнадцать стран. Самый большой взнос — аж двадцать два доллара США, что составило в перерасчете на советские деньги того периода семнадцать рублей и сорок копеек. Англичане внесли пять фунтов стерлингов (пять рублей шестьдесят восемь копеек). Остальные взносы были менее рубля.

Абсолютное большинство людей вносило деньги по подписным листам. С подписными листами дело обстояло так. По предложению А. К. Дмитриевой студенты и молодежь должны были ходить по городу с кружками для сбора пожертвований — вроде бы так делали при создании памятника в XIX веке. После первого опыта в одном из ресторанов оказалась группа молодых людей, весело проводивших время на собранные деньги. Я возмутился и сказал, что в девятнадцатом веке сбор средств на памятник велся по подписным листам. Разработал форму подписного листа и на 488-й ВКФ по моей просьбе их бесплатно отпечатали. Подписные листы заверялись печатью.

В установленные в краеведческом музее, в фойе кинотеатра «Гигант» и в Выставочном зале в прозрачные копилки деньги опускали без подписных листов. В музее деньги из копилки изымались М. Ф. Буриловой, и в присутствии сотрудников музея составлялся акт. За все время там поступило четырнадцать тысяч триста пятьдесят четыре рубля, иностранные деньги были сданы в нумизматический фонд музея, так как незначительность внесенных сумм не позволяла произвести их обмен.

В отношении денег из кинотеатра «Гигант» и Выставочного зала читаем у Дмитриевой: *«Из копилки в к/театре «Гигант» и Выставочном зале казначеем С. П. Шатиловым извлекались, за редким исключением, — вместе с председателем комитета А. К. Дмитриевой».*

Однажды из «Гиганта» поступило сообщение, что копилка кем-то вскрыта и ограблена. А. К. Дмитриева, С. П. Шатилов и я отправились в кинотеатр. Женщины-контролеры, которые стояли у входа и наблюдали за копилкой, возмущенно сказали, что изъятие денег из копилки производится

председателем и казначеем Оргкомитета без составления акта. Деньги изымаются, и в кармане казначея их куда-то уносят. Я сказал, что жена Цезаря должна быть вне подозрений, но акты все же необходимо составлять на месте в присутствии контролеров и с их подписью. На это мои спутники обиделись, будто я сомневаюсь в их честности. После этого С. П. Шатилова я больше не видел. Впрочем, не видел его и на первом заседании Оргкомитета — он появился позднее. А на первом заседании Оргкомитета быть казначеем предложили директору Художественного музея, но она отказалась.

В мемуарах Дмитриевой назван целый ряд лиц, жертвовавших свои деньги на восстановление памятника, показано, что деньги поступали из разных мест страны. Отображены предприятия Хабаровского края, перечислявшие деньги на расчетный счет в фонд восстановления памятника. Сказано также, что значительную сумму — одна тысяча рублей — внесла Хабаровская епархия (епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил). Практически это одна восьмая стоимости бронзы, предназначавшейся для скульптуры.

Дело было так. Хотя я и атеист, но поскольку на постаменте памятника на двух бронзовых досках упомянуты священник Гавриил Вениаминов, священник Сизых и архиепископ Иннокентий, то я решил поговорить с представителями православной церкви Хабаровска о необходимости тоже внести некоторую сумму на восстановление памятника. Направился в Христорождественский храм на улице Ленинградской, встретился со священником Владимиром, объяснил ситуацию, напомнил слова Иннокентия, митрополита Московского, который активно поддерживал и помогал Муравьеву-Амурскому в его деятельности: *«Если бы, паче чаяния, когда-нибудь и забыло тебя потомство и даже те самые, которые будут наслаждаться плодами твоих подвигов, то никогда, никогда не забудет тебя наша Православная Церковь».* Священник пообещал: православная церковь примет участие в восстановлении памятника. Но через некоторое время его перевели в Иркутск, где он вскоре и умер. А события сложились так, что в конечном итоге эти деньги так и не пошли на восстановление памятника.

Несколько раз мне пришлось ездить на завод имени Горького, чтобы решить вопрос

о выпуске значков с тематикой, отражающей идею воссоздания памятника. Такой значок с изображением памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому изготовили в достаточном количестве, причем бесплатно, и передали в Оргкомитет для вручения тем, кто принимал участие в этом благородном деле.

Двадцать седьмого апреля 1990 года состоялся IX пленум Хабаровского краевого Совета ВООПиК, на котором присутствовал председатель кооператива «Ротонда» В. Я. Куриленко. Он прилетел из Ленинграда и этим же самолетом доставил гипсовую модель скульптуры Н. Н. Муравьева-Амурского, созданную Л. В. Аристовым по модели Опекушина из Русского музея. Еще в 1988 году А. К. Дмитриева договорилась с руководством этого музея о предоставлении возможности использовать работу Опекушина.

Привезенную Куриленко модель на машине 488-й ВКФ я отвез в Выставочный зал для всеобщего обозрения. Позднее, когда Дмитриева поссорилась с директрисой Выставочного зала, модель поместили при входе в здание. Я вновь воспользовался автомашиной картфабрики и перевез модель в краеведческий музей.

В протоколе пленума ВООПиК зафиксировано выступление В. Я. Куриленко: *«Работаем мы над памятником уже полтора года. За это время ознакомились с историческими материалами... связались со всеми музеями, где имелись фотографии памятника и их нам прислали... В мае 1991 года мы предполагаем памятник установить на том же месте, где он стоял»*. Эти слова вызвали у присутствующих уверенность в воссоздании памятника к намеченному сроку, к 100-летию открытия памятника.

В Хабаровск В. Я. Куриленко прилетел вместе с дочерью (разумеется, на деньги Оргкомитета), которую представил в качестве художественного консультанта, хотя консультант она была «липový» в силу ее возраста и уровня специальной подготовки. Тогда я не понял, что это первый своеобразный звонок, характеризующий сущность председателя «Ротонды».

Поскольку создание памятников историческим лицам государства по своей сути является историческим событием, то при сооружении монумента Муравьеву-Амурскому в XIX веке генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин ходатайствовал об этом и получил личное дозволение императора Александра III на сбор пожертвова-

ний и установку памятника. В нашем случае согласия краевых властей, в принципе, было недостаточно, и по этой причине мне пришлось ехать в Москву в министерство культуры, чтобы получить необходимое разрешение центральных властей.

В конце июля 1990 года я прилетел в Москву, чтобы встретиться с начальником главного управления по делам изобразительного искусства и музеев Иваном Борисовичем Порто. Но оказалось достаточно встречи с заместителем начальника по монументальной пропаганде и выставочной работе Верой Александровной Лебедевой и ведущим инспектором Людмилой Максимовной Колесниковой. Они в один голос заверили, что препятствий со стороны министерства культуры нет, но необходимо согласовать вопрос с объединением «Росмонументискусство», чтобы соблюсти требования к художественной стороне скульптуры.

Директор «Росмонументскульптуры» Валерий Геннадиевич Висляк и главный конструктор Зиновий Семенович Куцер выразили готовность предоставить специалистов при приемке скульптуры с целью оценки соответствия ее первоисточнику, то есть модели Опекушина. Но в Ленинграде есть достаточно высокого уровня специалисты для участия в оценке создаваемой скульптуры, и нам, чтобы не тратить деньги на командировку москвичей, целесообразнее решить этот вопрос в Ленинграде.

Далее мой путь лежал в Ленинград для встречи с председателем кооператива «Ротонда», скульптором и представителями Русского музея. В Русском музее я переговорил с временно исполнявшим обязанности директора музея заведующим фондами Иваном Ивановичем Карловым и заведующей отделом русской дореволюционной скульптуры Лидией Петровной Шапошниковой. Они обещали оказать всяческое содействие в решении наших вопросов. После этого разговора стало возможным не пользоваться помощью москвичей и не тратить деньги на их командировку.

А чтобы не тратить общественные деньги на гостиницу, я отправился в Ленинградское военно-топографическое училище, которое окончил в 1965 году. Там служили на разных командных должностях бывшие мои подчиненные, с которыми сохранились прекрасные отношения. Заместитель начальника училища полковник Вячеслав Архипович Ухлинов с радостью предоставил

мне отдельную комнату. Мы вспомнили, как работали на демаркации государственной границы СССР с Монгольской Народной Республикой, спали у костров на берегах Онона, как разъяренный бык с русской стороны пытался рогами выкопать только что поставленный пограничный столб — он оказался на пути, по которому прежде стадо переходило на монгольскую сторону (фотография быка, бодающего пограничный столб сохранилась в моем архиве). Разумеется, мне была обещана любая помощь, если она понадобится при решении различных вопросов, связанных с восстановлением памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому. В эту поездку в Ленинград помощь не потребовалась, к ней я был вынужден прибегнуть в следующий раз, в 1992 году.

Поскольку главной задачей поездки в Ленинград была встреча с председателем кооператива «Ротонда» и скульптором, то мой путь лежал на набережную Круштейна, дом 33. Никакого кооператива по этому адресу я не нашел, лишь в углу парка около ограды обнаружил небольшое круглое строение — ротонду. По телефону связался с В. Я. Куриленко, он сказал, что именно в ней находится офис кооператива, имеющего название «Ротонда», и назначил мне там встречу на следующий день. При встрече он уверял меня, что все нормально, скульптор занимается лепкой из глины скульптуры в полный рост, чтобы потом по ней произвести отливку из бронзы. Сказал, что по нашей телефонной просьбе он подобрал специалиста в музее для определения, какие ордена были изображены на скульптуре.

Мастерская скульптора оказалась в хозяйственном блоке, часть которого занимала жилищная контора. Леонид Викторович встретил меня приветливо, показал свои работы, которые мне понравились, и предложил проехать туда, где производят лепку скульптуры из глины. Помещение это оказалось довольно просторной кочегаркой с высокими потолками. Увеличением с модели занимались Борис Михайлович Чадаев и Алексей Алексеевич Павлюченко. Лепка шла к завершению. Аристов сделал несколько замечаний и предложений по ходу работы, и мы возвратились в его мастерскую. Здесь он сообщил, что решил выйти из кооператива «Ротонда» и хочет, чтобы мы заключили договор о лепке скульптуры непосредственно с ним, заплатив ему двадцать пять тысяч рублей. Видя, с какой серьезно-

стью он относится к работе, и учитывая его творческие возможности, я, разумеется, согласился, сказав, что завтра встречаюсь с Куриленко — его необходимо предупредить.

На следующий день в ротонде я встретился с историком, который показал мне список российских орденов и их описание, попросив за проделанную работу пятьсот рублей. Но на мой вопрос, какие ордена были и в каком порядке располагались на груди скульптуры, он ответить не смог. Я сказал Куриленко, что такой список я способен по справочнику составить сам, и за работу историка платить не буду.

Далее я сказал Виталию Яковлевичу, что со скульптором Оргкомитет составляет отдельный договор по скульптуре. Он согласился, впрочем, что он мог сделать? Поскольку у кооператива не было своих фондов для производства отливки монумента из бронзы, то, естественно, я задал Куриленко вопрос, как он намерен ее отливать. Он стал заверять меня, что имеет достаточно хорошие связи с различными производственными структурами, и скульптуру в бронзе изготовят своевременно.

Но эти заверения меня не устраивали, поскольку посредник в данном случае, как и со скульптором, фактически не нужен. Следующие несколько дней я посвятил посещениям Экспериментального скульптурно-производственного комбината на улице Мориса Тореза и завода «Монументскульптура» на Расстанном проезде вблизи от Волковского кладбища. На обоих предприятиях на мою просьбу произвести отливку скульптуры ответили, что способны выполнить работу только через год, то есть в 1992 году. Такой расклад меня не устраивал, но что-либо в тот момент сделать было невозможно, тем более Куриленко заверял, что все сделает своевременно. Бог с ним, с этим посредником, кооперативом «Ротонда»!

В Хабаровске мы оформили привезенный мною договор с Л. В. Аристовым на выплату ему двадцати пяти тысяч рублей за произведенную работу (фактически выплачено двадцать пять тысяч восемьсот шесть рублей).

В октябре 1990 года скульптура Муравьева-Амурского в глине была готова. Художественный совет Октябрьского района города Ленинграда с участием представителей Русского музея, Эрмитажа, музея Октябрьской революции принял скульптуру, дав ей высокую оценку. На заседании Худсо-

вета присутствовал хабаровский скульптор Владимир Евтушенко.

В мемуарах Дмитриевой читаем: *«Бронза отправлена в Ленинград еще летом. Этой трудоемкой работой, приобретением и отгрузкой занимался Г. Г. Левкин. К концу 1990 г. на счете № 700802 числится 84 тыс. рублей 56 коп.»*

Что касается отправки бронзы (приобрели мы пять тонн), то у А. К. Дмитриевой явная неточность, возможно, обусловленная ее забывчивостью или же просто незнанием реальной обстановки.

Бронзу я отправлял в Ленинград в адрес «Ротонды» зимой. Достать пятитонный контейнер ни под каким предлогом не удалось. Тогда я взял на картфабрике два календаря плакатного типа с изображением Брюса и подарил их женщинам на контейнерной станции. Немедленно получил два трехтонных контейнера — пятитонного все же не смогли выделить. Для перевозки контейнеров на базу, где находилась бронза, и вновь на станцию автомашину мне выделил заместитель начальника 488-й ВКФ по материально-техническому снабжению майор Однолько.

Он же занимался вместе со мной отгрузкой бронзы болванками по тридцать килограммов. Заведующая складом предложила грузить их в контейнеры побыстрее, так как у нее много другой работы. Я заметил, что под большими медными листами на полу лежали бронзовые болванки, затем пересчитал все отливки и понял, что не хватает около двухсот килограммов. Завскладом сказала, что будем взвешивать каждую болванку и только тогда класть в контейнер. Я согласился. Майор Однолько записывал вес каждой чушки, а я клал их на весы, затем относил в контейнер. Когда остались невзвешенными около десяти болванок, завскладом стала доказывать, что мы с майором ошибаемся на две штуки и пытаемся ее обмануть, записали меньше, чем погрузили. Потребовала выгрузить бронзу из контейнеров и перевешивать вновь.

Я выгрузил из контейнеров все до последней болванки и сложил горкой около весов. Тогда завскладом расплакалась и сказала, что работать не будет. Мне пришлось идти к директору базы, он выделил другого человека, и мы вновь занялись взвешиванием и погрузкой бронзы в контейнеры. Была установлена недостача двухсот кило-

граммов. База возвратила стоимость этой бронзы на наш счет. Так трижды я «княнчил» на руках бронзу, которой надлежало стать скульптурой Н. Н. Муравьева-Амурского. Во время погрузки я сильно вспотел, простудился и порвал рукав дубленки, но это были мелочи в сравнении с выполненной работой.

Корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» А. Г. Чернявский опубликовал небольшую заметку о ходе работы Оргкомитета по воссозданию памятника и отметил, что мною вскрыто воровство двухсот килограммов бронзы в Ленинграде, в результате Оргкомитет избежал утраты общественных денег. Однако он ошибся, бронзу украли не в Ленинграде, а в Хабаровске. Но-о! Он как в воду смотрел (не обладает ли даром предвидения?), в Ленинграде бронзу у нас тоже украдут, и сделает это кооператив «Ротонда».

Итак, мы отправили бронзу в адрес кооператива «Ротонда». На счете в то время у нас было восемьдесят четыре тысячи рублей, то есть имели полную возможность начать отливку скульптуры. Но «Ротонда» почему-то не может организовать отливку. Таким образом, в 1991 году, к столетию первой установки памятника, мы так и не смогли его воссоздать.

Вот выписка из Протокола № 3 заседания президиума Совета Хабаровского краевого отделения ВООПиК от 28 мая 1991 года (на этом заседании я почему-то не присутствовал): *«Информация председателя Организационного комитета Дмитриевой А. К. — На сегодняшний день на восстановление памятника собрано 170 тыс. 135 руб. Стоимость отливки по представленным сметам 88 396 руб., с установкой 108 тыс. 376 руб. На изготовление досок нам необходимы 33 тыс. руб. по представленным сметам.*

В настоящее время завод приостановил отливку из-за отсутствия денег от плательщика.

Президиум постановил: Информацию Дмитриевой принять к сведению, но не затягивать с подписанием сметной документации и направить в кооператив, который будет осуществлять все финансовые дела с заводом. Перечислить на счет кооператива 30 тыс. руб., что требует завод, через некоторое время перечислить еще 50 тыс. Необходимые деньги 33 тыс. на доски, нужно обратиться к фирме Цоя».

Из этого постановления видно, что вопросом воссоздания занимается Хабаровское краевое отделение ВООПиК, а финансовые операции должен производить кооператив «Ротонда».

В материалах проверки финансовой деятельности Хабаровского краевого отделения ВООПиК, хранящихся в Хабаровском государственном архиве, есть документы, отражающие деятельность кооператива «Ротонда». Вот расшифровка по дебиторской задолженности на 1.07.1991 г.: «... *дебитор — Кооператив «Ротонда» (перечислен аванс на отливку М/Амурского) 55571 руб.*».

Следующая расшифровка дебиторской задолженности на 1.10.1991 г.: «*Дебет на 1.10.1991 г. — кооператив «Ротонда» — 104 858 руб.*». И в Объяснительной записке к балансу сказано: «*Дебиторская задолженность образовалась в связи с тем, что перечислен аванс в размере 100 000 кооперативу «Ротонда» для расчетов с заводом изготовителем скульптуры М/Амурского, т. к. отливку без перечисления аванса они не начали. Окончательный расчет будет по завершению работ по скульптуре.*».

Расшифровка по дебиторам и кредиторам на 1.01.1992 г.: «*Дебитор — Кооператив «Ротонда» (остаток аванса на отливку М/Амурского) — 100 000 руб.*».

Итак, деньги у кооператива для расчетов с заводом «Монументскульптура» есть, но он не производит нужных операций по авансированию отливки. Телефонные разговоры с председателем кооператива с требованием перечислять деньги на счет завода безрезультатны.

А. К. Дмитриева, поняв, что ситуация крайне сложная, заболела. С М. Ф. Буриловой мы посетили ее, чтобы справиться о здоровье и чем-либо помочь. На мое предложение возбудить против Куриленко уголовное дело Антонина Константиновна ответила категорическим нежеланием. Болезнь Дмитриевой на дому продолжалась два месяца, как раз до тех пор, пока в Хабаровск не прибыл контейнер со скульптурой Муравьева-Амурского.

Ситуация действительно сложная. Денег для оплаты работы завода «Монументскульптура» на счете у нас нет. Тогда я предложил Л. С. Григоровой попросить деньги у администрации края. Она сказала, что нужно просить шестьдесят тысяч рублей, и этого нам хватит. Я написал письмо с просьбой о ста тысячах рублей, и Л. С. Григорова

подписала ее. Втроем, ученый секретарь Приамурского географического общества В. И. Симаков, член Оргкомитета журналист Ю. В. Ефименко и я, направились к главе администрации Хабаровского края Виктору Ивановичу Ишаеву. Он нас принял без предварительной записи. Без колебания подписал распоряжение о выделении ста тысяч рублей и перечислении их на наш счет.

Я положил на стол Ишаеву ксерокопии подлинников договоров Российской и Дайцинской империй: Айгуньского 1858 года и Дополнительного Пекинского договора 1860 года, по которым были возвращены России Приамурье и присоединено Приморье. А также фрагмент фотокопии с подлинника карты, прилагавшейся к договору 1860 года, на которой показана государственная граница. Эти документы, полученные из министерства иностранных дел СССР, хранились у меня еще с 1985–1987 годов, когда я занимался вопросами организации и выполнения топогеодезических работ по проверке прохождения линии государственной границы в одностороннем порядке. При этом я сказал Ишаеву, что не привык что-то просить просто так, и эти документы, возможно, пригодятся ему, так как Китайская Народная Республика нагнетает обстановку, хотя и не является наследницей маньчжурской империи, стремясь оторгнуть группу островов, в том числе Большой Уссурийский и Тарабаров острова, принадлежащие на основании договоров России.

Выделенные Ишаевым деньги помогли нам заплатить заводу, минуя «Ротонду».

К концу отливки скульптуры я договорился с институтом «Гражданпроект» о посылке инженеров в Ленинград для согласования вопроса крепления скульптуры на постаменте, поскольку опасались, что при сильном ветре парусность скульптуры может преподнести сюрприз. Пришли к выводу, что крепление следует осуществить так, как было прежде.

Скульптура отлита, необходимо принять ее и переправить в Хабаровск. С этой целью в Санкт-Петербург командировали сотрудницу Хабаровского краевого отделения ВООПиК Т. С. Бессолицыну. Но все ее усилия оказались тщетными: завод отказывался брать на себя эту работу. Тамара Семеновна вернулась ни с чем.

Пришлось транспортировкой памятника заняться мне. Через моего земляка, бывше-

го порученцем командующего войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа, минуя волокиту канцелярии, я передал командующему письмо с просьбой транспортным самолетом из Санкт-Петербурга в Хабаровск доставить скульптуру Муравьева-Амурского. Понимая важность мероприятия, он наложил резолюцию, в которой просил командующего воздушной армией оказать помощь. На следующий день я поехал на Большой аэродром в штаб воздушной армии. Подобного рода вопросы всегда решает начальник штаба, который понимает, что просьба командующего войсками округа равносильна приказу. В Москве как раз находился транспортный самолет, его можно было направить в Санкт-Петербург и оттуда доставить в Хабаровск наш долгожданный груз. Мне лишь необходимо достать керосин для этого полета, поскольку самолет в Москве сидит из-за отсутствия топлива.

Ситуация тупиковая. Я решил лететь в Санкт-Петербург. На здании аэропорта пока еще большие буквы «ЛЕНИНГРАД». Но город уже не тот. Разрушены трамвайные пути, вокруг Гостиного Двора барахолка времен Гражданской войны, бесконечные очереди у входа в метро, пустые магазины, полное отсутствие улыбающихся людей, молодые женщины с младенцами на руках, прикрывавшая лицо платком, просят милостыню. В гостинице, в которую мне удалось с трудом устроиться, в счет за проживание включали и завтрак, состоявший из двух ложек картофельного пюре, половины вареного яйца, стакана чая с двумя кусочками сахара и двух кусочков хлеба. Предупредили, что могу в гостинице проживать только три дня.

Связаться с Куриленко по телефону не удалось. Сначала отвечали, что необходимо позвонить вечером, затем объяснили, что он в командировке и когда вернется — неизвестно. Стало ясно, что встреча не состоится. Я направился в госбанк, куда на счет «Ротонды» мы переводили деньги для изготовления скульптуры. Сотруднице банка я рассказал, что прилетел из Хабаровска, что кооператив «Ротонда» в этом банке имеет расчетный счет, и на нем деньги, собранные народом для воссоздания памятника генерал-губернатору Восточной Сибири графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. В ответ сотрудница банка сообщила, что кооператив находится на картотеке, то есть наличных денег на его счете нет.

В таком случае нам придется возбудить против «Ротонды» уголовное дело для возврата денег. На это сотрудница банка с усмешкой сказала, что, безусловно, мы выиграем процесс, Куриленко согласится выплатить деньги, но денег все равно мы не получим, так как кооператив имеет своеобразную приставку «ООО», то есть «ограниченной ответственности». Председатель кооператива лично не несет материальной ответственности и в любой день может прекратить существование кооператива. Итак, плакала часть собранных народом денег!

На заводе «Монументскульптура» мне четко объяснили — необходимо заплатить тридцать тысяч рублей за отправку скульптуры в Хабаровск. Поскольку в Хабаровске деньги у нас были, то я пообещал перевести эту сумму на счет завода, и проблема будет решена. На это начальник планово-производственного отдела Лидия Ефимовна Бутянова разъяснила, что рабочим зарплату нужно платить своевременно, а переведенные деньги в результате волокиты поступят на завод не ранее чем через две недели. Причем за это время они из-за бешеной инфляции потеряют цену в два раза. Директор завода Г. В. Степанов и главный инженер Ю. Н. Хватов только руками развели: начальник планово-производственного отдела права.

Они рассказали мне, что шестнадцатого мая 1991 года от кооператива «Ротонда» завод получил всего три тысячи пятьсот семьдесят пять килограммов бронзы на сумму шесть тысяч шестьсот тринадцать рублей. Размер отлитой скульптуры 540x150x155 сантиметров, вес — шесть тонн семьсот пятьдесят килограммов. (В мемуарах Дмитриевой ошибочно сказано — высота скульптуры пять метров, вес — пять тонн.) Таким образом, завод потратил на отливку нашей скульптуры три тонны сто семьдесят пять килограммов своей бронзы. И мы ее уже фактически оплатили по цене две тысячи четыреста семь рублей за тонну при оплате работы за отливку и обработку скульптуры.

Невольно возник вопрос: куда исчезли тысяча двести двадцать пять килограммов бронзы, которую мы выслали в «Ротонду»? Ответ оказался весьма прост: кооператив из этой бронзы отливал различную церковную утварь и реализовывал ее. Таким образом, получилось, что та тысяча рублей, что выделила наша епархия, а это шестая часть стоимости бронзы, так в памятник и не влилась.

В конце разговора меня предупредили, если оплата отправки не будет произведена в срочном порядке, то скульптуру Муравьева-Амурского перельют в скульптуру Александра Невского, поскольку из Новгорода есть заказ, работа не ждет! А деньги, но без учета инфляции, нам вернут.

Из гостиницы мне пришлось переселиться в холодный, грязный спортивный зал какого-то института, где стояло около тридцати кроватей, и их сдавали для ночлега разному люду, прибывавшему в город и не находившему пристанища в гостиницах. В моей записной книжке сохранились адреса и телефоны двадцати семи гостиниц, куда я тщетно пытался устроиться.

Но нужно было думать о спасении скульптуры, а не о благоустройстве. Направился в грузовую службу управления Октябрьской железной дороги. Там встретился с Виктором Викентьевичем Русаком и передал ему гарантийное письмо от начальника управления Дальневосточной железной дороги, в котором было сказано, что по взаиморасчетам будет произведена оплата перевозки из Санкт-Петербурга в Хабаровск контейнера со скульптурой. Виктор Викентьевич к моей информации отнесся благосклонно, но сказал, что в настоящий момент сам ничего сделать не может, мне необходимо встретиться с заместителем начальника Витебской товарной станции Зиновием Борисовичем Бендетом.

В мемуарах Дмитриевой читаем: *«Отправку скульптуры из Ленинграда в Хабаровск безвозмездно осуществило Управление железной дороги — Анатолий Петрович Иванов, начальник перевозок Виктор Николаевич Хорошаев. Все расходы по установке скульптуры на пьедестал взял на себя Хабаровский горисполком...»* С начальником Дальневосточной железной дороги Анатолием Петровичем я играл в теннис, и его гарантия оплаты транспортировки контейнера со скульптурой имела большое значение. Что касается В. Н. Хорошаева, то я с ним не был знаком, и какую роль в доставке играл он, не знаю, возможно, он обеспечивал скорость продвижения контейнера по дороге, так как тот находился в пути всего две недели.

Но именно Зиновий Борисович Бендет решил проблему с контейнером и его отправкой. Он посоветовал мне обратиться непосредственно к рабочим, которые на станции занимаются погрузкой, они что-

нибудь придумают, а он выделит и отправит контейнер. На заводе «Монументскульптура» говорили о необходимости изготовления огромного ящика для скульптуры. Но в то время достать для этого брус и доски было невозможно. Рабочие предложили сделать своеобразные сани из старых бревен, на них закрепить скульптуру, и затем поместить ее в морской контейнер. За работу они запросили три тысячи рублей.

Но у меня деньги были только на обратный билет в Хабаровск. Я поклялся, что деньги вышлю, как только прилечу в Хабаровск. Они поверили мне на слово. Бревна нашли, сделали на заводе сани, привезли скульптуру на железнодорожную станцию (машину выделил завод). Сначала я думал, что следует просверлить в контейнере в нижней части задней стенки отверстие и лебедкой втащить скульптуру в контейнер. Из Ленинградского военно-топографического училища по моей просьбе прислали автомашину с лебедкой и офицера с группой курсантов. Но этот способ оказался неприемлемым. Тогда рабочие взяли два финских самоходных погрузчика, один приподнял контейнер, а второй — сани со скульптурой. Медленно сближаясь, они смогли вложить скульптуру в контейнер. Далее уже просто. Растяжками закрепили ее внутри контейнера, а для безопасности, чтобы при спуске с горки не произошло движения саней и скульптуры, установили со стороны головы, с боков и ног большие старые автомобильные шины.

Поблагодарив Зиновия Борисовича, я улетел домой. За время пребывания в Санкт-Петербурге я простудился. Сразу же в Обществе охраны памятников истории и культуры взяли три тысячи рублей и отправил их на имя одного из рабочих, после чего занялся поправлением собственного здоровья.

Итак, контейнер прибыл на станцию в Хабаровске. Я поехал туда. На контейнерной станции уже были Лилия Степановна Григорова, сотрудница Общества Людмила Александровна Ишаева и из горисполкома Светлана Ивановна Шевченко с автомашиной с полуприцепом, чтобы погрузить контейнер и отвезти его в Художественные мастерские. С полуприцепа он мог свалиться в любой момент, и я нашел контейнеровоз, шофер которого запросил тысячу рублей за перевозку. Лилия Степановна согласилась, я поехал в Общество, где главбух выдала мне деньги. За время моего отсутствия

контейнер благополучно доставили в Художественные мастерские.

Вскрыли контейнер, скульптура была в полной сохранности. В последующем одна милая тележурналистка довела до сведения хабаровчан, что скульптура якобы была разломана на три части. В действительности, когда вытаскивали скульптуру перед установкой на постамент, сломали палаш, лежавший отдельно в контейнере. Но начальник цеха на заводе при прощании передал мне банку с раствором для патинирования скульптуры, если где-то появятся царапины, и несколько бронзовых электродов, если потребуется что-либо приварить. Так что была предусмотрена и неосторожность тех, кто будет заниматься установкой скульптуры.

Пятнадцатого апреля 1992 года у заместителя председателя городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Виктора Илларионовича Толмачева состоялось совещание по вопросу установки скульптуры Н. Н. Муравьева-Амурского на пьедестал. Присутствовало пятнадцать человек: представители культуры, проектных организаций, строителей. От Организационного комитета присутствовал я, от Общества охраны памятников истории и культуры — Л. С. Григорова. Присутствовали представители строительной проектно-коммерческой фирмы «Медиум» (генеральный директор И Ху Гвон). Как оказалось, эту фирму выбрали для установки скульптуры на пьедестал. (В заметке краеведа И. И. Кандаурова, опубликованной в газете «Дальневосточная магистраль», фирма названа «Мидум», — загадка для будущих краеведов, обращающихся к газетным публикациям при изучении истории города.)

Зампред горисполкома сказал, что из бюджета города выделяется один миллион рублей для установки скульптуры, и эту работу берет на себя фирма «Медиум». Я возразил: установку можно произвести дешевле, всего тысяч за двести. Но мне дали понять, что я не понимаю сложности вопроса. Разумеется, я понимал, коли приглашены представители фирмы, то вопрос, сколько должна заработать эта фирма, уже решен. Нас же пригласили из простой формальности, предназначенной для общественного мнения. Вечером по телевизору в хабаровских новостях тележурналистка сообщила, что нашлась спонсорская фирма, готовая выделить миллион на установку скульпту-

ры. (Если бы это было так, то этот миллион вошел бы в количество денег, перечисленных организациями на восстановление памятника.) Мне стало все ясно, и мысленно я сказал сам себе: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!» И я самоустранился от дальнейшей работы по воссозданию памятника, полагая, что уж поставить на постамент скульптуру администрация города сможет и без моего участия.

В мемуарах Дмитриевой читаем: «*Событие на Амурском утесе 15 мая 1990 года (здесь опечатка, должно быть 1992 г., — Г. Л.) было торжественным и волнующим. Инженер Василий Николаевич Каверзин приехал в белой рубашке, при галстук... Скульптуру приварили, забетонировали, и все облегченно вздохнули... Из музея принесли фотографию прежнего, опекушинского, памятника. Внимательно рассмотрев ее, все убедились, что не хватает на вершине постамента еще одной плиты.*

Короче, пришлось снимать скульптуру и плиту устанавливать под ноги, благо, она сохранилась от старого памятника и находилась рядом. Этого не произошло бы, если бы пригласили инженеров «Гражданпроекта», которые согласовывали заранее с заводом «Монументскульптура» имени В. Мухиной способ установки скульптуры на постамент. Но председатель Оргкомитета даже не знала об этом, а Каверзин перед установкой не удосужился посмотреть фотографию памятника или его модель в краеведческом музее.

В художественной форме в мемуарах Дмитриевой описано открытие памятника. С речами выступили председатель горисполкома А. Н. Соколов, сказавший, что памятники ставить нужно, но снимать ранее поставленные не следует (это он имел в виду памятник В. И. Ленину на центральной площади Хабаровска). Разумеется, сказала несколько слов и председатель Оргкомитета А. К. Дмитриева, я видел ее впервые после нашего посещения во время болезни. Выступил и председатель президиума Совета Хабаровского отделения ВООПИК Н. П. Крадин.

Неприятное чувство вызвало у меня короткое, эффектное выступление ряженого казачьего атамана, державшего в руках булаву и ребенка. «Россия мать! Батька, мы вернулись! Слава России!» Во времена Маравьева-Амурского столь фривольного обращения «Батька!» не было. Во время сбора средств на восстановление памятни-

ка я с подписным листом ходил в казачий офис (дурацкое слово по отношению к казакам), находившийся в парке культуры и отдыха. Удалось собрать едва полтора десятка рублей (вообще-то, каждый рубль, внесенный в виде пожертвования, сам по себе ценен), так как казаки Муравьева называли «красным», поскольку кто-то из них читал высказывания современников генерал-губернатора.

Театральность открытия памятника была соблюдена в полной мере, с парадным прохождением воинов Хабаровского гарнизона и жалкой кучки казаков со знаменами, даже пригласили из чужедальних мест казачий хор. Но представителей туземных народов в национальных одеждах я не увидел. Зачем они?!

К подножию памятника возложили живые цветы. Офицеры с 488-й ВКФ задали потом мне вопрос: почему меня не было на открытии? Нет, я был и возложил цветы к подножию памятника вместе с другими участниками торжества.

Присутствующим раздавали брошюру, написанную М. Ф. Буриловой о муравьевском веке на Амуре. В ней она выразила благодарность мне и А. К. Дмитриевой за помощь. Для брошюры я достал необходимую бумагу, более правильно — выбил, организовал ее цветную печать. Писатель П. В. Халов на 488-й ВКФ взял в долг пять тонн бумаги для печатания детских книжек и очень долго ее не возвращал. Начальник фабрики никак не мог вернуть бумагу. Тогда я пообещал Халову подать на него в суд, но это было не в его интересах, учитывая его взаимодействие с органами администрации и культуры. Что касается Дмитриевой, то в выпуске брошюры она не принимала никакого участия. Но Мария Федоровна, как большинство русских умных и красивых женщин, не хотела выпячивать свое имя и решила выразить благодарность также и Антонине Константиновне. Позднее она написала более полную содержательную брошюру, в которой А. К. Дмитриева фигурирует уже как соавтор, хотя дала всего одну-единственную фотографию и потребовала поместить в конце ее собственную фотографию (должен же народ знать, кто был председателем Оргкомитета по воссозданию памятника).

В мемуарах Дмитриевой читаем: «Поступление денежных средств и их расходование контролировалось лично пред-

седателем общественного комитета». К мемуарам приложен «Отчет о поступлении и расходовании народных денег на воссоздание памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому (1988–1996 гг.)».

О том, как она «контролировала лично», читатель понял уже из описания воровства «Ротондой» бронзы и тратой общественных денег на свои нужды (нахождение кооператива на картотеке). Не буду рассматривать весь Отчет. Вот как написано в Отчете: «Израсходовано: ...2. Кооперативу «Ротонда» за изготовление сметы, сбор исторических материалов, изготовление модели памятника и доставку в Хабаровск — 9670 руб... 8. Доставка скульптуры от вокзала до места назначения — 1000 руб.».

О том, что нам пришлось заплатить три тысячи рублей рабочим в Санкт-Петербурге, она, судя по всему, и не знала. А вот как сказано в документах Хабаровского краевого отделения Общества охраны памятников истории и культуры, хранящихся в госархиве: «Расшифровка по дебиторам и кредиторам на 1.07.1992 г.... Дебитор — Кооператив «Ротонда» — 62779 руб. 00 коп.».

И это уже после того, как был восстановлен памятник! Фактически уворованные деньги.

Через некоторое время в Хабаровском отделении ВООПиК мне сказали, что А. К. Дмитриевой хотя бы присвоить звание почетного гражданина города Хабаровска. Минуту помолчав, я ответил: «Пусть присваивают». На это Т. С. Бессолицына сказала: «Это по-мужски». Об А. К. Дмитриевой могу сказать, что она очень хотела войти в историю города и этого добилась. О себе она говорила: «Я кошка, которая ходит сама по себе!» Премии, которую она получила от администрации за воссоздание памятника, по слухам, перечислила какому-то детскому дому.

В приватном разговоре сотрудник газеты «Тихоокеанская звезда» А. Г. Чернявский задал мне вопрос: какая заработная плата была у меня во время работы по воссозданию памятника? Никакой! Все члены Оргкомитета работали бесплатно.

Воссоздание памятника графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому вызвало интерес к созданию памятника Геннадию Ивановичу Невельскому в Хабаровске, также сыгравшему большую роль в возврате России Приамурья и присоединения Приморья и

Сахалина, и почти сразу же начали рассматривать проекты возможного памятника. Я сказал, что не возражаю против памятника Г. И. Невельскому, но участвовать в роли председателя общественного Организационного комитета или его заместителя не хочу. Прошло двадцать лет, памятник так и не появился.

Ныне вновь возникло общественное желание создать такой памятник. Что можно сказать об этом? Для решения любой задачи должны быть определены: **Время, Место, Силы и Средства!** Что касается **Места**, то более десяти географических объектов уже названо именем Невельского, памятники установлены во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и на Петровской косе. В Хабаровске место необходимо определить, учитывая ландшафт и архитектуру города. Что касается **Сил**, то целесообразно

создать Организационный комитет из четырех-пяти человек при Хабаровском краевом отделении ВООПиК для оформления необходимой документации, председателем Оргкомитета следует **назначить** представителя краевой власти, имеющего опыт разнообразной организационной работы, а не избирать пенсионера-энтузиаста, подобрать местного скульптора. Что касается **Средств**, то они могут иметь различные источники, но большую составляющую целесообразно выделить из краевого бюджета, поскольку в любом случае бюджетные деньги являются **народными**. При составлении договоров с изготовителями скульптуры включать пункты, определяющие ответственность за невыполнение условий договора. Что касается **Времени**, то оно не имеет размеров, и сроки создания памятника будут зависеть от многих факторов.



Михаил АРОШЕНКО

Прогресс — это сновидение. У каждого времени свои сны

*Я сон пою, бесценный дар Морфея...
А. Пушкин. Сон (отрывок), 1816 г.*

Скажи мне, читатель, что тебе снится, и я скажу тебе — кто ты. Ибо сны — это наша жизнь во всем ее многообразии. Сны помогают сохранять бессмертие души!

Стык тысячелетий стал переломным в истории мира. Распад СССР, Интернет, компьютеры, мобильная связь... Ныне виртуальная составляющая жизни (сны, мечты, воспоминания, проекты) — это восемьдесят процентов, а реальная — поступки, действия — двадцать. Время спряталось в сны. Они, словно дворники, подметают улицы нашей души, чтобы утром она была чище. Сны привычны как дыхание, поэтому мы их не ценим, хотя в структуре богатств человечества они занимают особое место. В истории чередуются дневные и ночные эпохи. Ночь — это время снов.

«Прогресс — это сновидение XIX века, подобно тому, как воскресение из мертвых было сновидением X века; у каждого времени свои сны», — утверждал немецкий философ Артур Шопенгауэр. «Неудивительно, что в сновидениях перед людьми происходит все то, чем они занимаются в жизни, о чем они думают, заботятся и что видят и делают и замышляют, пока бодрствуют» (Цицерон, «О гадании», I, 22). Менделеев во сне «увидел» свою знаменитую таблицу элементов. А что мешает посмотреть на жизнь Пушкина через его сны? Ведь многое станет понятным! Связь снов и вымыслов очевидна. Отсюда пушкинское: «Над вымыслом слезами обольюсь!» Многие стихи поэт «слышал» во сне, а потом лихорадочно записывал.

В Интернете на клик «Сны философов, поэтов, художников» «Бог из машины» выдает сотни тысяч страниц. Сны — концентрация творческих способностей личности.

Философ Платон (III в. до Р. Х.) полагал, что лучшие люди — это те, которые во сне видят то, что другие в бодрствовании делают. Маги считают сновидение искусством закалки энергетического тела человека. Они убеждены, что во сне некая летучая часть покидает тело, чтобы путешествовать в ноосфере, аросфере, преодолевать времена и пространства. Однажды мне снилась Англия. Там объявили международный конкурс снов. На специальных экранах-сновизорах демонстрировали лучшие сны мира.

Нельзя познать себя, не познав свои сны, ибо они — указатели божьи. Подражая Марине Цветаевой, я многие «полеты во сне и наяву» записываю в дневник, который называется ПМ — «Парадоксальная муза». Десятки тетрадей ПМ, исписанных за пятьдесят лет, хранят сны-испытания, сны-стройки, сны-дороги, эротические сны... ПМ — это мои космодромы для запуска ракет в «параллельный космос». Иногда вижу «оттуда» невидимые связи между людьми и явлениями. Приведу пример.

Знаменитый художник мучился над исторической картиной. Искал типажи и образы. Я решил ему помочь. С художником разбили камень и... на срезе архейского гранита, на экране сновизора увидел древнюю эпоху. Люди в шкурах шли вверх от моря по склону горы и несли камни, ограненные природой. Каждый нес свой камень на строительство храма. «Как ты это видишь?» — спросил художник. «Я выхожу в астрал, а потом переключаю каналы сновизора...»

Когда-то Михаил Горбачев признался, что его супруге Раисе Максимовне каждую ночь снились такие яркие сны, что многие из них могли бы стать повестью или романом.

Снился «наш дорогой Леонид Ильич Брежнев». Он искал искру в машине (государственной!), которая заглохла. Лично отрезал автогенном часть железной, уже изрядно поржавевшей крыши машины-государства, а мне, как журналисту, доверительно сказал: вот ты удивляешься, почему я держал в руках автоген? А чтоб меня помнили.

Снилась новая форма работы чиновников администрации: я и просители сидим в кабинете губернатора, а губернатор ждет в коридоре, пока мы его вызовем... к себе! Дверь открывается, на пороге губернатор Ш. с бокалом пива: можно? — Да...

СОН — ЭТО СТРОИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И ВРАЧ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Сон — это строитель, учитель и врач человеческой души. Во сне мы «ремонтим крышу» и восстанавливаем Время. Как говорят врачи: **«Сон — это психическая операция на душе под общим наркозом»**. Сны — это экскурсии в Прошлое, которое мы превращаем в Настоящее и в Будущее. Эсхилловский герой («Скованный Прометей») гордился тем, что он первым применил толкование снов. Сократ говорил: «Сновидения выражают голос совести». Поль Элюар писал: «Поэт — бодрствующий сновидец!..» Из дневника «Парадоксальная муза»:

Среди многих снов запомнилось многопартийное собрание-митинг в колхозе «Правда»: агрономы, животноводы, механизаторы и доярки, учителя и бухгалтеры были в разных партиях и поэтому выборы председателя колхоза превратились в выборы правящей партии, а сеять и доить коров было некогда... Проснулся и подумал: так это же пародия на многолетнее собрание-митинг в нашем многопартийном «государстве-колхозе» по имени «Украина».

Летал во сне. На берегу моря видел сразу два солнца(!) на небе, а потом вдруг стало темно — двойное солнечное затмение! Есть в этом сне что-то от древнегреческих трагедий. Во сне лезу вверх по лестнице, натываюсь на тупики. Здание состоит из одних лестниц — ни одного помещения! (Странный образ здания-державы).

Говорят, что сновидения — это не просто увлекательные кинофильмы. Погружаясь в них, мы попадаем в другое пространство, которое живет по своим законам и проявляется в других формах материи и времени. Во сне мы можем получить нужную и даже жизненно важную информацию, пообщаться с умершими друзьями и родственниками, получить от них предостережение... Сон — это наш внутренний психоаналитик, говорящий образами. Это та книга, которую необходимо читать между строк. Ночью душа «гуляет» на всю глубину и ширину бытия...

Из Дневника «Парадоксальная муза»:

27.01.05. Во сне два попугая по очереди заглатывают голову другу друга или лезут клювом в горло и каркают-вещают — не поймешь, кто из попугаев

говорит? Это символ битвы за кресло президента Украины между Ющенко и Януковичем.

«Сны неслыханных вымыслов». Еще царь Петр Первый приказал из жен, брошенных полководцами, создать в Думе «Комитет снов». В полусне я оценил этот социальный проект Петра за психологизм — отставные жены и генералы могли «возвращаться к власти» в снах!

24.05.07. Вещий сон: 1914 год. Мировая война. Первый бой. Атака. Я с группой русских генералов. Немцы окружили генералов... Схватка. Меня подняли на штыки. Со штыковой высоты (штыки в ребрах) я увидел грядущую картину боя, мировой войны, увидел Грядущее. И услышал слова немцев: «Открывай ворота истории!»

Во сне встретился со Сталиным, а он оказался... женщиной! Это вождь меня так разыграл. Я зашел в кабинет Сталина со знаменем в руках! Потом снилось море, тревоги, дороги, представление «Лошадь и Всадник»: лошадь жонглировала всадником! Подбрасывала его вверх, он кувыркался в воздухе и снова попадал на лошадь! Лошадь — чувства, всадник — разум!

Снилось, что я служу у императрицы — жены Сталина, моя команда бьет поклоны, а я с достоинством, но и с почтением к жене Сталина, говорю о сокровенном, о сакральной миссии России...

02.11.07. Вещий, удивительный, исторически-философский сон. Дела и думы известного человека, господина №*, после войн, революций, каторги и т. д. Пришел повешенный (ужас, именно повешенный, с петлей на шее!) солдат, принес ранец-сумку и сказал: вот все, что осталось от №* — наблюдательный был в жизни человек. Повешенный солдат-мужик открыл сумку, а там генеральские погоны — царские!.. И удивительный крест: кованый, в книжечке. Пришелец вынул из книги крест — тяжелый, несколько килограммов, с надписями-стихами: подарок генерала жене: «А еще, душа моя, на этом кресте есть золотое кольцо, обвитое медной проволокой...» В полусне я хотел вспомнить имя генерала, увы. Нарисовал крест с кольцом и книгу-футляр (длина около тридцати сантиметров) со специальным отверстием для креста. А ведь это, возможно, мой прадед. Мои корни!

30.12.07. Сон, исторический: гражданская жена Ленина сказала, что правильно его убили. Я начал говорить, что дело не в Ленине-Сталине-Троцком: тоталитаризм проигрывает демократии, ибо демократия — это свободное общение, а общение создает новое... Но и демократия опасна загниванием и пороками, так они и меняют друг друга на протяжении истории человечества. В полусне увидел мировые войны как следствие «игры времени и денег». Если американцы (европейцы) начинают жить в долг, то им нужна инфляция, чтобы обесценить долги. А инфляцию рождает война — внешняя или внутренняя (гражданская).

Стихи Константина Бальмонта помогают осмыслить значение снов.

Будем лишь помнить, что вечно к иному —
К новому, к сильному, к доброму, к злему —
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всему неземному
В нашем хотенье земном!
(К. Бальмонт. «Будем как солнце», 1902 г.)

07.10.08. Сон-благодать. Божественное откровение. Я в русской деревне, в деревянном строении отшельника, испытываю огромное духовное блаженство. Духовную силу такую, что все остальные ценности померкли...

27.02.09. Объясняю на чертежах теорию времени, показываю его волны, приливы и отливы! У времени жизни есть не только длина, но есть высота

и ширина! На графике я показывал несколько «волн времени», мне сказали: похоже на кардиограмму! Да — у каждого своя кардиограмма Времени.

03.03.09. Во сне читал свою поэму «Три тайны Гоголя», Владимир Высоцкий на гитаре начинает ее озвучивать... репетируем с Высоцким «стыки». У меня отключили микрофон... Снова Гоголь. В полусне: «Как упоительно красива у Гоголя Малороссия!»

14.03.09. Сон философский: В метель пророк мне говорит таинственные слова: «Время, которое ушло, грядет, а которое грядет, уже ушло». Я хотел узнать истину. Узнал, но забыл — проснулся, не могу вспомнить. А жаль.

24.01.12. Снились земли-карты, люди-песни: когда карты и песни собирались вместе, то земля (держава на карте) становилась поющей.

Держал в руках необычный глобус — он состоял из моих стихов и песен. Земной шар рос в моих руках на глазах, песни трещали, словно рвались, и мне приходилось скреплять материка новыми песнями, новыми словами...

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН

Во сне рисовал книги-стены Музея любви из поющих камней. Рисовал с вдохновением. Примерял свадебный костюм тысячелетий, чтобы быть на свадьбах всех народов во все века.

Во сне пользовался поющим фотоаппаратом!

Во сне пил в церкви молоко с дождем... В храме моя книга-черновик со стихами (по книге поют прихожане мои стихи-песни).

Алла Пугачева когда-то пела: «Любовь, похожая на сон...» Любовь — это добровольное сумасшествие. Влюбленный в мечтах спит с любимой, бредит, съезжает с катушек, подтверждая связь сна и сумасшествия. Анна Ахматова раскрыла философскую суть поздней любви, когда вступает в действие то, что больше самого человека: Дух, Душа. В этих словах огромная мысль, «технология Поэта». Поэты — созидатели и хранители любовного огня. Прометеи!

Снился Киев, небывалая реконструкция нашего «железного» института «УкрНИИпроектстальконструкция»: вместо вентиляционных труб на всех одиннадцати этажах ставят музыкальные трубы органа и здание, по проекту-21, наполняется неслыханной музыкой творческого труда. Вход в институт платный: пять евро с человека. Зал заполнен до отказа... Смотрю чертежи. В это время заиграла «вентиляционная», очищающая музыка... я пригласил очаровательную коллегу на вальс: мы танцевали, порхали по парапету института, не обращая внимания на строительный мусор, рождали чувства на глазах у коллег. Это был не просто танец, а символический спектакль о любви. Мы то кружились вместе, то уходили в разные стороны зала и бежали навстречу друг другу и снова кружились, кружились... Огромный эмоциональный подъем! Катарсис! Мы своим танцем сказали все, что сохранили в душе! Наполнились музыкой, солнечным светом от взглядов коллег, таинством отношений между мужчиной и женщиной... Проснулся, «продолжая полет танца», жаль, что не смог полностью передать это крылатое состояние души, эмоции захлестнули меня почти до слез... Какой сон! Какие страсти! Такие сны надо «передать» как экспонаты в Музей истории и географии, физики и математики, психологии и философии Любви.

Во сне в моей постели оказалась юная особа, еще девушка... Муза поэта! Медленно ее раздеваю, обнимаю... а у нее на лобке десятки автографов! Она смутилась: это я у подружки перекопировала! Оказывается, «муза поэта» — это коллекционер автографов на интимном месте. О, женщины!

04.01.09. Поэтесса летает на самолете и читает свои стихи сверху народу. Я удивлен новой технологией. Пошутил: надо строить аэродромы-библиотеки.

Снилось, что крылатый конь трахнул обычного коня и всадника! Всадник (литературный критик) просил меня никому об этом не рассказывать! Какой литературный сон! Его можно переводить на все языки мира!

Во сне происходит передача «тонких материй» от одного дежурного «продавца впечатлений» к другому. Каждую ночь — переучет.

Во сне видел, как еврейская семья в полном составе покидала свой дом — с ними на задних лапах шел домашний кот и играл на скрипке(!). Подумал, в еврейской семье даже кошек учат музыке! Кот: на кого вы меня покидаете? Как и с кем я буду заниматься музыкой?.. Сцена... Я успокаиваю евреев: смотрите на мир философски. Цитирую философа Григория Сковороду: «Превращайтесь из детей дня в детей вечности».

Во сне я слышу музыку дерева — это стучат друг о друга годовые кольца. Они словно круги свадебного вальса. Деревья каждый год надевает на себя обручальные кольца, как итог года?

А люди?

СОН-БЕТОНОМЕШАЛКА: ВСЕ СМЕШИВАЕТ — И КАМНИ, И ПЕСОК, И ЦЕМЕНТ

Ехал по городу на рулетке(!), она меня тащила за собой, словно приглашала обмерять город и все вокруг.

Сны — это «смеситель времен», скоростей жизни. Утром скорость жизни снова должна быть средней и равной скорости жизни дня предыдущего плюс скорость во сне... (Пишу и чувствую, вот-вот разгадаю тайны снов, их роль в жизни человека. Как смеситель — горячая и холодная вода жизни!). Сон смешивает пласты впечатлений, готовит почву для восприятия новой информации... При физических нагрузках достаточно шести часов сна, при умственных два пути: или спать двенадцать — шестнадцать часов, или сон (восемь часов) плюс вино. Сон — это бунт тишины. В каждом человеке живет своей жизнью несколько личностей, несколько эпох со своей скоростью восприятия времени. Долгие детские годы, насыщенные годы зрелости, быстрые годы старости. Как луковица, человек многослоен. Сны смешивают, «сшивают» разные слои жизни и усредняют время. Как? С помощью героев снов.

16.05.06. Сон-размышление о роли и богатстве языка: попал самолетом в Польшу и наша группа — малый островок русской речи в океане Европы... Снился завод заводов (ДЗМК): стальная этажерка ржавеет на глазах и разваливается от коррозии! Мы с коллегой смотрим чертежи в последний раз — мы уходим с завода. Все! Сделали шайлыки прямо на огне из чертежей! (Какой сюжет «прощания с железом»! Ведь на моих глазах «поржавели и рухнули» большие заводы, проектные институты, колхозы, строительные тресты, армии и корпуса, ракетные дивизии, авиационные полки, торговые базы, партии и общественные организации...)

26.10.10. Снился родной завод заводов: в каждом цехе был свой пивной буфет с «цеховой наценкой». Хочешь выпить пиво в рабочее время? Плати трехкратную наценку начальнику. У директора завода в приемной пиво продавалось с десятикратной «директорской наценкой». Я удивился такой финансовой прыти.

26.11.10. На футбольном поле одновременно идет опера «Аида» и футбол! Новое направление в искусстве? Снился футбол-спектакль. Перед выходом на поле футболисты играли сцену из пьесы Чехова: «Пора за работу! Работать,

работать!» Но выходить «работать» на поле не торопились... Сидели в креслах, пили чай, читали газеты, возле них — жены, дети в колясках...

Играю в футбол, летаю над стадионом. Снова летал, тяжело разгребая воздух рабочими рукавицами. Летал в помещении и на улице, но высоко в небо уже не мог подняться! (Хороший образ: крылья в рабочих рукавицах! То есть, чтобы летать, нужно работать!)

Играл в футбол палкой колбасы(!) и забил гол. Колбасой.

В каждом из нас есть доля Платона и Аристотеля, небесного и земного, вчерашнего и завтрашнего. Человек — это первое совместное предприятие, созданное ангелом и дьяволом! Драма в том, что тело, душа и дух живут с различной скоростью и имеют разный возраст! Телу, в итоге, примерно семьдесят пять лет, душе — пятьсот пятьдесят пять, духу — пять тысяч пятьсот пять лет! Животные тоже видят сны, но человек использует толкование сновидений в своей практической деятельности. «Я буду вещать тебе в сне», — говорит Всевышний библейскому пророку. В снах скрыты причины рождения и прогресса цивилизации! Которая в 2012 году отмечает пять тысяч пятьсот пять лет со дня Начала Начал, сотворения мира (общества) по Александрийской хронологии.

ЛУЧШАЯ КОСМЕТИКА — ЭТО СОН!

Фрейд цитирует Бурдеха, а тот поэта Новалиса: «Сновидения — оплот против монотонности и повседневности жизни, свободный отдых связанной фантазии... Без сновидений мы бы, наверное, преждевременно состарились... Сон исцеляет раны души, открытые в течение целого дня... На этом покоится отчасти целительное действие времени» (с. 74). Я выписываю эти оригинальные мысли, ибо сам к ним приходил, когда записывал свои сны-фантазии, лекарство от старости... Шопенгауэр называет безумие продолжительным сновидением, а сновидение — кратковременным безумием...» Сновидение «Опоздание на поезд» заключает в себе утешение в испытываемом во сне страхе умереть. «Отъезд» — один из наиболее употребительных и понятных символов смерти. Сновидение утешает нас: «Будь спокоен, ты не умрешь (не уйдешь)! (Фрейд, «ТС» с. 211). Сколько раз во сне я опаздывал на поезд? Много. Выходит, по Фрейду, много раз я боялся умереть. Так и было: я боялся умереть «досрочно», до 2000 года. Сновидение «Полет, парение в воздухе» — воспроизводит впечатления детства (когда нас подбрасывают), превращает приятное чувство, связанное с ним, в ощущение страха (с. 213). Я часто летал во сне и боялся зацепиться за провода. Выходит, прав Фрейд. А доктор Федери (Вена) высказал интересное предположение, что большая часть сновидений и летаний во сне имеет связь с представлением об эрекции... исчезновении силы тяжести ...сродни образ крылатых фаллосов древности (с. 214).

Врачи утверждают, что лучшая косметика — это сон...

ДУША — ЭТО КЛАДБИЩЕ СНОВ

Тело человека живет сто лет, душа — пятьсот, дух — тысячи лет. (От нуля до бесконечности.) Актеры, художники, поэты, певцы расширяют душу. Философы и священники укрепляют дух. Это открытие выведено мной эмпирическим путем — на основе тридцатилетних записей моих снов. Оно позволит по-новому понять смысл жизни и деятельности многих профессий. Чем выше скорость жизни души, тем быстрее изнашивается тело (гипотеза). Дух всегда здоров! Душа начинает болеть, когда волны души и духа в фазе резонанса... Так обрушиваются мосты, когда собственные колебания конструкций совпадают с колебаниями от марширующих солдат. Дурь —

внебрачная (брачная) дочь Души и Духа! Дурь пьет, курит, колется, чтобы «догнать» скорость жизни Души и Духа. Хотя немного, но побежать рядом... Во сне душа хочет догнать скорость жизни Духа. Во сне тело отдыхает, а Душа работает. Сон помогает будить дурь... Без русских штыков не было бы русской литературы. Деньги помогли распространению иудейской веры больше, чем штыки. Только задумавшись о смысле жизни, мы живем, не задумываясь — существуем.

Сон-театр: те, кто поддерживает Россию, получают армейскую форму, кто Польшу — жупаны... Группа зрителей-коммунистов поддержала Китай и раздаёт (и мне тоже) красивые синие телогрейки... В театре политический сбор: армейская форма, жупаны, фраки, телогрейки. Грандиозный фуришет. Я захожу в гусарском мундире с телогрейкой в руках(!) и запеваю «Гей наливайте повній чари!». Все — «армейцы и китайцы», «поляки и американцы» — подхватили. Застольный гимн Украины стал интернациональным гимном! Сон-заседание: я пою и читаю стихи, разбираем книжку сатиры против власти. Авторы книжки читают с пафосом. А на стул позора(!) усаживают по очереди тех журналистов и фотокоров, которые поддерживали старую власть. (В сонном царстве царят свои законы!) Во сне рисовал М. Горбачеву карту мира, объяснял ему свои идеи по финансовым потокам... Дороги России. У меня семь брюк(!). Все смеются: зачем такой запас на недельную поездку? В полусне анализировал механизм снов и их значение для психики.

18.01.05. Днем в трамвае осенила система недельных оценок трех дорог: нижней, средней и высокой. Решил с 2005 года ставить эти проценты-коэффициенты как итоговые за неделю. Такая «система приоритетов» покажет мне динамику движения по трем дорогам: тела, души и духа. Это и будет график трансформации главностей. Арограммы. Арометрия жизни.

Снилась свадьба: во время застолья невеста стремительно старела и превратилась в старуху... Ужас!

СНЫ — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО В УСЛОВИЯХ «КОСМИЧЕСКОЙ ЗИМЫ»

Приснилось, что клавиши рояля занесены снегом. Я их очищаю — очищаю музыку от снега!

Во сне подпрыгивал и взлетал, но полетам мешал кирпичный потолок, с каждым взлетом я головой отбивал куски кирпича на потолке, но потолок пробить не успел — проснулся!..

30.09.10. Во сне я рожал!.. Рожал с помощью медицинских технологий! После этого из больницы вынесли мертвых главного врача и его зама! Их выносили сразу в гробах, но они между собой перемигивались.

03.10.10. Во сне попал в «потусторонний мир», общался с многими умершими друзьями и коллегами. На аэродроме хотел взлететь при помощи портативного самолета, который был уложен в чемодан. Но чемодан пропал. Тогда я разогнался и полетел. За мной «полетела» собака, но я ее отогнал вниз. Увидел с высоты свой чемодан, но не стал опускаться на землю. Летал над городом. Долго. Даже, когда начался дождь. Я отмечал, что плыву-летаю во влажной среде дождя. Иногда меня тянуло вниз. Для подъема высоты я энергично жал руками по спрессованному воздуху, как будто подкачивал насосом автомобильную камеру. Слегка зацепил электропровода... Горожане удивленно смотрели вверх на меня. Я плыл по небу. Когда пролетал над храмом, священники начали со страхом молиться и креститься. Я в ответ перекрестился, чтобы показать, что я не дьявол.

Стратегия жизни — в управлении своим временем: за сутки можно прожить год (пример: 1995 год в 2002 году), а в 2010-м его можно прожить за два часа. И за день можно истратить всего час жизни. Как? В этом секрет поэтов, философов и священников. Время, как энергия и деньги, неравномерно распределено на земном шаре. Оно нелинейно в жизни каждого человека. Как короткие и длинные ночи. Как тепло и холод. Оно как пульс, как дыхание: то ускоряется, то замедляется. Время физическое, «телесное» привязано к ритму солнца и луны, к восходам и закатам, к внешнему космосу, а время «духовное» зависит от человека, от его внутреннего космоса. Только от (Энергии) Времени зависит первичность духа или материи. Выходит, что у человека два времени? Духовное и телесное? Управляя Временем, поэт может «забегать вперед» и предсказывать события.

Снилось строительство новой синагоги. Фундаментом служили огромные медные трубы-сваи, сваренные по три штуки. Для чего? Чтобы музыка в храме была слышна (через фундамент!) по всему земному шару. В самой синагоге демонтировали часть портретной галереи-иконостаса знаменитых евреев. Меня упрекнули: почему я разрешил демонтаж истории?

18.12.10. Во сне побывал в Питере: художницы по воде и камню (!) в струях удивительной подсвеченной воды выращивали зеленые листья. Я подарил свою книгу, в ответ художница подарила мне листик с выращенной датой — 1953 год! Я подумал, что из таких листиков «с годами» можно создать «Букет жизни»: 1944, 1945... Одна из женщин (искусствовед этого нового жанра) сказала: «После чтения ваших стихов я впервые в жизни испытала гордость за русский язык! За то, что я русская!»

В окопах русско-восточной войны группа психологов-поэтов(!) вливает в уши вражеских солдат слова... Буквально! При помощи специальных технологий... Лично «вписал» в повестку дня вопрос СССР: «Оплата Западом последствий грядущей мировой войны». — «Но война еще не началась?» — удивился лидер Европы. Я ответил ему: «Она уже идет, вы ее не хотите видеть!»

Снились цветущие подсолнухи в сугробах снега! Экологический образ земли: роза в сигаретном дыму...

Предстоит осмыслить роль снов как огромных сокровищ, которые будут, может быть, главным богатством в условиях «космической зимы», катаклизмов и других «измов» в грядущую «сонную эпоху». Возможно, что будет введен налог на «роскошные сны». Разгадав секреты сновидений, можно использовать эти знания для игры на биржах, ибо там часто срабатывает Коллективное Бессознательное Цивилизации: страсти, паника, ажиотаж, неадекватность, жадность... Познавая глубины снов, научившись ими управлять, лечить снами, учить и т. д., мы совершим духовную революцию на планете.



АВТОРЫ НОМЕРА

Михаил Михайлович АРОШЕНКО родился в 1944 году в Днепропетровске. С отличием окончил школу и строительный институт. Работал прорабом, руководителем группы по обследованию аварийных зданий, главным инженером проектов в одном из киевских НИИ, корреспондентом ряда газет, радио и телевидения в Днепропетровске, Киеве и Москве. Дебютировал в «Литературной газете» в 1978 году. Был директором Центра социально-экономических исследований «Днепротелепресскорпорация». В СССР свой профессиональный и общественный опыт обобщил в книгах «Вновь обретенная надежность» (1989), «Наш взрослый детский дом» (1990). С 1992 года — заведующий отделом средств массовой информации и гласности Днепропетровской областной государственной администрации. Внештатный консультант Верховной Рады Украины. С 1994 года издает серию книг «Энциклопедия капиталов». Автор Почтового гимна Украины, гимнов и песен многих городов. С 2003 года председатель совета «Днепропетровского института идей». Живет в Днепропетровске (Украина).

Евгения БАРАНОВА родилась в Ялте. Финалист Илья-премии (2006). Вторая премия на Международном поэтическом конкурсе «Серебряный стрелец» (2008). Третья премия международного литературного конкурса «Согласование времен» (2010, поэзия). Вторая премия Международного конкурса короткой прозы «СТОСЛОВИЕ» (2010). Дипломант Международного поэтического конкурса «Лужарская Долночь» (2013). Лауреат Международной поэтической премии им. Игоря Царева (2014). Публиковалась в журналах «Юность», «Контрабанда», «Ликбез», «Журнал Поэтов», «Новая реальность», «Зарубежные задворки», «Лампа и дымоход», «Литература», «Дети Ра», «Южное сияние», «45-параллель», «Гостиная», «Пролог» и других. Участник «Киевских Лавров» (2009, 2013). Участник XIX Международного Форума Издателей во Львове. Судья Международных поэтических конкурсов «45 калибр», «Провинция у моря». Член Южнорусского Союза Писателей. Живет в Ялте.

Владимир Михайлович БАХМУТОВ родился в 1940 году в г. Сталиногорске (ныне Новоомосковск) Тульской области. В 1961 году окончил Свердловский государственный горный институт. Работал на предприятиях цветной металлургии и геологии Урала, Забайкалья, Красноярского края. Защитил кандидатскую диссертацию. Является автором более восьмидесяти научных публикаций и шести изобретений. Награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР. Возглавлял в разное время лаборатории и отделы научно-исследовательских институтов ВНИИПрозолото, Внипигорцветмет, ЗАБНИИ. Преподавал в Свердловском горном, Читинском и Красноярском политехнических институтах. В 1992–1999 годах В. М. Бахмутов — президент акционерного общества «Цветные камни Сибири», предприниматель. Публиковался в журналах «Казаки» (Москва), «Земля Иркутская» (Иркутск) и в газетах: «Забайкальский рабочий» (Чита), «Енисейская правда» (Енисейск), «Биробиджанская звезда» (Биробиджан), «Арсеньевские вести» (Владивосток), «Аргументы времени» (Хабаровск), «Литературный Красноярск» и других. Автор сборника рассказов «Худая примета», повестей «Любимый камень Чингизхана» и «Алмаз Куллинан», исторических повестей «Суриков ключ» (2005) и «Служилый человек Петр Бекетов» (2015). Живет в Красноярске.

Владимир ГРЫШУК родился в городе Южно-Сахалинске в 1954 году. С пятнадцати лет начал бродяжничать по сахалинской тайге, затем служил во флоте. Работал сантехником, журналистом, рыбопромышленником. В 1990 году в сборнике «Сахалин» вышла его повесть «На Чепухе». Постоянный автор сахалинской прессы. Автор книги путевых заметок, притч и художественной прозы «Репортёр» (2004). В последние годы трудился охранником, много путешествовал. Живет в Южно-Сахалинске.

Валентин Васильевич ЗВЕРОВЩИКОВ родился в 1948 году в Свердловской области. Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), работал режиссером-постановщиком в театрах России. Ныне — главный режиссер Камчатского театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Лауреат нескольких театральных фестивалей, победитель Всесоюзного конкурса детской драматургии в городе Нида (Литва), 1991 год. Печатался в журналах «Дальний Восток», «Современная драматургия», «Огонек», «Балтийские сезоны», «Отчий край». Автор четырех книг. Член Союза российских писателей. Живет в Петропавловске-Камчатском.

Генрих ИРВИНГ (Геннадий Геннадьевич Сорокин) родился в 1964 году в г. Кемерово. Окончил следственный факультет Хабаровской высшей школы МВД СССР. Работал следователем, начальником следственной части УВД г. Кемерово. В 2006 году вышел в отставку и занялся частной юридической практикой. Автор романа «Звезды над Калифорнией» (2012). Публиковался в журнале «Дальний Восток».

Живет в Кемерово.

Григорий Григорьевич ЛЁВКИН родился в 1941 году в городе Кирове Калужской области. В 1965 году окончил Ленинградское военно-топографическое Краснознаменное училище, а в 1973 году — Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева по специальности «инженер-геодезист». Был заместителем начальника топографической службы Дальневосточного военного округа, полковник запаса. Под его руководством осуществлялось обновление топографических карт и создание пунктов специальной геодезической связи на Чукотке, Камчатке, Курильских островах, в Приморском и Хабаровском краях.

Публиковался в газетах «На страже Родины», «На боевом посту», «Красная Звезда», «Тихоокеанская звезда», журналах «Дальний Восток», «Наука и природа Дальнего Востока», «Охота и охотничье хозяйство» и др. Его перу принадлежит несколько книг по истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, таких как: «Волочаевка без легенд» (1999), «70 лет на службе Отечеству» (2002), «Дом без крыши» (2004) и других. Автор монографии «Горы Хабаровского края» (1997), книг о природе и многих публикаций по топонимике российского Дальнего Востока.

Награжден орденом Дружбы народов и различными медалями Вооруженных Сил СССР. Является Почетным членом Приамурского географического общества, членом президиума Хабаровского отделения Общества охраны памятников истории и культуры.

Живет в Хабаровске.

Александр Михайлович ЛОБЫЧЕВ родился в 1958 году в Бурятии. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Работал редактором Дальневосточного книжного издательства, главным редактором издательства «Усури», сотрудником частной радиостанции. В настоящее время является арт-директором художественной галереи PORTMAY. Член Русского PEN-центра, заместитель главного редактора Тихоокеанского альманаха «Рубеж». Постоянный автор журналов «Дальний Восток», «Новый журнал» (Нью-Йорк), альманаха «Рубеж»; в 2007 году вышла книга литературной критики «На краю русской речи».

Живет во Владивостоке.

Геннадий Владимирович МИРОНОВ родился в Чернигове. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «инженер-физик-оптик», работает в области инженерных коммуникаций. Финалист поэтического конкурса «Диалог поколений в стихах» (2011), лауреат конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2014).

Живет в Санкт-Петербурге.

Владимир Иванович НЕЧАЕВ родился в 1957 году на Камчатке. Окончил Владимирский политехнический институт. Работал в родном поселке Оссора радиоинженером. Публиковался в журналах «Москва», «Октябрь», «Наш современник», «Урал», «Дальний Восток», в региональном альманахе «Камчатка». Автор трех книг стихов: «Золотые звери» (1992), «Россия, с печалью...» (1995), «Утешитель» (2002). В 2008 году вышла книга рассказов, эссе «Исследование дома». Является дипломантом 7-го международного Волошинского литературного конкурса в номинации «Проза». Лауреат губернаторской литературной премии Камчатского края за 2011 год. Член Союза писателей России. С 2007 года член Союза фотохудожников России.

Живёт в Петропавловске-Камчатском.

Лариса Николаевна ПОДИСТОВА родилась в Алма-Ате, детство провела в Якутии. Работала учителем, дизайнером, в настоящее время — фотографом. Публиковалась в различных изданиях: журналах «Новосибирск», «Замысел» (Новосибирск), «Поэзия», «Сетевая поэзия», «Родомысл» (Москва), «Невский альманах», «Полдень, XXI век» (Санкт-Петербург), «Чайка» (Бостон), альманахе «Литературные кубики» и других. В 2001 году выпустила сборник стихов «Критские сны» (совместно с поэтом К. Андреевым). Лауреат конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2014).

Живет в Новосибирске.

Олег Витальевич СЕШКО родился в Ленинграде в 1969 году. В 1987 году поступил в Высшее Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. С 1992 по 2011 год проходил военную службу на различных должностях ВМФ России. Председатель Витебского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», руководитель литературного интернет-сообщества «Вдохновение». Публиковался в журналах «Берега» №4 (Калининград), «Южное сияние» (Одесса), в сборниках: «Тысяча и одна строка» (Москва, «Известия»), «Сто поэтов — 2012» (Москва), «Автограф» (Минск) и др. Автор книги «Чистая сила любви. Сказки».

Победитель V-го Международного поэтического конкурса «Родник поэзии есть красота», посвященного Дню славянской письменности и культуры (Казахстан, 2012). Лауреат премий: Первая частная белорусская литературная премия «Под знаком трёх» (Полоцк, октябрь 2012), Международная литературная премия имени Игоря Царёва (Москва, 2014). Лауреат многих литературных фестивалей.

Живет в Витебске (Беларусь).

Клавдия Валентиновна СМИРЯГИНА родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, несколько лет работала учителем математики в школе, затем перешла на работу в ХК «Ленинец», где и трудится до сих пор. Публиковалась в сборниках «Неразведенные мосты» (СПб.–Нью-Йорк, 2011), «Поэзия Северной Пальмиры» (Москва, 2011), журналах «Окна» (Германия), «Союз писателей» (Новокузнецк), газете «Школьник» (Москва), в «Русском переплёте», «Сетевой Литературе» и ряде других сетевых изданий. Финалист первого и второго Открытых чемпионатов России по литературе в номинации «Поэзия» (Сетература-МК), лауреат Международного литературного конкурса «Второй открытый чемпионат Балтии по русской поэзии–2013», лауреат первой степени в номинации «Поэзия» литературного фестиваля «Каблуковская радуга–2013», лауреат конкурса «Пятая стихия» имени Игоря Царёва (2014) и других.

Живет в Санкт-Петербурге.

Александр Васильевич УРВАНЦЕВ родился в 1949 году в селе Семеновка Красноярского края. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в редакциях газет «Молодой дальневосточник», «Речник Амура», журнале «Дальний Восток», в издательстве «Амур». Публиковался в периодической печати, центральной и хабаровской. Автор четырех сборников стихов. Член Союза писателей России.

Живет в Хабаровске.

Максим Михайлович ЧИН ШУЛАН родился в 1986 году в Хабаровске. Окончил юридический факультет Тихоокеанского государственного университета. Публиковался в журнале «Дальний Восток».

Живет в Хабаровске.

Майя ШВАРЦМАН родилась в Екатеринбурге, окончила Уральскую государственную консерваторию. Скрипачка. Работала в театре Оперы и балета. В настоящее время работает в Симфоническом оркестре Фландрии. Пишет стихи. Победитель Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира–2010», получила Приз Председателя Жюри Международного литературного конкурса «Кубок Мира по русской поэзии–2012», лауреат Международного поэтического конкурса «Лёт лебединый» имени Петра Вегина, лауреат конкурса памяти Игоря Царёва «Пятая стихия» (2014) и др.

Живет в Генте (Бельгия).

КГБУК «Редакция «Дальний Восток»

оказывает услуги по полной предпечатной подготовке авторских рукописей к изданию, включающие редактуру, корректуру, дизайн, верстку.

Предоставляем готовый макет в электронном виде, в формате, соответствующем требованиям заказчика.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА!

Редакция принимает к рассмотрению рукописи, присланные на электронных носителях (CD- и DVD-дисках, флэш-картах, по электронной почте) и **на бумажном носителе одновременно**. Флорпи-дискеты в качестве носителей могут быть отклонены по техническим причинам. Нежелательно предоставление рукописей в виде книжно-журнальной верстки. Рукописи, выполненные от руки, отклоняются сразу.

Произведения прозы объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) и поэзии более 5 авторских листов не рассматриваются.

Рукописи не рецензируются, а носители не возвращаются. Сроки рассмотрения рукописей редакция определяет по мере их поступления. К сожалению, редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку с авторами, а только извещает авторов о своем решении.

В конце года редколлегия журнала определяет победителей в номинациях «проза», «поэзия», «очерк и публицистика», «критика и библиография».

Просим авторов сообщать о себе следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество;
- краткие биографические сведения (*где и когда родились, образование, какое учебное заведение окончили, где и кем работали и работаете в настоящее время, звания, награды, членство в СП*), в каких изданиях печатались; автором каких книг, сборников являетесь; где живете;
- домашний адрес, индекс, контактный телефон; e-mail.

Присылайте также личное фото для публикации на сайте журнала.

Эти сведения Вы можете выслать по почте, по факсу или на электронный адрес редакции.

МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ АВТОРАМИ В ПУБЛИКАЦИЯХ, МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Российский литературный журнал

Директор — Н. С. Савина; главный редактор — А. В. Николашина;
редактор прозы — Т. Н. Савельева; редактор поэзии — Е. Р. Добровенская;
редактор очерка и публицистики — В. И. Ремизовский;
секретарь — Н. Е. Черникова; набор и верстка — Н. М. Соболев;
корректор — З. М. Бугрова

Учредитель — Союз писателей Российской Федерации.

**Издание осуществляется при финансовой поддержке
Министерства культуры Хабаровского края**

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ.
Свидетельство о регистрации № 349 от 15 ноября 1990 года.

Сдано в набор 05. 05. 2015. Подписано к печати 06. 07. 2015.

Формат 70x108/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21. Заказ № 341. Тираж 700 экз.

Цена свободная.

Подписной индекс журнала:
в каталоге МАП — 14406; в каталоге «Роспечать» — 73103.

Адрес редакции и издателя: 680000, Хабаровск, пер. Капитана Дьяченко, 7а.

Телефоны: приемная — (4212) 32-59-68; главный редактор — (4212) 32-92-78;
отделы прозы и поэзии — (4212) 31-24-01; отдел публицистики — (4212) 31-20-86
Факс (4212) 32-59-68; E-mail: dvjournal@mail.ru

ОАО «Хабаровская краевая типография»: 680038, Хабаровск, ул. Серышева, 31.